

Борис Акунин: ПРОЕКТ
«АВТОРЫ»



[Анна Борисова]

Vremena Goda





Анна Борисова

ИТАЛИЯ
АКТИВ-ИМ.

30/12/81

**ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА АСТ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ КНИГИ
АННЫ БОРИСОВОЙ**

**ТАМ...
КРЕАТИВЩИК
VREMENA GODA**

**Анна
Борисова**

VREMENA
GODA

165172 | 2

АСТ
Астрель
Москва

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6
Б82

Любое использование материала данной книги, полностью или частично,
без разрешения правообладателя запрещается.

Подписано в печать 02.02.2012. Формат 84×108 $\frac{1}{32}$.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 25,2.
Тираж 5100 экз. Заказ 262.

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Оформление обложки — Андрей Фerez

Борисова, А.
Б82 VREMENA GODA: [роман] / Анна Борисова. — М.: Астрель, 2012. — 480 с. — (Борис Акунин: проект «Авторы») ISBN 978-5-271-40984-4

В романе «Vremena Goda», действие которого перемещается из юности в старость и из современности в прошлое, рассказывается о том, как добиваться исполнения желаний и расплачиваться за это; как жить любовью и как жить без любви; как избавиться от страхов и видеть без помощи зрения. Это история необыкновенной женщины, которая прожила на свете больше ста лет и стала всем, чем хотела стать.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-985-18-0919-2
(ООО «Харвест»)

© А. Борисова, 2011
© ООО «Издательство Астрель», 2011

«Но кто может лстить себя надеждой,
что был когда-либо понят?
Мы все умираем непознанными.
Так говорят женщины и так говорят писатели».

Оноре де Бальзак



A decorative border featuring a horizontal line with stylized flowers and leaves above and below the text.

SECTION

ЭТО ВЕРА

— «Vremenagoda»? — Парень, стоявший на кассе, повторил название в одно слово, с ударением на последнем слове. — C'est pas loin. Vous allez tout droit. Puis vous tournez légèrement à gauche, et après c'est affiché... De rien¹.

И еще сказал (Вера со своим хиловатым французским не сразу сообразила, как перевести "reflet de soleil²"): —

— Есть же красавицы на свете. Какая у вас улыбка. Будто солнечный зайчик. Наверно, вас никогда не посещают грустные мысли.

— Никогда-никогда, — засмеялась Вера, прислушиваясь к внутреннему тиканью.

Все-таки не зря французов считают чемпионами мира по комплиментам. Это ведь он не клеится. Какой смысл? Сейчас она сядет в машину, уедет, и он ее никогда больше не увидит. Просто взял и улучшил человеку настроение. Бескорыстно.

Тиканье было тихое, игнорабельное. Надеть наушники, включить музыку, и будет неслышно. Не повод для тревоги. Просто авиаперелет и немножко понервничала из-за машины.

Водить Вера начала всего полгода назад и пока еще напугалась. Плюс незнакомый маршрут, чужая страна.

¹ Это недалеко. Едете прямо. Потом слегка берете влево, и дальше будут указатели... Не за что (*фр.*).

² Солнечный зайчик (*фр.*).

Это Берзин ее усадил за руль. Убедил, что ей в работе обходиться без колес — чистый мазохизм. Одно из его любимых словечек. У него целая концепция. Пока мы, русские, не избавимся от пристрастия к мазохизму, так и будем в дерьме сидеть. Это, положим, вопрос спорный, но насчет колес Берзин, конечно, прав. Совсем другое дело — ездить по дедкам-бабкам на машине. Не зависишь от поездов, от автобусов. Можно напихать в багажник кучу всякой всячины. Можно взять с собой четырех человек. Едешь, болтаешь, ржешь, музыку слушаешь. За дорогу не устанешь, а наоборот отдохнешь. Никогда Вера не думала, что она из разряда людей, кто водит машину. А вот научилась, хоть было трудно. Зато теперь повод для гордости.

Берзин купил для нее шикарный внедорожник. Ну, не лично для нее, для фонда. Но в ее персональное распоряжение. Когда Вера узнала, сколько джип стоил, пришла в ужас. Накинулась: «Зачем? Стыдно разъезжать по домам на роскошном лимузине!». Он в ответ: «Не на роскошном, а на качественном. Я ж тебя не на «порш-кайенн» посадил». Она давай загибать пальцы: «На эти деньги можно было в Ладейкине подстанцию построить и всю электропроводку поменять! Или отремонтировать Рыжовский интернат! Там окна вываливаются, краска с потолка лохмотьями!». Берзин перебил: «Мои деньги. На что хочу, на то и трачу. Вкладываться в барахло, которое от паршивых дорог через год квакнется, это мазохизм. А твой фриц и двести, и триста тысяч намотает». И опять, наверное, он был прав.

В аэропорту «Шарль де Голль», в автопрокате, Веру ждала заказанная Берзиным (ну, не самим, естественно, — секретаршей) машина. Попроще, чем фондовская, но тоже очень хорошая. Автомат, климат-контроль, навигатор (по-французски «жэ-пэ-эс»).

Вера хоть и в напряжении, но без особых проблем проехала двести километров по шоссе А-13, однако вскоре после съезда с трассы уперлась в ремонт дороги. Жэ-пэ-эс повез ее сначала в одну сторону, потом в другую. Наконец, совсем завравшись, стал требовать, чтоб она при первой возможности развернулась. Пришлось заехать в магазинчик при бензоколонке, спросить дорогу.

Оказалось, цель близка. За первым же поворотом обнаружился указатель, и дальше всё действительно было «афишэ», не заблудишься.

Почему они так странно пишут название: «Vtéména-Goda» — подумала Вера. Что на дефисе, понятно. Для французов это бессмысленное сочетание звуков. Проще воспринимать как одно целое. Но зачем черточки над «е»? Сообразила. Без аксантов буква «е» произносится как «ё». Получилось бы «врёмёна».

Французский язык Вера когда-то учила в спецшколе. Потом, в институте, подзабыла. Но сейчас, перед командировкой, Берзин организовал ей интенсивный курс с погружением, нанял двух персональных преподавателей. Нашего для грамматики, француженку для разговорного. Во «Временах года» в принципе все говорят по-русски, а при общении с местным персоналом можно было бы обойтись без тонкостей субжанктива-кондисьонеля, но Вера была перфекционистка. Собираешься прожить год во Франции — изволь говорить на языке нормально, не через пень-колоду. Кроме того, не сидеть же на территории двадцать четыре часа в сутки. До Этрета, где Мане рисовал скалы, полчаса езды. До Руана, где сожгли Жанну Д'Арк, меньше часа. В Нормандии полно всякого интересного!

Тиканье совсем пропало. Вера успокоилась. Даже стала подпевать айподу. У нее там был записан специальный сборник песен для длинной дороги, без системы и разбора — просто всё, чему можно подтягивать.

«Красавицы могут всё! Красавиц счастливей не-ет! Они никогда не плачу-ут! У них не бывает бе-ед!» — звонко выводила она, когда из-за поворота, на той стороне дороги, выплыл большой коричневый щит с изображением замка и надписью на двух языках: «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РЕЗИДЕНЦИЮ «ВРЕМЕНА ГОДА».

Ура, приехали!

Вера поддала газу, чтобы едущему сзади грузовику не пришлось притормаживать, когда она станет поворачивать через разделительную.

Вдруг с обочины прямо под колеса шмыгнула черная тень. Не поняв, не разглядев, что это, Вера со всей силы вдавила педаль тормоза. Ее кинуло вперед, ремень безопасности впился в грудь, голова мотнулась, слетели наушники. Заскрежетали шины, к этому звуку присоединился другой, еще более истерический, — это черная кошка, подпрыгнув, выскочила из-под самых колес и с переходящим в ультразвук воем шмыгнула под живую изгородь. Вильнув грузным корпусом, сердито обгудев замерший «ситроен», мимо пронеслась длинная фура.

Вместо музыки в виски ударило такое бешеное тиканье, какого Вера никогда еще не слышала.

Сейчас? Вот прямо сейчас? В эту секунду? В незнакомом месте, в солнечный майский день? Не может быть! И как пошло, из-за черной кошки! Будто в паршивом телесериале!

Господи, нет! Не сейчас! Не так глупо!

ОМММ, ОМММ, ОМММ...

Все люди, как известно, смертны, и, как опять-таки известно, неожиданно смертны. Каждый представляет собой

мину замедленного действия, момент взрыва которой неведом. Авария, инфаркт, сорвавшийся тромб, псих с ножом, террорист-смертник — мало ли какая случайность или неслучайность может сыграть роль твоего персонального детонатора. За среднестатистический день на Земле умирает сто пятьдесят тысяч человек, из них треть в отнюдь не старческом возрасте.

Теоретически с любым человеком всегда может случиться что угодно. Однако мы знаем, что завод нашего часового механизма рассчитан лет на восемьдесят, и это знание помогает большинству до поры до времени не заикливаться на неизбежном.

И Вера не стала бы заикливаться. Характером и душевным складом (прав комплиментчик с бензоколонки) она больше походила на солнечный зайчик, а не на луны волшебной полосы. Но Верин часовой механизм был короткого действия. И еще время от времени «тикал», не позволяя о себе забыть.

Девять лет назад на уроке физкультуры она вдруг потеряла сознание. Прямо из школы на «скорой» ее отвезли в больницу. Уже на следующий день Вера чувствовала себя совершенно нормально. Врачи сказали: ничего страшного, в переходном возрасте, при гормональном всплеске, такое иногда случается. Но перепуганные родители на этом не успокоились. Стали таскать дочку по клиникам, по специалистам, за большие деньги провели передовой по тому времени тест — магнитно-резонансную ангиографию. Обнаружилась редко встречающаяся патология: крупная аневризма базилярной артерии. Микроинсульт произошел из-за того, что этот дефектный участок дал кровоизлияние — на сей раз без необратимых последствий. Но рано или поздно аневризму прорвет по-настоящему, и сделать тут, к сожалению, ничего нельзя. Этот отдел мозга труднодостижим. Всякое оперативное вмешательство, напри-

мер, попытка укрепить артерию стентом, чревато массивным инсультом. Так глубоко в мозг медицина залезать не умеет и научится еще очень нескоро, объяснил профессор. Кардинально решить проблему невозможно. Единственно — соблюдать режим. Поскольку резкое повышение кровяного давления чревато разрывом аневризмы, следует избегать физических нагрузок, сильного волнения, стрессов. Ну и молиться Богу.

Позднее Вера узнала, что с ее диагнозом до среднего возраста доживают процентов тридцать, до пожилого — почти никто. Все больные (не совсем правильное слово, ведь в обычной жизни такие люди чувствуют себя вполне здоровыми) по психотипу поведения делятся на две группы. Первая живет в постоянном ожидании катастрофы, маниакально соблюдает режим, поминутно измеряет давление — в общем, ведет хрупкое, стеклянное существование. Люди из второй группы, наоборот, «вытесняют» мысль о взрывном устройстве и проявляют гиперактивность, торопятся урвать от жизни всё, что она может дать. Середины не бывает. Единственное исключение, пожалуй, сама Вера.

Никакого трагизма в своем положении она не ощущала. Наоборот, ежеминутную радость от того, что живет. Не зря говорят: по-настоящему ценишь только то, что у тебя в любую минуту могут отобрать. Жизнь, просто жизнь, — абсолютное счастье. Вера это не логически себе разъяснила, она это постоянно чувствовала. И жить хотела как можно дольше. Принимая условия тикающей в голове мины, но не цепenea от этого метронома. Нельзя заниматься спортом? Есть йога, есть система полного дыхания — для самочувствия это даже лучше бега или тенниса. Не показан алкоголь? Черт с ним, не больно надо. Она и без вина находилась в постоянной эйфории. Не рекомендованы быстрые танцы? Вера изобрела собственную мане-

ру танцевать, замедленную, и получалось классно — некоторые даже пытались подражать ее плавным волнообразным движениям. Здесь вся хитрость — дробить ритм, делить его на два, а если очень быстрый, то на три. Опасно психовать? Вера приучила себя ко всем неприятностям относиться спокойно. Не философски, конечно, — какой из нее философ, но без суеты.

В общем, жила Вера полноценной жизнью — как теперь говорят, не заморачивалась. Дурацкое слово, но в данном случае точное. Аневризма не стала для нее ни морской, ни мóроком. Вот только приходилось постоянно вслушиваться, что там с «тиканьем».

Вообще-то этот шум, слышимый ей одной, больше напоминал не стук часов, а бульканье воды в батарее. Но думать о своей жизни, как о трубе, которая однажды лопнет, было как-то... обидно. Человек не водопровод и не канализация. Человек — вселенная, которая может, конечно, погибнуть, но только от Большого Взрыва, а не от вульгарной протечки.

Став врачом, Вера узнала: шум возникает от завихрения кровотока, которое сопровождается вибрацией стенок артерии. Как только «затикало», нужно сбавить темп, расслабиться, провести комплекс дыхательных упражнений: оммм, оммм, оммм. Когда же бульканье стихало, Вера всякий раз испытывала прилив жгучего счастья. Еще один подарок судьбы! Жизнь продолжается! Если честно, она полюбила эти маленькие недосмерти с последующим воскрешением.

Расскажи Вера кому-нибудь, что считает себя обладательницей выигрышного билета, не поверили бы. Покрутили бы пальцем у виска. Но, во-первых, она никому про свой медицинский казус не рассказывала — зачем? А во-вторых, конечно, ей сказочно повезло. Разве нет?

Сколько людей доживает до старости, без конца ноя, что жизнь — тяжкое испытание и череда несчастий. Если

б не аневризма, и Вера запросто выросла бы дурой, впадающей в хандру из-за ерунды. А кроме того есть люди — она нередко таких встречала, — кто живет будто понарошку или во сне. Всё мимо них. Вот уж не ее случай!

Иногда она пробовала представить, как это: жить, твердо рассчитывая, что впереди у тебя еще пятьдесят или даже семьдесят лет.

Тоска.

* * *

Но от кошки, сигающей под колеса, никаким аутотренингом не убережешься. Сердце судорожно качнуло кровь, она понеслась по артериям с удвоенной скоростью, в голове завибрировал, загудел взбесившийся кран. Самое опасное — усугубить потрясение страхом.

Никто не умрет. Всё хорошо. Всё отлично.

Вера сидела, вцепившись в руль. Включила полное дыхание. Короткие ритмичные вдохи, потом тягучий медленный выдох.

Оmmm. Оmmm. Оmmm.

И что вы думаете? Побурлило, пошумело, начало стихать. Теперь нужно было закрепить успех специальным упражнением.

Вера очень осторожно вылезла из машины, села на траву, в двух шагах от обочины. Тяжелые ботинки расшнуровала и скинула. Они были всепогодные и любимые, но сейчас мешали. Зато одежду Вера носила такую, которая движений не стесняла. Сатиновые шаровары, байковая рубаша навыпуск.

Запелась в спасительную позу «падмасана», еще подышала глубоким дыханием, минут несколько. Мимо проезжала машина — дуднула. То ли в смысле «круто», то ли в

смысле «ку-ку». И то сказать, видок у Веры был еще тот. Сидит на пыльной траве заплетенная кренделем деваха — жмурится, надувает щеки, бубукает губами.

Но неважно, что подумали в проехавшей машине. Бульканье утомнилось, вот что главное. *Не сейчас*, окончательно поняла Вера. *Не в этот раз*. Какое счастье! Глушность эта ваша черная кошка.

И засмеялась, и села за руль, и поехала себе дальше.

И запела:

*Красавицы могут всё! Красавиц счастливей не-ет!
Сплошные цветы и танцы-ы! И вечные двадцать ле-ет!*

По длинной аллее, с двух сторон обсаженной платанами, по вкусно шуршащему гравию машина подкатила к старинным кованым воротам. Так, паркинг для посетителей налево. Но налево Вера сворачивать не стала, въехала прямо на территорию. Она не посетитель. Ей тут жить.

Замок она видела на сайте, но в жизни он был еще красивей. Не старинный, без средневековой массивности, без рвов и башен. То есть башенки-то торчали, но не грозные, а кокетливые, с ажурными флюгерами. В архитектуре Вера разбиралась не сильно, но все же достаточно, чтобы понять: это эпоха не королевы Марго, а скорее мадам Бовари.

К центральному зданию (Вера сразу по привычке окрестила его «главным корпусом») примыкали два длинных одноэтажных флигеля. Внутри этой буквы «П» широкая лужайка с фонтаном и клумбами. Начало мая, в Москве едва почки-листочки, температура плюс десять, а тут всю лето. Сумасшедшие цветы, над ними пчелки, бабочки. Старый парк темнеет густой, тяжелой зеленью. Территория, между прочим, двадцать гектаров. Там должны быть гроты, античные статуи, беседки и прочие изыски. Обрыв

с променадом, откуда, если верить сайту, «открывается лучший в департаменте вид на долину Сены».

Проверим, весело думала Вера, вытаскивая из багажника сумки: в одной шмотье, в другой книжки да бумажки. Портфель с ноутбуком — на плечо.

Она была еще полупьяная после случившегося. Всё в ней жадно впитывало жизнь. Кожа млела под теплыми лучами солнца, глаза не могли насмотреться на разноцветье сада, нос щекотали майские ароматы.

Тетенька с рецепции позвонила директору, сказала, что он через пять минут выйдет встретить, только закончит разговор с посетителем, не хочет ли «мадам доктор» пока выпить кофе. Смешно запнулась на фамилии: «Коро... Коробз...» — и дальше никак.

— А вы, Беатрис, зовите меня по имени: Вероника или просто Вера.

У тетеньки на голубой куртке была прицеплена табличка с именем, но без фамилии. Очень большими буквами, притом по-русски.

— Не положено, — улыбнулась Беатрис. — Доктор есть доктор. Можно я буду звать вас «доктор Коро»? И все-таки, как это произносится?

Беатрис была славная. С седыми волосами, но совсем не пожилая. Объяснила, что работает через день по пол-смены, потому что дети выросли и дома скучно. Пробует учить русский, но пока похвастать ничем. С *гостями*, правда, ей объясняться не приходится — они имеют дело с центром обслуживания, а там все знают язык.

— Ko-ro-bei-stchi-ko-va, — дважды медленно повторила она за Верой, обе посмеялись.

От кофе Вера отказалась. Сказала, что пока погуляет. Ей не стоялось на месте и тем более не сиделось. А кофе после приступа лучше не пить.

Полюбовалась на ирисы. Сколько оттенков лилового!

В Краснолесском доме ветеранов Марлен Федорович, бывший моряк, тоже разводит ирисы. Надо будет выпросить для него несколько таких луковиц. Две радости у человека осталось: цветы выращивать и про свои награды рассказывать, какую за что получил.

Стоило Вере вспомнить про это, как откуда ни возьмись, будто посредством телепортации, на аллее появился самый настоящий советский ветеран. Издали он был даже похож на дедушку из Краснолесья. Невысокий, плотный, и идет так же, будто каблуками землю на твердость проверяет. Грудь сверкает золотом. Только у Марлена Федоровича, когда припарадится, форма черная, морская, а у этого синяя. На фуражке синий околыш, и петлицы тоже синие.

Завтра же День Победы, вспомнила Вера. Наши там тоже все принарядились, ордена и медали надели. Чудно, конечно, увидеть посреди Нормандии такого деда. Хотя, с другой стороны, чему удивляться? Знала же, куда еду.

Даже приятно стало, что первый, кого она видит из здешнего контингента, так похож на обычных домоватовских обитателей. Вера вообще-то ожидала увидеть во «Временах года» совсем другую публику.

— Здравствуй! — громко сказала она. — С наступающим вас! Я из Москвы приехала. На стажировку. Вероника Коробейщикова. Можно просто «Вера», С днем великой победы!

Она знала: для стариков День Победы — самый главный праздник. Потому так торжественно и выразилась.

Старик подошел и оказался не очень-то старым, то есть даже вовсе не старым. Крепкий мужчина среднего возраста, с аккуратно подстриженными седыми усами, движения бодрые. Семьдесят три—семьдесят четыре, определила Вера, хоть выглядит на десять лет моложе. В возрасте стариков она редко ошибалась. Опыт.

— Здравствуй, красавица. — Военный человек (две полосы, три звезды — это майор или полковник?) с удовольствием рассматривал Веру. — Было бы с чем поздравлять. Дурное дело — позавчерашним победам радоваться.

Она подумала, что ослышалась или не так поняла. Ветеран невесело усмехнулся в усы.

— У нас, как известно, два повода для национальной гордости. Гагарина в космос послали и немцев победили. Одной победе полсотни лет, другой шестьдесят пять. Новых побед в обозримом будущем не предвидится. Вот и радуемся старым. Уж и страны нет, которая победы одерживала, а всё в трубы трубим.

Дед был, кажется, не совсем обычный. Вера с любопытством спросила:

— Что ж вы мундир надели, ордена?

В наградах она, благодаря рассказам Марлена Федоровича, разбиралась лучше, чем в погонах. Орденов у ветерана было три, и все небоевые: «Знак почета», «Дружба народов», «Трудовое красное знамя».

— В прежние времена на флоте это называлось «показывать свои цвета». В смысле, демонстрировать национальный флаг. Для этого военные корабли специально заходили в иностранные порты. Чтоб в мире помнили: есть на свете такая держава. Вот и я тоже разрядился папуасом, чтоб напомнить французам: была на свете великая держава серпа и молота. — Он постукал себя по кокарде. — Была и снова будет. Когда-нибудь. Я-то не доживу, а ты — запросто. Ничего, что я на «ты»?

— Очень хорошо. Мне так даже приятней.

— Красивая, — повторил он. — Настоящая природная красавица. Брови, глаза, румянец — хоть на обложку журнала. Только зачем же ты, дочка, себя уродуешь? Оделась, будто на овощебазу. Платком повязалась. Картина художника Лебедева «Рабфаковка с портфелем».

К критическим замечаниям по поводу ее манеры одеваться Вера привыкла. Берзин называл ее стиль «С&А», что расшифровывалось «Cheap and Awful». Если бы работодатель знал, что она покупает вещи даже не в дешевом универмаге, а на китайском рынке, вообще бы в обморок упал. Но тратить деньги на брачное оперение, которое тебе никогда не понадобится, Вера считала глупостью. Одежда должна быть зимой — теплой, летом — легкой и в любое время года удобной. Точка. Она и сама никогда не обращала внимания, кто как одет. Берзин говорил, что у нее мужской взгляд, что она не видит деталей, а срисовывает только общее впечатление: этот человек стильный, тот безвкусный, этот богатый, тот бедный, этот свой, тот чужой.

Слова ветерана Веру насмешили. Рабфаковка с портфелем!

— Без платка у меня вот что.

Сняла бандану, тряхнула головой — стала похожа на дикобраза.

Ветеран присвистнул:

— Другая за такую роскошь удавилась бы, а ты прячешься! Беда с вами, умными девочками. Боитесь быть слишком красивыми.

— Почему вы решили, что я умная?

Она еще больше развеселилась. Дедушка, кажется, был в самом деле занятный.

— Глазки ясные. Это хорошо, что умная. Будет с кем поговорить. Сама-то замужем? Нет? Но кавалер-то есть, как не быть.

Вера с улыбкой покачала головой.

— Тогда имею на тебя виды. Не для себя, не думай. — Подмигнул. — Для внука. Он у меня парень неплохой. Приедет — познакомлю. Позвольте официально представиться. Ухватов Валерий Николаевич, полковник Комите-

та государственной безопасности. В глубокой отставке. — Ветеран лихо отсалютовал. — Значит, Верочка, прислали тебя набираться опыта? Как лучше пестовать старпёров буржуйского сословия?

— Почему только буржуйского? Разве вы буржуй?

— Я нет. Я осколок империи. Зато сынуля мой — первосортная акула капитализма. Это я на его денежки тут припухаю. Он у меня коррупционер, — пояснил Валерий Николаевич так, словно речь шла о вполне обычной профессии. — Я-то, когда его отдавал учиться в Вышку, в Высшую школу КГБ, думал, смену выращу. Хороша смена. Только умеют, что крышевать да отпиливать. Мы все были воины. Тоже не без уродов, конечно, но большинство служили Делу. А эти нынешние — торгаши продажные. Мой Петька по роду службы приставлен за таможей бдить. Дачу на Рублевке себе набдил, пентхаус с видом на Москву-реку. Папаню сюда вот на санаторные харчи пристроил. Был бы я Тарас Бульба — убил бы стервеца. А я ничего, пользуюсь. Жду, пока внук вырастет.

Вера занималась тем, чем она занималась, потому что старики были ей по-настоящему интересны. Она не имитировала внимание, когда слушала их нафталиновые рассказы, все эти истории о незадавшейся жизни. А какой еще может быть жизнь человека, доживающего свои дни в богадельне, пускай даже шикарной?

— Вы были разведчиком? Здорово! Расскажите? Или нельзя?

— Гриф секретности снят. Раньше в газетах имелась рубрика: «Теперь об этом можно рассказать». Были бы слушатели. — Валерий Николаевич с преувеличенной галантностью предложил локоть, Вера изобразила книксен. Они медленно пошли по аллее вдоль газона. — Комитет был разветвленной организацией. Фактически параллельной структурой госаппарата. На этой кристаллической решет-

ке держалась вся империя. Разведчиком, Верочка, я не был. Я работал на фронте международного сотрудничества. В ка-зэ-эм, потом в ссоде, потом десять лет в международном отделе вэцзэспзэс курировал контакты с иностранными морскими профсоюзами. На каких только морях не плавал, где только не побывал!

— У меня есть знакомый моряк. Тоже в доме ветеранов живет. Не в таком, конечно, — сказала Вера. — А что такое... вот эти все аббревиатуры?

— Комитет защиты мира, Союз советских обществ дружбы. Что, и ВЦСПС не знаешь? Эх, племя молодое, незнакомое. Короче, занимался я международной солидарностью трудящихся. Важное дело. Стратегическое. Было время, оказывали мы поддержку рабочему классу во всем мире. У самих, как говорится, в брюхе щелкало, а помогали. Теперешние наши вожди только пыжаты, про великую Россию болтают. А нет никакой великой России. Вот Советский Союз был великий. Третью мира Москву слушала, от Бранденбургских ворот до Африки. Нынче весь наш лагерь — Абхазия с Южной Осетией. И те фордыбачат.

— А зачем нужно, чтобы Африка слушала Москву? — спросила Вера. Не для спора, она со стариками никогда по политическим вопросам не полемизировала. У каждого свое кредо и своя правда. Если человек горячо рассказывает про свои убеждения, это всегда интересно.

— Такая у нас страна, Верочка. Исторически, энергетически, духовно. Одно слово: держава. Миссия всякой державы — собирать вокруг себя народы. Не сосать из них соки, а питать своей кровью. Мы, Советский Союз, так всегда и делали. А когда отступились, то утратили право называться державой.

Интересный человек этот Ухватов. С какой силой говорит — заслушаешься. Всё-таки у меня самая лучшая профессия на свете, подумала Вера.

— Полтысячелетия наши предки Третий Рим строили, — горячо и серьезно втолковывал ей бывший полковник госбезопасности. — Хорошо ли, плохо ли, но с полной отдачей. Не жалея живота своего. Православие-самодержавие или социализм-коммунизм — неважно, как называется идеология. Суть в том, через какую точку проходит силовая ось мира. Вокруг какого стержня земля вертится. Две трагические потери у нас в двадцатом веке случились. Два удара, от которых всё рухнуло.

Вера попробовала угадать, что он имеет в виду. Революцию? Вряд ли. Он ведь за СССР. Горбачева? Но при чем тогда «трагическая потеря»?

— Какие два удара?

— Убийство Петра Аркадьевича Столыпина и смерть Юрия Владимировича Андропова. — Ухватов вздохнул. — Если б Столыпин в 1911 году не погиб, нам не пришлось бы производить капитальный ремонт государства, полную его перенастройку. Такой кровью, такими жертвами. А с Юрием Владимировичем... Эх, сколько надежд с ним было связано! Только начал он счищать с нашего днища всю налипшую грязь, гнилые водоросли — всякий корабль обрастает в долгом плавании дрянью, — и нá тебе. Год всего у штурвала простоял. А потом началось... Слабые, мягкокопые столпились на капитанском мостике, застрекотали, забазарили, переругались и вмазались-таки в рифы... Я быстро всё понял. Ушел в отставку, когда Горбач, иуда, объявил про уход из Афганистана. А между прочим, Верочка, был я уже на генеральской должности. М-да... Через пять лет в органах вообще никого из старой гвардии не осталось. Настало время лавочников в погонах...

Валерий Николаевич вдруг остановился. Навстречу по дорожке медленно и важно двигалась полная женщина в кожаном плаще и больших темных очках. Из-под голубоватого завитка тщательно уложенных волос сверкнула зо-

лотом увесистая серьга. Хотя дама, в отличие от Ухватова, была без мундира и советских орденов, ее национальная принадлежность никаких сомнений не вызывала.

— О, еще один обломок кораблекрушения дрейфует, — шепнул Ухватов. — Вот такие, как эта мадам, державу и потопили. На дачу с теплым сортиром променяли. Как у Багрицкого: «От мягкого хлеба и белой жены мы бледною немочью заражены». Пойду я, Верочка. Меня от коровы этой блевать тянет. Увидимся.

Шутливо вскинув ладонь к козырьку, полковник свернул к фонтану. А Вера улыбнулась приближающейся старухе. Возраст: семьдесят семь — семьдесят восемь. Одышка, походка артритическая, цвет лица пастозный.

— Здравствуйте. Меня зовут Вера Коробейщикова. Я приехала на стажировку.

— Из Прибалтики? В службу? — непонятно спросила та. Удивительная манера смотреть на людей: сверху вниз, хоть сама на полголовы ниже. Возможно, какая-то проблема с шейным отделом позвоночника. — Ну, старайся, старайся. Поменьше тут хвостом верти. А то знаю я вас. Чуть оглядитесь — и шмыг замуж за француза. Неохота вам за пожилыми людьми ухаживать.

— Мне как раз охота. Я врач-гериатр. Из Москвы.

— Врач? — Дама покачала головой. — Представляю себе. Кидают на пенсионеров кого не жалко. Врач! Тебе сколько лет, милая?

— Двадцать пять. Почти.

Вера улыбалась. Когда работаешь со старыми людьми, главное — терпение и не раздражаться. Очень часто они рывкают и грубят просто потому, что неважно себя чувствуют или болит что-нибудь. Молодой тоже, если, например, с утра зуб прихватило, рычит на всех волком. А для пожилого человека физический дискомфорт — постоянный спутник жизни.

Улыбка подействовала. Суровая тетя смягчилась.

— Клара Кондратьевна Забутько. Мой покойный супруг был вторым секретарем обкома. — И зачем-то прибавила, со значением. — По идеологии.

— Надо же, — почтительно протянула Вера. — По идеологии!

Сама подумала: полковник КГБ, вдова партийного секретаря. Неужели тут весь контингент такой?

Она собиралась спросить, в какой части страны трудилась на своем ответственном посту товарищ Забутько, — старушке это было бы приятно, но сбоку кто-то крикнул:

— Доктор Коробейщикова! Тысяча извинений! — Прямо по траве, широко шагая и маша рукой, шел стройный мужчина в голубой куртке, белых брюках. Седая шевелюра рассыпалась по плечам. — Не мог раньше! У меня был разговор с председателем Совета резидентов. Я директор, Люк Шарпантье... Бонжур, прекрасная мадам Забутько. Эти серьги прелестно оттеняют колёр ваших волос.

Он элегантно клянул даму массивным носом в запястье. Клара Кондратьевна зарделась, легонько хлопнула куртуазника по затылку.

— Хохмач!

Директор распрямился. Пожал стажерке руку. Господин Шарпантье не попадал в возрастной диапазон, с которым она обычно имела дело, поэтому точно определить, сколько ему лет, Вера бы не взялась. Наверное, около шестидесяти. Но в суперформе. Морщины только там, где они красят, а не уродуют. Белейшие, причем собственные, зубы. Небольшие цепкие глаза с ярким молодым блеском. Ни грамма лишнего веса. Золотая цепочка, львиная грива и перстень на пальце, пожалуй, лишнее. И без этого оперения директор был бы красавец. («Периода полураспада», прибавил бы злой на язык Берзин.)

По-русски директор говорил бегло, даже как-то по-щегольски, только звук «р» в горле раскатывал: «дихэктох», «пхэзлестно». Нагрудная табличка на двух языках: “Dr. Luc Charpentier” и крупными буквами: «ЛУКА ИВАНОВИЧ».

— Моего отца звали Жан, поэтому «Иванович», — ослепительно улыбнулся Шарпантье. — Резидентам приятнее иметь дело с человеком, которого можно звать по имени-отчеству. Некоторые меня называют «доктор Плотников». По-французски моя фамилия значит «плотник».

Вера кивнула: знаю.

— Клара Кондратьевна, я похищаю у вас нашу гостью.

С грацией танцора Шарпантье приобнял Веру за талию, повлек за собой.

— Ты поосторожней с ним, моральным разложением, — крикнула вслед госпожа, вернее товарищ Забутько. Но крикнула без осуждения, скорее одобрительно.

А Вера и так уже видела, с кем имеет дело. Ей всю жизнь везло на альфа-самцов. Притом, что сама она к этому мужскому типу была абсолютно равнодушна. Победительность и напор на нее не действовали. Разве что в отрицательном смысле.

Вести себя с этой публикой она давно научилась. Рецепт прост: держи дистанцию и никаких женских игр.

— Я очень рассчитываю на вашу помощь, — сказала она серьезно. — Мне нужно столькому научиться. Нам ведь в России придется всё создавать с нуля.

И директор сразу перестал строить глазки. Талию отпустил. Так-то лучше.

— Знаю. Видел. Вы храбрая женщина, мадемуазель Вероника. Ваши дома престарелых («пхэстахэлых») — это ужас. Поместить бы туда Клару Кондратьевну, пусть только на одну неделю. — Он мечтательно улыбнулся. — Но нет. Даже ей я этого не желаю. Хотя, конечно, она очень утомительная особа.

— Откуда у вдовы советского партработника средства оплачивать всё это?

Вера кивнула на замок, фонтан, чудесные клумбы.

— О, эта порода людей оказывается наверху при любой политической системе. Сын мадам Забутько служит в московской мэрии на очень, как это называется, хлебной? Да, хлебной должности. Я понимаю, у каждой страны свои особенности. Мне объяснили, что в России многовековая традиция: кто верно служит государству, тот получает неофициальную привилегию извлекать доход из своей должности. У нас, конечно, невозможно представить, чтобы служащий парижской мэрии платил частному *maison de retraite*¹ шесть тысяч в месяц за содержание матери. Налоговая полиция немедленно, как это, сядет ему на хвост?

Вера нахмурилась. Неприятно, когда иностранец со снисходительной миной тыкает тебя носом в недостатки твоей страны. Наши болячки мы вылечим сами, без чужих. Не всё сразу. И где, спрашивается, был бы этот «Лука Иванович» без клиентов вроде Клары Кондратьевны Забутько или Валерия Николаевича Ухватова?

— Объясните, пожалуйста, как во Франции устроена система «мезон-де-ретретов»?

Она еще чуть-чуть подсушила тон. Французский термин употребила за неимением эквивалента в русском языке. Язык не повернулся назвать «Времена года» «домом престарелых» или «домом ветеранов».

Шарпантье остановился, горделиво обвел рукой свои владения:

— У нас все-таки не обычный *maison de retraite*, а *résidence service*, «резиденция с обслуживанием».

— В чем разница?

¹ Дом престарелых (фр.).

— Maison de retraite может быть публичным. Нет, правильно сказать «общественным», да? Я знаю, «публичный дом» — совсем другое. — Он засмеялся. Вера же не улыбнулась, изобразила сосредоточенное внимание: типа «пожалуйста, не отвлекайтесь». Директор вздохнул и продолжил, слегка поскуцнев: — В maison de retraite могут попасть все пожилые люди, кто хочет. Платит частично государство, частично муниципалитет, частично сам человек — из своей пенсии. Сведения о стариках, нуждающихся в размещении, собирают Centres Locaux d'Information et de Coordination gérontologique, центры геронтологической информации и координации. Если пенсионер по состоянию здоровья может жить автономно и не хочет никуда переезжать, ему помогают на дому. Размер денежного пособия определяется индивидуально, в зависимости от уровня доходов и, как это, степени автономности, так?

— Самостоятельности, — кивнула Вера.

— Спасибо, «самостоятельности». Ну, а как это пособие тратить — на жизнь в maison de retraite или на независимое существование, человек решает сам.

— Чем частный мезон-де-ретрет отличается от государственного? — спросила Вера. Всё что можно о французской системе она уже выяснила, но интересно же послушать мнение специалиста.

— Когда больше платишь, получаешь больше. Это естественно. Даже частные maisons de retraite все равно половину расходов покрывают за счет государственного и муниципального бюджета. Но человек может купить дополнительные услуги сверх положенного минимума. Например, жить не в комнате, а в целой квартире. Привезти свою мебель. Или домашнее животное. Бывают частные maisons de retraite, где у каждого свой коттедж с маленьким садом. Самая высокая категория обслуживания — это résidence service вроде нашей. Особенность

«Vréménagoda» в том, что здесь почти не осталось французских граждан, а значит, мы существуем фактически без государственной поддержки. На принципе са-мо-оку-па-емости, — старательно выговорил он длинное слово. — Вы ведь знаете историю нашего дома?

Поскольку директор вроде бы прекратил делать апроши, Вера немного расслабилась, позволила себе улыбнуться.

— Он, кажется, был создан для русских эмигрантов?

— Да, в конце шестидесятых. Наша основательница (у нас ее называют просто «Мадам») сама по происхождению русская. Она была известный геронтолог и гериатр, с собственным независимым капиталом. Решила позаботиться о соотечественниках. За тех, у кого не хватало средств, Мадам платила сама. О, это была выдающаяся женщина. При ней здесь в основном жили русские из первой, после-рево-люци-онной эмиграции. Совсем непохожие на мадам Забутько.

И снова он засмеялся, а Вера нахмурилась. Директор опять вздохнул. Наверно решил, что у суровой девицы напроць отсутствует чувство юмора. А просто Вера не любила, когда персонал подсмеивается над контингентом. Впервые, это некрасиво. А во-вторых, еще неизвестно, какие мы сами будем в таком возрасте.

— Сейчас почти никого из той генерации гостей не осталось, — меланхолично продолжил мсье директор. — Вымерли. Или превратились в пациентов.

Этого Вера не поняла.

— Простите?

— «Гостями», или «резидентами», у нас называют тех, кто хотя бы отчасти автономный. Самостоятельный, — поправился Шарпантье, вспомнив правильное слово. — А «пациенты» — это те, кто кантуется в КАНТУ.

Он выжидательно посмотрел на Веру — оценила ли каламбур.

Не оценила.

— Ну вот, — комично развел руками «Лука Иванович». — Я сам придумал эту шутку. «Кантуется» — очень хорошее коллоквиальное выражение. Все смеются. А вы какая-то царевна Несмеяка.

— Несмеяна, — поправила она. — «Кантуется» я поняла. Но что такое КАНТУ?

— А, вы не знаете. «CANTOU» значит Centre d'Activité Naturelle Tirée d'Occupation Utile. Как это лучше перевести? — Шарпантье защелкал пальцами. — Очень политкорректное французское название... Ну, в общем, это отделение для самых тяжелых. Во «Времена-года» там содержат тех, кто в самой последней стадии альцгеймера и уже не владеет даже самыми базовыми функциями. В бывшем Овальном салоне по периметру устроены двенадцать боксов, в каждом кровать. Посередине — стол старшей сестры с датчиками. И еще постоянно дежурит санитарка. Я знаю, сестры и санитарки между собой называют наше КАНТУ «овощехранилищем». Совсем непolitкорректно, но смешно. — Директор смущенно хихикнул и, как бы извиняясь, пояснил: — Низший и средний персонал у нас весь из Прибалтики. Они знают русский язык, нет проблем с разрешением на работу, и согласны на небольшую зарплату. А работа в КАНТУ тяжелая и депрессивная — нет, по-русски нужно сказать «депрессивная». Не приведи Господь заканчивать так свою жизнь. Я правильно сказал «не приведи Господь»? Спасибо.

Вера сама, бывало, задумывалась об этом, когда видела совсем уж беспомощных, выживших из ума стариков. Обыкновенные люди, у которых в голове ничего не тикает, мечтают дожить до ста лет — спрашивается, ради чего? Чтобы угодить в такое вот «овощехранилище»? Да если б еще в такое...

Она сказала, медленно подбирая слова:

— Я иногда думаю... Что, если это ужасно смотрится только со стороны? А внутри человек парит где-то там, в прошлом... или в грезах... в далеком детстве. У альцгеймерных больных часто бывает такой блаженный вид. Вы читали книжку мужа Айрис Мёрдок, писательницы? Она ведь умерла от болезни Альцгеймера.

Шарпантье смотрел на нее с интересом. Мол, продолжайте, слушаю.

— Под конец она всё сидела и смотрела детские мультики, ничем больше не интересовалась. Возможно, ей было не так уж плохо... То, что на самом деле, и то, как это выглядит, часто совсем не одно и то же...

— Где-то я эту мысль уже встречал, — торжественно заметил директор. В его глазах мелькнул огонек.

Вера почувствовала себя глупо. Ее косноязычный лепет насчет «быть» и «казаться» — жуткая банальность. И про Айрис Мёрдок директор наверняка в курсе. Он же специалист.

Ну и ладно. Зачем изображать, будто ты умней, чем есть? Познакомимся получше — всё встанет на свои места.

— Ой, православный батюшка! — Она повернула голову. — Здесь есть русская церковь?

Из левого флигеля, грузно переваливаясь, вышел бородатый дедушка в рясе, с крестом на груди, в шляпе, из-под которой свисали длинные седые волосы.

— Нет, это наш резидент, отец Леонид. Отставной священник. Последний из старых жильцов, кто еще в своем уме. Он, конечно, не после-революци-онный эмигрант, но родился в семье «белых» русских. Очень интересный человек. Удивительно, но многие гости новой генерации, в большинстве коммунисты, ходят к нему на исповедь. Даже мадам Забутько.

— Ничего удивительного. В России то же самое.

Вера улыбнулась и помахала рукой священнику. Тот вежливо поклонился, медленно прошествовал в сторону парка. Важный какой, подумала она. Будто с картины Репина «Крестный ход».

— Устройство у нашей резиденции такое, — объяснял директор. — В бывшем господском доме офис, ресторан, весь... социально-культурный блок, это ведь так называется? Спасибо. Там же медицинский сектор со всем необходимым оборудованием. Постоянного врача в штате нет, но каждый день приезжает дежурный терапевт. Через день консультирует психолог. В Овальном салоне, как я уже сказал, находится КАНТУ. На первом этаже (по-русски — втором) комнаты для занятий разных клубов. Нет, лучше сказать кружков, да? О, у нас чего только нет. Даже кружок китайского языка.

— Китайского? Зачем?

— Когда-то Мадам выдвинула гипотезу, что изучение сложного языка, желательнее с иероглифической письменностью, помогает стареющему мозгу бороться с симптомами болезни Альцгеймера. Впоследствии эта гипотеза получила научное подтверждение. Бывшая владелица «Vréménagoda» много лет изучала проблемы старческой деменции и достигла серьезных успехов. Существует даже стипендия ее имени для исследователей в области гериатрии. А китайский язык Мадам хорошо знала с молодости.

Вера представила наших бабок-дедов, изучающих китайские иероглифы где-нибудь под стенгазетой «Почет ветеранам», и хихикнула. Люк Шарпантье поглядел на нее с удивлением.

— Мы не такие серьезные, какими хотим казаться... Это хорошо.

— А где живут резиденты? — сдвинула брови Вера. — Во флигелях?

— Да. Слева раньше была конюшня. Справа жили слуги. Но, как вы увидите, теперь там гораздо комфортабельней, чем в главном здании. Гостей поселили во флигели, потому что там нет лестниц. Все двери, как у нас называется, в *rez-de-jardin*, то есть на уровне сада. *Jardin*¹, кстати, тоже есть. С задней стороны к каждой квартире прилагает свой палисадник. Кто хочет, ухаживает за ним сам. Если нет желания, это сделает садовник.

— Здорово! А сколько здесь человек?

— У нас тридцать шесть квартир. Семейных пар восемь. То есть всего сорок четыре гостя. Плюс двенадцать пациентов КАНТУ. Персонал живет в бывшей оранжерее, ее отсюда не видно. Моя квартира в Эрмитаже, вон за теми деревьями. Милости прошу в гости.

— Спасибо, — чопорно ответила Вера. — Непременно. Значит, я буду жить в оранжерее?

— Нет, это было бы нарушение порядка. Вы ведь доктор. — Директор ухмыльнулся, как бы давая понять, что сам он иерархическим глупостям значения не придает. — К тому вы же из страны — нашей кормилицы. — Он шутливо поклонился. — Поэтому вам особый почет. Будете жить в бывшем апартаменте Мадам. Это прямо в шато, на верхнем этаже. Вся социальная жизнь резиденции будет проходить перед вашими глазами. Очень удобно.

Насчет «страны-кормилицы» Вере еще в Москве подробно объяснил Берзин. В середине девяностых, когда «Времена года» лишились благотворительницы, заведению пришлось туго. Несколько лет они тут перебивались с багета на сидр (шутка Берзина), проедали остатки средств, пытались сесть на шею государству. Наконец, исчерпав ресурсы, собрались закрываться, тем более что контингент потихоньку вымирал, а новым русским старикам во Франции

¹ Сад (фр.).

взяться было неоткуда. И тут в чью-то светлую голову пришла отличная бизнес-идея. В стране проигравшего социализма как раз появилось много нефтяных денег, а проблема достойной старости оставалась нерешенной. Даже людям обеспеченным пристроить стареньких родителей было некуда. Ни пристойных учреждений, ни квалифицированного ухода. И вот на рубеже нового тысячелетия какой-то первооткрыватель обнаружил в дебрях Нормандии люкс-богательню «Времена года» с русскоговорящим персоналом. С этого момента заведение вступило в эпоху ренессанса. За десять лет бывшее благотворительное учреждение превратилось в высокорентабельное предприятие.

Оставив сумки на первом этаже, Вера в сопровождении директора отправилась осматривать главный корпус. Всё здесь было ей ужасно интересно.

В ресторане она поизучала меню, вздохнула. Впечатлила даже не выбор, а обилие блюд русско-советской кухни. Здесь учили, что старики ужасно консервативны в кулинарных пристрастиях. Селедка под шубой, холодец, шпротный салат, котлеты пожарские, судак по-польски, мясо по-суворовски, творожная запеканка, клюквенный кисель...

— У нас шеф из хорошего таллинского отеля, — похвастался Шарпантье. — Я и сам полюбил все эти винегреты, не похожие на *vinaigrette*, и салат без оливок, но с названием *olivier*. А какие у нас пекут пирожки! Пойдемте к дамам, они вас угостят.

В чайной зоне за столом сидели три бабушки, смотрели какое-то шоу российского первого канала — так увлеченно, что даже не обернулись.

Две закисили от смеха.

— Чего она, чего? — приложив ладонь к уху, переспросила третья — тощая, как баба-яга, в алом шелковом тюрбане. — Что она ему сказала?

— Говорит: «Не парься, урод. Отвали».

— В каком смысле?

— Да ну вас, Эльвира Ивановна. Забываете слуховой аппарат, а потом мешаете смотреть.

Вера покачала головой:

— Спасибо. Я потом со всеми познакомлюсь. Пойдемте дальше.

На ходу, слушая пояснения, записывала в блокнот: «В каждой квартире кухонный уголок. Кто хочет, готовит сам. Есть автобус для поездок в супермаркет. Или можно дать список продуктов — привезут».

Поднялись на второй этаж. В одной комнате занимался кружок мягкой игрушки. В другой хор репетировал «Эх, дороги, пыль да туман» для завтрашнего концерта. В третьей очень серьезный мужчина, похожий на певца Георга Отса (Верина бабушка обожала фильм «Мистер Икс»), диктовал кулинарные рецепты. Это и был переманенный из Таллина чудо-повар.

— А здесь что?

Вера остановилась перед запертой дверью, на которой висела табличка с перечеркнутым крест-накрест портретом Ленина. Изнутри доносился мужской голос, что-то пронзительно выкрикивавший.

— Дискуссионный клуб. Для политических споров. Сегодня «белый» день. — Люк Шарпантье тихонько рассмеялся, видя на лице спутницы недоумение. — Видите ли, мадемуазель Вероника, вы, русские, очень пассионарная нация. Особенно в политике. Спор моментально переходит в ссору, ссора в драку. Поэтому пришлось поделить дни на «красные» и «белые». В «красный» день свои аргументы высказывают сторонники коммунизма, а их оппоненты только слушают. В «белый» день всё наоборот.

— Знаю я стариков, — недоверчиво заметила Вера. — Как это они будут слушать и ничего не отвечать? Так не бывает.

Директор хитро приподнял бровь.

— А вы загляните. Сегодня там будет пусто. «Белые» у нас — маргинальное меньшинство.

Зал, который, судя по экрану, использовался для кинопоказов, был почти пуст. На сцене стол с микрофоном. Там, тряся пальцем и захлебываясь, держал речь лысый человек в свитере. Аудитория состояла из одного-единственного слушателя. Он был в строгом костюме, белой рубашке, галстуке. Что-то быстро записывал.

— ...Так никогда ничему и не научитесь! — частил оратор. — Потому что ваша идеология не признает свободы мысли. Только умеете, что клонировать таких же, как вы, долдонов! «Марксистское учение всесильно, потому что оно верно» — вот вся ваша аргументация!

Шарпантье объяснял шепотом:

— Это господин Кучер Михаил Маркович. Диссидент. Был выслан из Советского Союза еще в семидесятые годы. Женился на состоятельной даме левых взглядов. Овдовел. Продал свою квартиру в шестнадцатом арондисмане, живет у нас. Как видите, его взгляды у нас непопулярны.

— Только один сторонник?

— Это не сторонник, а совсем наоборот. Секретарь нашего парткома. Что удивляетесь? У нас и партийная организация есть, как же без нее? Завтра, в «красный» день, секретарь будет возражать по пунктам, потому и записывает. О, это наша звезда. Не узнаете?

Директор назвал фамилию, которая Вере была смутно знакома.

— Кто-кто?

— Я забыл, сколько вам лет. Это один из членов ГКЧП. Доживает у нас. Дети-бизнесмены платят. Такая вот судьба.

Что такое ГКЧП, Вера сообразила не сразу. Потом-то, конечно, вспомнила. Фамилию эту она, кажется, слышала в далеком детстве.

— Иосифа Виссарионовича не оскорблять! Особенно в канун Великой Победы! — вдруг крикнул с места бывший путчист. Вера прослушала, что именно сказал про Сталина господин Кучер.

— Вам никто слова не давал! — легко перекричал его в микрофон выступающий. — И предупреждаю. Увижу в клубе портрет Усатого — сорву! Дома у себя хоть Гитлера вешайте. А в общественном месте не смейте! И сядьте! Уважайте правила!

Партийный секретарь поднялся, грохнув стулом.

— Сам себя слушай, балабол!

Затопал к выходу.

— Моемся, — быстро шепнул директор. — Нет, смываемся? Смываемся. А то нам тоже достанется.

Вера записала: «Мих. Марк. Кучер. Познакомиться. Проблема изоляции?» Приезжая в домвет, она всегда брала на заметку тех, кто страдает от одиночества или подвергается остракизму. Во всякой ячейке общества — дома престарелых не исключение — обязательно есть свои партии. Исследования, проведенные фондом, показали, что эта категория стариков уходит быстрее всего (слова «умирать», «смерть» в документах организации принципиально не употреблялись).

— Михаил Маркович всегда один? — спросила она. — С ним никто не дружит?

— Никто. Но ему, по-моему, и не нужно. Он диссидент по своей nature existentielle... — Шарпантье пощелкал пальцами.

Вера помогла:

— Экзистенциальной установке?

— Установке. Спасибо. Ему нужна оппозиция, конфликт с окружающим социумом. Это заряжает его энергией. Вам нужно прийти в «красный» день. О, это интересно. Я видел в Москве спектакль «Горе от ума». Очень похоже.

— Как Чацкий, один против всех?

— Да. Только в пьесе Чацкий, если так можно сказать, не расстается с микрофоном, все время говорит. А тут наоборот. Только жестикулирует, мимикирует. Мимикует? В общем, делает лицо и кричит, а почти ничего не слышно, потому что микрофон ему в «красный день» не положен. При этом мсье Кучер выглядит совершенно счастливым.

Они спускались по лестнице с противоположной стороны главного корпуса. Вера с удовольствием погладила дубовые, черные от старости перила.

Пролетом ниже, на широком подоконнике, сидела пара — мужчина и женщина. Курили.

Вера уже знала, что в шато повсюду устроены места для курения. Многие гости не желают отказываться от вредной привычки. Директор пожаловался, что ему трудно держать оборону против разного рода инспекций, которые требуют все курилки упразднить. Пока выручают ссылки на русскую этноспецифику и особый статус заведения.

— О, вам это будет интересно. — Шарпантье придержал Веру за локоть. — Еще две ярких личности. Обе с психической аномалией. У господина Эдуарда Мухина посттравматическая антероградная потеря памяти с частичной ретроградной амнезией. После автомобильной аварии отключились участки гиппокампа, ответственные за долгосрочную семантическую и эпизодическую память. Довольно редкий случай, хоть и описанный в литературе. Этот человек навсегда остался в 1973 году.

— Почему именно в семьдесят третьем? — шепотом спросила Вера.

— Не знаю. Но всё, что произошло после того времени, его память не зарегистрировала. У него в голове что-то вроде блокатора, который не пропускает ничего, что появилось позже. Он, например, знает всю музыку «Битлз», а

«Роллинг стоунз» — только до диска “Goat Head’s Soup”. Каждый раз с недоумением смотрит на видеомэгнитофон. Пожмет плечами и проходит мимо. В квартире у него только техника того времени. Как мы намучились, когда у господина Мухина сломался проигрыватель для виниловых пластинок! Вы посмотрите, как он одет.

Мужчина действительно был одет чудновато. Как персонаж из фильма Милоша Формана «Волосы». Тертый джинсовый костюм с клешеными штанинами, туфли на платформе, индийская рубашка с острыми углами воротника. Длинные пегие волосы до плеч. Усы подковой. Дымчатые очки почему-то с яркой наклейкой на одном стеклышке.

— Его мозг отказывается регистрировать всё неприглядное, не попадающее в картину семьдесят третьего года, — продолжал директор. — Помогает слабое зрение. Он плохо видит, а очков с диоптриями не носит, только солнечные.

— Почему не носит?

— Потому что в семьдесят третьем году господину Мухину было тридцать лет, и в очках не было необходимости. Еще, думаю, работает подсознательный механизм внутренней защиты. Легче не замечать того, что может смутить. А каким языком он говорит! Я не понимаю половины.

— Но ведь окружающие наверняка рассказывают ему, что сейчас не семьдесят третий год? И потом, вокруг столько всего... современного.

— Не замечает. — Шарпантье развел руками. — Ментально забывает всё, что не вписывается в картину. А ночной сон окончательно стирает все впечатления предыдущего дня. Утром он каждый раз живет заново. Со всеми знакомится, всему удивляется и так далее. Смотрели фильм «Un jour sans fin»?

— Да, по-русски «День сурка». А женщина? У нее, вы сказали, тоже проблема с психикой? Какая?

Присмотревшись, Вера заметила, что собеседница лохматого господина Мухина тоже кажется молодой лишь на первый взгляд.

Крашенные в красно-рыжий цвет волосы, сильно подведенные глаза. И одета совсем не по возрасту. Замшевые сапоги выше колен, мини-юбка, а на костлявых, покрытых ненатурально коричневым загаром руках в несколько слов болтаются браслеты.

Франг минувшей эпохи воскликнул:

— Умотная ты чувиха, Долли! — и тонко, залиvisto засмеялся.

Женщина щелкнула его по лбу и тоже захохотала, хрипло. Запрокинула голову (даже издали было видно, как морщиниста обнаженная шея) и заметила, что сверху за ними наблюдают.

— Шарпейчик! — закричала она. — С кем это ты, старый греховодник?

— Потом, — тихо сказал директор Вере и просиял улыбкой. — Долорес Ивановна! Вы, как всегда, в прекрасной форме.

— За «Ивановну» ответишь. Ну-ка, води сюда свою цыпу. Дай посмотреть. Новый завоз свежего мяса?

Приближаясь к шумной тетке, Вера буквально с каждым шагом мысленно меняла возрастной диагноз. Сначала показалось, что Долорес Ивановне лет пятьдесят пять. Нет, скорее, шестьдесят. На середине лестницы Вера дошла до шестидесяти пяти. Подойдя же вплотную, снова скорректировала оценку. Неоднократные подтяжки, гормональные инъекции и всё такое, но никак не меньше семидесяти двух.

А «Долли» всё рокотала, неприятно скалясь:

— Уже оприходовал? Ты ж ни одной юбки не пропускаешь. Ничего, фактурная. Ишь, турусов на голове понаст-

роила, не поленилась. «Куда так проворно, жидовка младая?» И на мордашку ничего. Бюстик имеется. А сзади что? Ну-ка жопкой повернись.

Вера нахмурилась. Такой типаж в наших домветах она ни разу не встречала. И слава Богу.

Насчет волос неправда. Они у Веры от рождения были ужасно густые, мелко вьющиеся. Ничего она с ними не делала, только причесывалась. Это уж они сами облаком вставали. Зато насчет «жидовки» отчасти угадала — волосы достались от бабушки-еврейки.

— Будешь разочарован, Шарпейчик. Поверь моему опыту. — Противная старуха нарочно выпустила стажерке в лицо дым. — Глаза рыбы. Лучше бы меня к себе в Эрмитаж пригласил, отшельник. Я бы тебя не разочаровала.

— Был бы счастлив. Но правила запрещают иметь романы с резидентами, — грустно вздохнул директор. — Как ваша мигрень, мадам? Таблетки помогли?

— Таблетки тут не помогут. Мигрень у меня от хронического недоёба.

Шарпантье раскатисто засмеялся.

— Какие проблемы, Долли? — воскликнул господин Мухин. — Партия сказала «Надо!», комсомол ответил: «Есть!».

Он с любопытством рассматривал пышноволосяную Веру. Сквозь темные стекла было видно, что глаза близоруко щурятся.

— Мне знакомо ваше лицо. Вы не отдыхали прошлым летом в Пишунде?

— Нет.

— Я Эдик. Френды зовут меня «Муха». Потому что легко, но навязчив.

Заржал, обнажив желтые плохие зубы. Воспользовавшись тем, что Шарпантье завел с Долорес Ивановной разговор о каких-то медикаментах, потянул Веру в сторону.

— Давай на «ты». Ты студентка? А я аспирантуру заканчиваю. Ты откуда? Из Москвы? Я тоже. А флэтуха где?

Это он про квартиру, догадалась Вера.

— На Тверской.

Берзин снял для нее студио в пяти шагах от своего офиса, где находился и фонд. Сказал, что тратить час на дорогу да час обратно — мазохизм. Вера почти не сопротивлялась. Не из-за дороги. Тяжело было жить с родителями. Они всё про одно: как себя чувствуешь да измерь давление.

— Где-где? — Муха не сразу сообразил. — А, на Пешков-стрит. Клёво! Ты только приехала? Я тоже. Вчера завалился. Тут в принципе нормально, по-западному, импортная мебель, все дела. Но скучно. Даже дискотеки нет, я спрашивал. Зато магазин «Березка». На серты работает, бесполосные. Ханка импортная, чуинг-гам, чипсы. Покурить хочешь? Бери, не стесняйся. — Он протянул пачку сигарет. — «Галуаз». Настоящая Франция. А то давай ко мне, сейшн организуем. У меня номер «люкс». Телевизор, музыкальный центр, стереоколонки. Я диски классные привез, послушаем. Вечером можно в Ригу сгонять. Там не то, что в Москве. Веселый город, Европа. В девять о-клок бай-бай не ложатся.

— В Ригу? — удивилась Вера. — Как это?

— Туда на электричке. Обратно на тачке. До Дзинтари ночью за чирик возят, я по прошлому году помню. One red Puyich. Мани ноу проблем. Муха приглашает.

— Где мы, по-вашему, находимся? — спросила она. Интересно же, что он себе воображает.

— Как где? В Дзинтари, в пансионате «Янтарный». Ты чего, не знаешь, куда приехала? Прикалываешься?

По лестнице поднималась уборщица с ведром и щеткой. Вере захотелось посмотреть, как больной реагирует на столкновение с реальностью.

— Добрый день, — сказала она. — Я Вера. Как вас зовут?

— Меня зовут Марта Озолия, — ответила уборщица с легким акцентом.

— Откуда сама, Мартусь? — подключился Мухин.

— Из Лиепая.

— Далеко ездить. Могла бы у себя в Лиепая шеткой махать. Много платят, что ли?

Латышка обстоятельно ответила:

— Я получаю восемь евро десять сантим за час. В Лиепая столько не платят.

Ну-ка, как Мухин отреагирует на евро и сантимы?

А никак. Будто не расслышал. Наклонился к Вериному уху и пропел: «Ночью, в узких улочках Риги, слышу голос дальних столетий. Слышу века, но ведь ты от меня далека. Так далека, что тебя я не слышу. Па-па-па-па. Па-па-па-па-па-па-па!»

— Эй, Муха, хорош девке мозги компостировать. Не про твой хер малина, — бесцеремонно толкнула его в спину Долорес Ивановна.

Директор взял нахмурившуюся Веру под руку, повел дальше.

— Как вам красотка Долли? — шепнул он.

— Распущенная старуха с грязным языком!

Вопреки железному правилу никогда не обижаться на контингент, Вера жутко разозлилась.

Через минуту ей стало стыдно.

— Бедняжка Долли не распущенная, — стал рассказывать Люк. — У нее так называемый витцельзухт-синдром, «синдром игривости». Возрастная патология Cortex orbitofrontal, разновидность фронтотемпоральной деменции. При этом поражении лобных долей происходят личные, нет, как это, личностные изменения. Мир будто утрачивает всякий смысл, распадается на мелкие, дурацкие

фрагменты. Больной ничего не принимает всерьез, ему хочется всё превращать в шутку. Любые этические запреты снимаются. Это называется, если я правильно помню русский термин, «эмоциональное уплощение». Обычно витцельзухт сопровождается гиперсексуальностью вследствие утраты самоконтроля. Отсюда склонность к непристойностям. При наличии возможностей — к промискуитетному поведению. О, с Долорес Ивановной у нас бывают проблемы. Она может надеть мини-юбку без дессу и нарочно сесть так, чтобы мужчинам было всё видно. Это не очень аппетитное зрелище. — Люк Шарпантье грустно засмеялся. — Кто знает? И я могу когда-нибудь стать таким же грязным стариком, с моими задатками. Что вы так смотрите, Вероник? Неужели вы в России никогда не имели дела с подобными случаями?

Вера покачала головой. Нет, в наших домветах бабушек с витцельзухт-синдромом она не встречала. Деды-похабники попадают, и нередко. Но от пожилой женщины бесстыдства не ждешь. Или у нас экземпляры вроде Долорес Ивановны просто не попадают в дома престарелых? Чтоб вести себя нагло, нужна внутренняя уверенность, сознание своего права. А наши российские «резидентки» слишком принижены.

— У нее, наверное, богатый сын? Или дочка?

— Разумеется. Других гостей здесь нет, сплошь родители разных *pouvaux-riches*. На русскую пенсию во “Vrèmenagoda” не проживешь. На французскую, впрочем, тоже. Хорошо иметь деньги. Избавляет от многих проблем. — Директор вздохнул. — Думаю, дети отплавил... нет, сплавил мсье Муха и мадам Долли за границу еще и потому, что иметь рядом таких родителей тяжело. Постоянный *source d'embarrasement*¹.

¹ Источник неловкостей (фр.).

Они дошли до библиотеки. В большой и светлой комнате со старинными дубовыми стеллажами чудесно пахло книжной пылью и ушедшим временем. Коричневые корешки тускло блестели золотыми буквами, на столах стояли пюпитры, а лампы были бронзовые, с шелковыми абажурами. Вера чуть не облизнулась, предвкушая, как славно она тут посидит тихими вечерами.

— Я был не совсем прав, когда сказал, что у нас живут только родители новых богатых, — шепнул ей директор, кивая на дальний угол.

Там бок о бок, спиной к двери, сидела пожилая пара. Две седые головы склонились над столом.

— Мсье и мадам Звонарев. Это не русский, а скорее французский вариант старости. Клим Аркадьевич сделал свой капитал сам и ни от кого не зависит. При советском режиме он был научный работник. Шеф лаборатории в электронном институте. Потом государство перестало давать деньги. Коллеги мсье Звонарева ждали, когда вернутся старые времена. А он ждать не стал. Открыл собственный бизнес, уже в очень немолодом возрасте, разбогател. Несколько лет назад продал компанию за хорошие деньги. Сейчас занимается ценными бумагами. Сам управляет своим портфелем. Отсюда, по Интернету. В его поколении такие феномены, я знаю, редкость.

— Познакомьте меня с ними, пожалуйста.

В том, как тесно они сидели, в уютности, с которой рука старика лежала на плече жены, было что-то, вызвавшее в Вере не совсем ей понятное, болезненное чувство. В чем дело?

Шли, стараясь производить поменьше шума, — происходило это само собой, под воздействием библиотечного антуража. То ли из-за этого, то ли из-за возрастной тугухости сидящие пока не замечали, что кто-то вошел.

— Жаба, — сказал старик, — лапу оторву! Куда переворачиваешь?

— Ты, Сеня, целый час страницу разглядываешь! — пожаловалась жена.

На жабу она была ни чуточки не похожа. Ухоженная стройная дама, с балетной посадкой головы, в идеально белых волосах старинный гребень с камеей. Лет семидесяти семи. Муж на три или четыре года старше. На столе перед ними лежала переплетенная подшивка какого-то дореволюционного иллюстрированного журнала.

Говорили оба громче, чем нужно. Значит действительно неважно слышат.

— Почему она назвала его «Сеня»? — не особенно понижая голос, спросила Вера. — Вы говорили, он Клим Аркадьевич?

Оказалось, что старушка-то слышит нормально. Она обернулась первой, а уж потом шевельнулся и старик.

— Что? — переспросил он. — Жабик, что молвила девушка с власами Саломеи? Извините, деточка, я глуховат. Люк, ребонжур¹.

— Девушка спросила, почему я зову тебя Сенею, если ты Клим.

— А-а. — Сквозь толстые стекла очков глядели ироничные и какие-то — нет, не спокойные, а совершенно равнодушные глаза. Ничем их Вера не заинтересовала, даже «власами Саломеи». — Семейная шутка. «С нами Клим Ворошилов и братишка Буденный».

— Кто? — озадачилась Вера.

— Долго объяснять. Другое поколение. У вас свои шутки, у нас свои. В наши времена «Клим» — это был маршал Ворошилов. А «Семен» — маршал Буденный. Где один, там и другой.

— Бивис, — обронила, будто подсказывая жена.

Клим Аркадьевич кивнул.

¹ Здравствуйте еще раз (фр.).

— Вот именно. Это как если бы меня звали «Бивис», а жена называла меня «Батхед». Так понятней?

Вера кивнула, несколько уязвленная пояснением, рассчитанным на дебила-подростка. Хотела спросить, почему Клим-Сеня называет супругу «жабой», но не осмелилась.

Старик был проницателен. Сам объяснил:

— А Жанну Сергеевну я зову Жабой, потому что она Жанна.

Познакомились. Жанна Сергеевна задала несколько вопросов, но тоже как-то безразлично. Чувствовалось, что разговор поддерживается из вежливости и супругам хочется остаться вдвоем.

— В счастливых семейных парах есть что-то неприличное. Им никто не нужен, они никого в свой мир не пускают, — сказал в коридоре Шарпантье. — Вы обратили внимание, как они между собой разговаривают? Половинками фраз. Даже четвертинками. И отлично понимают друг друга. Постоянно на одной волне.

Он вздохнул. Во вздохе слышалась зависть.

А Вера думала, что у нее никогда и ни с кем таких отношений не будет. Чтоб в восемьдесят лет сидеть бок о бок, понимая друг друга без слов и ни в ком постороннем не нуждаться.

— Может, будем заселяться? — весело сказала она. — Первое впечатление имеется. Спасибо, мсье Шарпантье.

— Люк. Пожалуйста, зовите меня Люк.

Он отвел ее туда, где Вере предстояло прожить целый год. Для стажера, даже из «страны-кормилицы», апартамент был чересчур велик: целых три комнаты. Настоящая директорская квартира.

— Слушайте, мне прямо неудобно. Почему вы сами здесь не живете?

— Предпочитаю в парке. Я и так слишком много времени провожу в этих стенах. И потом, вы юная, вам нестерпимо, а меня пугало бы такое соседство... В квартире директора был еще кабинет. Вот за этой запертой дверью. Теперь туда вход из коридора.

— Что же тут страшного?

— А, вы еще не знаете... — Он странно посмотрел на нее. — Ну, тогда это произведет на вас впечатление.

— Да что?

С кривоватой улыбкой директор спросил:

— Здоровое сердце — это хорошо?

— Конечно хорошо. Почему вы спрашиваете?

— Вот вам демонстрация релятивности любого представления о плохом и хорошем. Я придумал каламбур: «здоровое сердце не всегда здорово». — Он подождал, оценит ли она. — Опять неудачный? Ладно, не буду вас интриговать. В бывшем кабинете теперь находится палата Мадам. У бедной старухи исключительно здоровое сердце.

— Разве Мадам жива? — поразились Вера. Она была уверена, что создательницы «Времен года» давным-давно нет на свете.

— Трудно назвать ее живой. Но она и не мертва. Пятнадцать лет в коме.

— Пятнадцать лет!

Люк поежился:

— Ужасно, да? Западный мир воюет с холестерином, делает джоггинг. Скоро у всех стариков будет очень здоровое сердце. Но сердце — агрегат несложный, при хорошем техническом уходе может служить очень долго. Я думаю, лет через десять—пятнадцать проблему рака тоже решат. Для этого достаточно организовать тотальное онкодиагностирование. Однако ремонтировать мозг мы почти совсем

не умеем. Механизм старения мозговых клеток — загадка. Если бы медицина научилась бороться с синдромом Альцгеймера, срок активной жизни человека составлял бы сто двадцать—сто тридцать лет. А так мы рискуем в двадцать первом веке превратить Европу и Америку в гигантское КАНТУ. Общество столетних «овощей», у которых продолжает тикать сердце. Правда, страшно?

— На свете есть вещи пострашнее, — ответила Вера.

Страшно, что у вас и у нас проблема старости выглядит так по-разному, вот что она имела в виду. На Западе тревожатся, как продлить старикам срок полноценной жизни, а у нас старики обществу вообще не нужны, поскорей бы отправлялись на тот свет и не обременяли остальных.

Но Шарпантье понял ее по-своему.

— Вам так кажется, потому что вы молоды. Вы-то сможете спокойно спать через стенку с «овощем», который когда-то был умной, деятельной личностью. А я бы не смог.

— А почему она не там, где остальные... пациенты?

— Из уважения. В ее кабинете оставили всё, как было раньше. Только установили multifunctionalную кровать и необходимую аппаратуру.

— Пятнадцать лет — и всё жива? Удивительно.

У нас в домвете старуха, попавшая в кому, вряд ли прожила бы больше пятнадцати дней, подумала Вера. Пролетни, воспаление легких, плохой уход... Еще неизвестно, что милосердней.

— Мадам была в преклоненных... то есть преклонных годах, но удивительно свежая. Ум острый, как бритва. Молодые движения. Слух и зрение идеальные. Все в резиденции думали, она будет такой вечно. А потом удар — и всё... — Директор опустил голову, на лоб свесилась красивая седая прядь. — Есть вещи страшнее смерти.

Вера смотрела на запертую дверь, которая когда-то вела в кабинет Мадам.

— Вы ее часто навещаете?

— Никогда. Зачем? — Он даже содрогнулся. — Сделать для нее я ничего не могу. Утливости имеют смысл, когда человек хоть что-то соображает. Но хватит о грустном. Лучше расскажите мне о себе...

Они поболтали о том о сем еще минут десять, и Шарпантье ушел. Вера осталась в своих хоромах одна. Начала со вкусом обживатьсья.

Жить самостоятельно она получила возможность недавно. Как и с вождением машины, ощущение было еще свежее, праздничное.

Наконец-то вырвалась из родительского дома, где воздух пропитан трагизмом и ожиданием беды. Папу с мамой, конечно, жалко, но своей мелочной опекой, пугливым заглядыванием в глаза они здорово напрягали. Ну в самом деле, нельзя же год за годом существовать в атмосфере похоронной конторы!

И потом, Вера сразу почувствовала, что прямо-таки создана для независимого бытования. Большинство людей томятся одиночеством, им нужно, чтобы кто-то все время был рядом. Она же испытывала просто физическое удовольствие от мысли, что это ее и только ее дом, ни с кем его делить не нужно. Стены — будто вторая кожа или панцирь у черепахи.

Кто-то из классиков сказал: человек рождается и умирает в одиночестве. Может, нет ничего страшного, если он и живет один? Дружба, совместная работа не в счет. Это здорово и правильно. Но делить жизнь можно лишь с тем единственным, кого любишь, а если такого существа у тебя нет и не будет, то лучше обходиться собственными ресурсами.

Насчет любви у Веры вопрос был давно решен. Через год после диагноза (она училась в одиннадцатом классе)

мама провела с ней беседу. Наверное, долго готовилась. Семья у Веры была старомодная, немножко викторианская. Если разговор ненароком принимал «взрослое» направление, мама всегда говорила: «Кое у кого уже ушки на макушке, сменим тему». И вот теперь, ужасно стесняясь, а в конце даже расплакавшись, мама стала втолковывать шестнадцатилетней дочери, как опасны в ее положении «ну ты сама понимаешь, какие излишества». «В эти самые минуты», краснея лепетала бедная мама, под воздействием «комплекса физиологических, нервных и эмоциональных факторов», особенно в момент «первого сексуального опыта», может произойти скачок давления, а это «нам» категорически противопоказано.

Беседа была ни к чему. За минувший год Вера стала взрослой. Не в *том* смысле, а в главном. Из дурочки, которая вздыхала над журналом «Космополитен» и пела в ванной «Папа-мама прости», она превратилась в человека думающего. Потому что всё время думала. Было о чём.

Например, о любви. У них в классе уже почти половина девчонок, как это называлось, «гуляли по-нормальному» и охотно про всё рассказывали. Вера же твердо знала: *этого* в ее жизни не будет. И опасность тут ни при чем. В конце концов теми же йогами, у которых она училась целительному дыханию, разработана методика физической любви, при которой никакого скачка давления не бывает. Но дело не в сексе. Абы с кем валяться в постели она не станет, помещает внутренняя чистоплотность вкупе с маминым воспитанием. А по любви ей нельзя. Допустим, кто-то тебя полюбил, у вас настоящее счастье — вдруг ты бац, и помираешь. Вот это действительно кошмар. С тем, кого любишь, так поступить невозможно.

Нет — значит нет. В конце концов, жили в девятнадцатом веке монашки или старые девы без секса. Да и сейчас представления о всеобщем половом разгулье сильно пре-

увеличены. Вера читала данные социологических опросов. У сорока двух процентов российских женщин в возрасте двадцати пяти—тридцати лет в «сексуальной биографии» (смешной термин) имеется только один партнер, а пятнадцать процентов вообще девственницы. И ничего. В мире столько всего радостного помимо «радостей плоти».

Например, дело, которому человек решает себя посвятить.

Свое призвание Вера нашла не то чтобы случайно — совсем не случайно, — но в то же время довольно неожиданно. Всё получилось не так, как планировалось.

К старым людям ее тянуло давно. Началось это вскоре после того, как в голове затикало взрывное устройство замедленного действия.

Морщины, седины, артритические пальцы, коричневые пятна на коже — все те атрибуты старости, которые обычным людям кажутся некрасивыми или даже отталкивающими, — Вера буквально завораживали. Далеко не сразу она догадалась, в чем причина этой obsessions. Всё, конечно, объяснялось очень просто. Она знала, что сама такой никогда не будет. Ее интриговала и манила недоступность. Это была не зависть, скорее жадное любопытство.

Понятно, что учиться Вера пошла на врача. Когда столько времени проводишь в клиниках, на бесконечных обследованиях, не захочешь, а заинтересуешься медициной. При выборе специализации не колебалась: разумеется, геронтология, медико-биологическое изучение старости. Наверное, так же человек решает стать астрономом — всю жизнь изучать далекие планеты, отлично зная, что побывать там ему не суждено.

В первый же год ординатуры Веру послали на практику в провинциальный дом ветеранов. И стало ясно, что ге-

ронтологом в нашей стране быть невозможно. До тех пор, пока существуют такие вот домветы. (Кстати, тот первый был не из худших. Встречались ей впоследствии варианты и пожестче.)

Стариков у нас нужно не изучать, их нужно спасать — с таким выводом вернулась потрясенная Вера в Москву после практики. Сначала думала поменять профессию: стать не ученым-геронтологом, а практиком-гериатром, специалистом по возрастным болезням. Но и этого показалось мало. Здесь надо помогать не отдельным больным, в помощи нуждаются сразу все. Сколько их, одиноких или брошенных детьми стариков, на пространстве от Балтики до Тихого океана? В российских домах престарелых, согласно статистике, содержится примерно четверть миллиона человек. И гораздо больше тех, кто доживает свой век дома, в нищете и одиночестве, заброшенный. Мало того, что из-за бед отечественной истории у этих людей была невероятно тяжелая жизнь. Теперь, обессиленные и увядшие, они обречены на мучительное умирание, а государству и обществу наплевать! Вон у нас небоскребы, как грибы, растут, на московских улицах трутся боками тысячи лимузинов, а месячная пенсия такая, что не хватит на один ужин в нуворишском ресторане.

Будучи максималисткой, Вера и не подумала утрапиться неподъемности груза, который собиралась на себя взвалить. В то время, если честно, она и не планировала ничего особенно масштабного. Захотела помочь жителям одного конкретного домвета. Открыла в Интернете сайт «Счастливая старость», начала ездить в это самое Ладейкино с друзьями. Просто поговорить с людьми, которые никому больше не нужны. Что-то привезти. Помыть-починить-покрасить.

И сама не заметила, как дело задвигалось. Через год в движении «Счастливая старость» было несколько сотен

волонтеров, в двадцати регионах страны. В базе данных у Веры собрались сведения о полусотне домветов, и каждую неделю появлялась новая директория.

А потом объявился Берзин, и увлечение стало профессией. Диплом гериатра Вера получила, но к тому времени уже возглавляла фонд и знала, что врачом работать не будет. Жизненная цель определилась, и была она грандиозной.

Сколько успеет сделать, *пока не прорвет трубу*, Вера не высчитывала. Кто же это знает? Сколько сделаю, столько сделаю, думала она. Девиз у нее был: «Не усложняй простое, не упрощай сложное». Хороший девиз.

Вещи она развесила в спальне, в стенном шкафу. В другой комнате был письменный стол, поэтому Вера решила устроить там кабинет: включила ноутбук, наладила Wi-Fi, разложила книжки-бумажки. Назначение для третьей комнаты, самой большой, придумала не сразу. Там были кожаные кресла, большой телевизор. Но привычки смотреть передачи или видео у Веры не было. Жалко тратить на ерунду время, если его у тебя не так уж много.

Села на пружинистое сиденье, очень классное, покачалась. И решила: здесь будет Уединенный Храм Размышлений. Как у даосов. Ну не роскошь?

И немедленно начала уединенно размышлять. Суммировать первые впечатления, самые яркие.

Больше всего в голове засело то, что Люк сказал напоследок: «По французским стандартам, наш контингент очень молодой. Во французском *maison de retraite* средний возраст восемьдесят пять лет. Редко, если кто-то может восьмидесяти. А у нас — я подсчитал — средний воз-

раст семьдесят два с половиной. Северный климат, люди раньше стареют».

А ведь правда! Мало того, что продолжительность жизни у нас чуть не на пятнадцать лет короче, так еще и стареют люди на десятилетие раньше. Климат тут ни при чем. Такие уж условия жизни, такое здравоохранение. При этом во «Временах года» ведь живут люди из самого благополучного класса, а что говорить про обитателей какого-нибудь Ладейкина.

Вторым по силе было впечатление тревожное и не совсем понятное. Контингент «Времен года» — те, кого Вера успела увидеть, — вызывал какое-то гнетущее ощущение. Не брюзжание габэпного полковника, не грубость номенклатурной дамы, не ругань политических антагонистов, не равнодушие «Сени» и «Жабы», не чокнутый «Муха» и даже не похабные шутки «Долли». Старые люди есть старые люди, с ними легко не бывает. Однако у нас в домах старики пускай несчастные и забытые, но... родные. Лучше слова не подберешь. А эти какие-то... неприятные?

«Не выдумывай, Коробейщикова, — одернула себя Вера, стоя перед зеркалом. — У каждого из них своя жизнь и своя правда. Ты должна их жалеть, потому что они старые и скоро умрут».

«А ты? — спросила из зеркала вторая Вера, расчесывая постылые, неподатливые кудряшки. — Тебя жалеть не надо?»

Меня не надо. Потому что я молодая.

Смотрела она на себя и думала, что с волосами все-таки нужно что-то решать. Слишком много волынки. Коротко стричь пробовала, еще в одиннадцатом классе. Получилось черт-те что, Erinaceus europaeus — ёж обыкновенный. А если снять всё в ноль? По крайней мере альфа-самцы отстанут. Она представила себя Фантомасом, прыснула.

Перед зеркалом Вера оказалась, потому что в шесть должен позвонить Берзин, по скайпу. Он обожал всякие технические новинки и гаджеты. Ну что, казалось бы, просто не поговорить по телефону? Нет, по скайпу и не иначе. А появится какой-нибудь другой способ коммуникации, про скайп и не вспомнит. Берзин, как коршун, выглядывает всё новое и сразу падает на цель камнем.

Так в прошлом году упал он и на Веру с ее волонтерским движением. Высмотрел в Интернете, взял на заметку, провел «ризёрч» (обожает иностранные термины), скалькулировал потенциал и перспективы (тоже один из его любимых оборотов).

Когда она шла на первую встречу к нему в офис, думала, еще один богачей расчувствовался, умилился на девочек-мальчиков, скажет «молодцы, ребята» и сделает спонсорский взнос. Один пожилой дяденька-банкир незадолго перед тем, жертвуя тысячу у.е., похвалил Веру, что она «возрождает тимуровское движение». Пришлось потом гуглить, что за движение такое.

Но молодой блондин с идеальным пробором (кто сейчас носит проборы, кроме законченных уродов?) приятных слов не говорил, а только назадал кучу вопросов, очень конкретных. Будто экзаменовал студентку или, вернее, требовал отчета у клерка. Кто он, собственно, такой, этот Станислав Берзин, и чем зарабатывает на часы. «ролекс», Вера тогда не особенно представляла. Да и сейчас, честно говоря, не очень. Деловые и общественные интересы Славы Берзина были обширны. От импорта электроники до издания глянцевого периодики, от Клуба филокартистов до Общества помощи ветеранам. Его интерес к ветеранской проблеме и стал причиной встречи — или, как выразился Слава, «зарифмовался» с движением «Счастливая старость».

Не сказать, чтоб этот хозяин жизни Вере по первому впечатлению понравился. Она таких нахрапистых, саблезубых не жаловала.

Подытожил первую, допросную часть беседы Берзин весьма загадочной фразой.

— Короче, ясно, — сказал он, энергично потирая ладони. — Задумка ломовая, апроуч классный. Но дело надо строить по-взрослому. Будем превращать наши эм-жэ-пэ в нормальные эм-дэ-эр.

Вера переспросила. Он расшифровал, но понятней не стало:

— Я говорю, надо создавать мезон-де-ретреты, хорош позориться с богадельнями типа «Мыли-жопы-пожилым».

— Что?

— «Мезон-де-ретрет» — это дом престарелых французской системы, она лучшая в мире. А «мылижопыпожилым» это, если ты не поняла, палиндром.

И засмеялся, а Вера хоть и покривилась, но подумала: надо же, слово «палиндром» знает. Не совсем одноклеточный.

Станислав Берзин оказался совсем, совсем не одноклеточный. Просто, на Верин вкус, чересчур разухабист на язык. Со временем она, правда, его немножко выдрессировала. При ней Слава старался до некоторой степени придерживать лексическую бойкость. Кстати говоря, «Славой» его называла только она — все остальные обращались к нему «Стас», но ей это имя не нравилось. Точно так же ему не нравилось имя «Вера», и он единственный из знакомых, несмотря на протесты, звал ее Никой.

Берзин, конечно, был архетипический альфа-самец, со всеми полагающимися повадками. Вначале продемонстрировал Вере окрас, пораздувал щеки, поколотил кулаками по грудной клетке, но быстро отъехал, поняв, что на

этой платформе отношений не построит. При всех своих лакированных проборах и золотых «ролексах» парень он был умный, схватывал на лету. Вера надеялась, что сумела завоевать его уважение, заставила увидеть в ней личность. Что скрывать — лестно, когда человек такого размаха обращается с тобой как с равной, с соратницей.

А размаха у Славы хватало. Устройство у него было принципиально иное, чем у Веры. Она всегда видела сначала частность, конкретный случай, и приступала к делу, не строя больших планов. Берзин же, по его собственному выражению, мог разглядеть в капле воды океан.

Проект, участвовать в котором он предложил Вере и ее друзьям-волонтерам, был рассчитан на годы и безусловно отдавал гигантоманией, но в Славиных устах звучал как внятная и вполне осуществимая бизнес-идея.

Берзин давно уже собирался создать сеть российских мезон-де-ретретов, но ему не хватало команды с «мощным драйвом, классным имиджем и крутым слоганом». Всё это, по его словам, он увидел в Вере Коробейшиковой и ее движении «Счастливая старость».

Идея Берзина была не филантропическая, а сугубо коммерческая, поэтому Вера не сразу согласилась участвовать. В конце концов убедил, увлёк.

По плану первый этап назывался «Столичным».

— Начнем с Москвы, — говорил Берзин. — Сюда вся страна смотрит, на ус наматывает. И бабок с бабками здесь больше. В смысле, бабуль-дедуль с деньгами.

По его данным, в настоящее время в столичном регионе имелось порядка пятидесяти тысяч потенциальных клиентов, финансово готовых переселиться в специально обустроенные резиденции класса «премиум». Это бабушки-дедушки или папы-мамы верхней прослойки среднего класса.

— Куда девать состарившихся предков — реальная проблема для хреновой тучи хорошо зарабатывающих

москвичей. Нужен уход, комфорт, медобслуживание. Со всем этим у нас полный голяк. Отправлять за границу для мидл-класса слишком дорого, и мало кто из стариков хочет уезжать из своей страны, от внуков, от знакомых. Но если у нас появятся мезон-де-ретреты, куда селить родичей не стыдно, а наоборот, престижно, народ повалит стройными колоннами.

Второй, еще более обширной категорией потенциальных клиентов (не менее ста тысяч человек) Берзин считал одиноких стариков, владельцев собственных квартир. Сейчас вокруг таких роятся всякие проходимцы, обещая пожизненное содержание и уход в обмен на завещание жилплощади. Полным-полно злоупотреблений, даже преступлений. А надо, чтобы пенсионер в обмен на квартиру получал гарантированный люксовый уход. Так сказать, резкое повышение социального статуса и уровня жизни. Средняя московская квартира тянет на триста тысяч баксов. На такие деньги человека можно содержать в хороших, абсолютно европейских условиях десять, а то и пятнадцать лет. У нас старики, которые нуждаются в уходе, столько не живут.

Если с первой категорией главная проблема — убедить публику в престижности мезон-де-ретретов, то у второй категории нужно завоевать доверие. «Народ привык, что его без конца кидают, и никому не верит, причем правильно делает», — говорил Слава.

Для обмена недвижимости на пожизненное содержание в «мезоне» (ради краткости и удобопроизносимости он предлагал французский термин укоротить) следует создать систему банков, которые будут оплачивать содержание клиентов, отвечая всеми своими авуарами. При этом сумма, вырученная за проданную квартиру, до кончины клиента останется на эскроу-аккаунте, то есть на счете, распоряжаться которым по собственному усмотрению

банк не сможет. На самом деле, такой счет будет не один; деньги разместят в разных банках системы «пакетами» по 700 тысяч, чтобы в случае краха сумма стопроцентно компенсировалась государственным страхованием. Таким образом, гарантии железные. Надо только как следует это разъяснить пенсионерам.

Для выполнения обеих этих пиар-задач Берзину и понадобилась Вера. Он преобразовал неформальное объединение «Счастливая старость» в некоммерческий фонд с тем же названием. На первое время цель ставилась одна: повышать рейтинг общественного доверия и градус «паблик-авэрнес» (с трудом Вера убедила Берзина отказаться от этого чудовищного американизма в пользу «общественного внимания»). Через пару лет, закончив волокиту с земельными участками и отстроив первые показательные «мезоны», Берзин рассчитывал приступить ко второму этапу: пилотной «рекрут-кампании». Потом будет третий этап, четвертый, пятый. Но так далеко Вера мыслями не заносилась. У нее в этом гигантском проекте была своя собственная задача: следить, чтобы стариков не обманули. Статус начальницы Фонда давал ей все необходимые права и полномочия. Была и сверхзадача: создать правильную модель дома престарелых, которой потом смогут следовать и государственные заведения. Проблема ведь не только в финансировании. Иногда и средства выделяются, теми же спонсорами, да никто толком не знает, каким должен быть современный домвет. Нет ни специалистов, ни архитектурных проектов, ни нормального оборудования. Сплошная кустарщина.

Одним из условий, на которых Вера согласилась работать в Фонде, была годовая стажировка во Франции. А как иначе? Нужно досконально знать систему, в правильности которой собираешься убеждать людей.

Берзин считал, что год многовато, но в конце концов уступил. Резиденцию «Времена года» предложил он — види-

мо, нормандский русскоязычный мезон-де-ретрет давно уже был у него на примете.

Ровно в шесть по-московскому времени компьютер записал, вызывая Веру на сеанс связи.

Слава никогда не здоровался, считал эти формальности сотрясением воздуха. Судя по аутекской маске на стене, говорил он из своего кабинета. Сидел в белой рубашке с распушенным галстуком, без пиджака.

— Хорошо выглядишь. Тебе идет, когда волосы расчесываешь. Ну что «Времена года»? Устраивает как вариант?

— Там видно будет, — мрачно ответила Вера.

Неужели она распушила свою проволоку из-за разговора по скайпу? Сделала это инстинктивно, не задумываясь. Почему? Ведь Берзин ей даже не нравится!

— Лучше бы я приехала в обычный французский мезон. В типичный, а не эксклюзивный с этническим уклоном, — тем же сварливым тоном продолжила она.

— Ничего не лучше. У нас на первом этапе контингент будет примерно такой же, привыкай. Ну, может, чуть-чуть попроще. Ладно, не бери в голову. Не покати́т — переправим тебя в «Лазурную деревню». Это под Ниццей такая люкс-деревня для старых буржуев... Слушай, я чего хотел сказать, у меня по телевизионным делам подвижка есть, важная. Помнишь, я тебе гнал про лицо проекта?

Да, что-то такое было. Он говорил, что у всякого общественного движения должно быть «витринное лицо», вызывающее у публики правильную реакцию, и что создать такую фигуру можно только посредством телевидения.

— Я подавал концепт-заявку. Ток-шоу для аудитории пенсионного возраста «Сердце не стареет». Не рассказывал? Забыл, наверно. Короче, они клюнули. Особенно, когда я сказал, что предлагаю ведущей Веронику Коробейшикову из движе-

ния «Счастливая старость». Уау, говорят, круто. Сейчас интернет-фигуры в моде. Особенно у кого внешние данные.

— Это еще что за новости?! — вскинулась она. — Во-первых, никогда не поверю, что ты забыл мне про такое сказать...

— Ну о'кей, не забыл. Просто не хотел зря болтать, пока не срастется.

— Во-вторых, что за пошлое название «Сердце не стареет»? В-третьих, с чего ты взял, что я буду светиться в зомбоящике?!

Берзин погрозил с монитора пальцем:

— Зомбирование — то, что нам нужно. Тебя должны узнать и полюбить пенсионеры всей страны. Привыкнуть к тебе. Мысленно увнучерить. Чтоб, когда ты станешь приглашать их в наши «мезоны», старики охотно пошли. Когда на втором этапе я запущу рекламные ролики нашей банковской системы, твое лицо поможет пробить барьер недоверия. Ника, золото мое, мы затеяли большое дело. Дилетантские времена кончились. Ты веришь в наш проект?

— Ну, верю...

— Тогда работай на него, ёлки. Не тормози!

Проклятый Берзин снова был прав. Умом Вера это понимала. Конечно, телепередача, в которой можно на всю страну говорить о проблеме стариков, это здорово. Поможет и фонду, и домветам, и будущим планам. Но превратиться в телеведущую?

— Я приехала на стажировку, если ты забыл. На целый год, — сказала она упавшим голосом.

— Нормально. Эта телега быстро не едет. В следующий сезон мы все равно не попадаем, май уже. Осенью начнем предпродакшн без тебя. Может, раза три-четыре прилетишь на пробы-консультации. А как раз через год вернешься и войдешь по-плотному. Ты же умная, Ника. Сама соображай, сколько нам будет пользы. Думаешь, легко бы-

ло телевизионную поблу продать? Ну, короче, всё. До-
ехала, поселилась, про тэвэ я тебе сказал.

И рассоединился. Как обычно, без «до свидания», поч-
ти на полуслове. Иногда Вере казалось, что он всякий раз
торопится закончить с ней разговор. И в глаза почти ни-
когда не смотрит, только мельком, на секунду.

Но это потому, что у него обычно перед носом густо ис-
писанный ежедневник и Слава, даже если что-то говорит,
в нем постоянно чиркает. На каждый разговор, она знала,
у Берзина отведено столько-то минут. Сказал-услышал,
что было нужно, и гуд-бай.

Вечером, обустроившись на новом месте и отправив
первые мейлы друзьям, она решила спуститься в кафе, а
потом прогуляться по парку, пофотографировать. Май ме-
сяц, до десяти светло.

Вышла в коридор, взглянула на соседнюю дверь, за кото-
рой, стало быть, лежала в коме основательница заведения.

Створка была приоткрыта. Монотонный голос бубнил
что-то по-французски. Заинтригованная, Вера подошла.

— La commission chargée de la préparation du plan com-
prend dix membres choisis pour leurs connaissances sur
cette maladie. Elle s'appuie sur le travail de huit groupes
d'experts, chaque groupe ayant son thème spécifique¹, — бе-
зо всякого выражения, без смысловых пауз говорил, а ско-

¹ Комиссия, которой получена разработка плана, состоит из
десяти членов, ведущих специалистов по данному заболеванию.
В своей работе комиссия опирается на исследования восьми
групп экспертов, каждая из которых занимается своим специ-
фическим направлением (фр.).

рее всего, читал вслух кто-то писклявый, не поймешь, мужчина или женщина.

Статья из медицинского журнала, что-то о комиссии французского минздрава по изучению болезни Альцгеймера, вскоре поняла Вера. Зачем это? И главное, для кого? Стало любопытно. В конце концов, соседи. Будет нормально заглянуть, познакомиться.

Она постучала.

Голос продолжал читать.

Не слышит.

Постучала громче — то же самое.

Тогда Вера приоткрыла дверь.

— Можно?

Увидела большую комнату, нечто среднее между кабинетом и лабораторией. Вдоль одной стены, обшитой дубом, три письменных стола с папками, допотопным компьютером, бумагами. Вдоль другой — длинная кафельная панель с микроскопами, колбами, пробирками. Две остальные стены сплошь в книжных полках, а в зазорах между ними много обрамленных фотокарточек разного размера. Но всю эту периферию Вера особо не разглядывала, потому что посредине помещения стояла больничная кровать, а на ней, под капельницей, лежала мумия.

Горевшая на тумбочке лампа освещала иссохшее пергаментное лицо в глубоченных морщинах, с торчащим носом, с ввалившимися глазами. Рот скошен, край губы безвольно отвис. Шея перехвачена чем-то вроде пластмассового ошейника, из-под которого торчит трубка с клапаном — это чтоб больная могла дышать прямо через трахею. Неприятнее всего было смотреть на синеватые вены, змеившиеся по бритому черепу.

И вообще вид палаты показался Вере зловещим — из-за полумрака, из-за помигивания датчиков, а в особенности из-за сутулой фигуры, не поднявшей головы от журнала.

Судя по форменной куртке, это был санитар или мед-брат. Он сидел боком к двери и не мог не заметить, что кто-то вошел, но не повернулся и чтения не прервал.

— «Les appareils de surveillance aussi se sont modifiés...»¹, — бубнил чтец.

Вера перешла на французский:

— Извините за вторжение. Я стажер из России, меня зовут Вероника. Буду жить по соседству...

Никакой реакции.

Человек вообще-то был странноватый. В толстых очках, с зачесанными назад жидкими волосами. Тонкой шее слишком широк воротник.

— Он не ответит, — сказал сзади мягкий голос.

Немолодая полная женщина, тоже в голубой куртке, с табличкой «МАРИНА» на груди, стояла в дверях, дружелюбно улыбалась.

— Я Марина Васильевна, старшая сестра. Я из Риги. А вы стажерка из Москвы, знаю.

Поздоровались, пожали руки.

— Он слабослышащий? — спросила Вера. Она приучила себя не употреблять слов типа «глухой», «слепой», «инвалид».

— Синдром Аспергера. Аутист. Иногда реагирует на внешние раздражители, но нечасто. Нужно дотронуться до плеча.

Марина Васильевна подошла к чтецу, ласково положила руку ему на рукав. Он медленно повернул голову.

— Эмэн, алле динэ. Вентёр трант. Мадам ва манжэ осси², — отчетливо выговорила она с сильным акцентом и показала на капельницу.

¹ ...модернизируется и аппаратура наблюдения... (фр.).

² Эмэн, идите ужинать. Половина девятого. Мадам сейчас тоже будет кушать (фр.).

У больной чуть дрогнуло восковое веко. Аутист выдержал рукав, наклонился над кроватью и вдруг положил «восковой персоне» ладонь на лицо. Сестра, как ни в чем не бывало, занялась привычным делом: проверила показатели приборов, поправила подушку и одеяло, поменяла содержимое наполнителя.

— У нас по социальной квоте в штате должно быть две *персон андикане*¹. — Рассказывая, сестра протираала ароматической салфеткой костяные плечи больной, впалую грудь, потом лицо. Под одеялом старуха была совсем голая. — Еще есть Жиль, у него синдром Дауна. Жиль работает в саду, любит цветы, у него неплохо получается. С Эмэном труднее. Не то чтоб труднее, он тихий, проблем не создает. Он у нас очень давно, даже не знаю, сколько лет. Единственное, что ему нравится, это сидеть с утра до вечера возле мадам и читать медицинские журналы. На него хорошо действует.

— А на нее? Ничего, что он ее за лицо трогает?

— Ей все равно. — Марина Васильевна пожала плечами. — Ее давным-давно нет. Одно бедное старое тело, в котором никак не остановится сердце. Вот я у батюшки, у отца Леонида спрашивала. — Она остановилась с салфеткой в руке. — Где пребывает душа у таких, как Мадам? Разлучилась она с телом или нет? Не знаю, говорит, это одному Господу ведомо... *Эмэн, лё тан*, — снова показала она на часы. — *Тан де динэ*². Он у нас пунктуальный, всё по часам. Ест точно в одно и то же время. На ужин обязательно сосиску с горошком. Сосиска должна лежать слева, горошек справа. При этом сразу, с первого взгляда видит, если горошин больше или меньше, чем вчера. Лишние откладывает, а если недостача, стучит ложкой. *Алле, алле*. Опоздаешь. «Эмэн» — это его инициалы, M.N. По-другому

¹ Инвалид (фр.).

² Эмэн, время. Пора ужинать (фр.).

не отзывается. Да и на инициалы-то не всегда...

По-прежнему не обращая внимания на Веру, Эмэн медленно встал, спрятал журнал («Вестник нейробиологии») в карман. По идеально прямой линии, едва не задев Марину Васильевну локтем, прошествовал к двери. Походка у него была, как у Железного Дровосека.

Слушать говорливую медсестру было интересно, но всё время смотреть на мумию в кровати-саркофаге не хотелось, поэтому Вера немного прошлась по комнате.

Стол выглядел, словно ностальгическая экспозиция оргтехники из середины девяностых. 386-ой компьютер, поди еще с «Нортоном» (Вере такой купили в третьем классе), смешной игольчатый принтер, монитор с защитным экраном, громоздкий факс. Всё это по нынешним временам уже винтаж, объекты коллекционирования.

А фотографии на стенах — вообще из глубин истории. Какие-то мужчины и женщины с лицами, которых больше не бывает. Шляпки, пиджаки с квадратными плечами, кто-то картинно раскинулся в гамаке. Улица старого города, по виду русского, но почему-то с иероглифами на вывесках. Красавец-брюнет, похожий на Хью Гранта, с деревянной теннисной ракеткой, в белом костюме.

Будто окошки, через которые можно подглядеть внутрь заколоченного дома, ключ от которого навсегда потерян. Чужая жизнь, чужое время.

Одна карточка не похожа на другие. Не домашняя сцена, не портрет, а что-то политическое: по улице идет толпа с флагами и транспарантами. Это-то здесь зачем?

— Она что, какая-нибудь революционерка была? — спросила Вера и сама поняла, что сморозила глупость.

Старуха, конечно, почтенного возраста, но не до такой же степени.

— Сколько ей было... ну то есть, сколько ей лет, не знаете?

Вестной

Марина Васильевна ответила:

— Знаю. Легко было запомнить, она того же года рождения, что мой дедушка. Тысяча девятьсот пятого.

Ого! Сто пять лет человек на свете живет! Ну, жила-то она, строго говоря, девяносто, дальнейшее не считается, но всё равно — живая история. Точнее, полуживая, подумала Вера и одернула себя. Это был юмор дурного тона, стыдный.

— А звали ее как? Наверное, у нее было имя, отчество? Она же русская.

Старшая медсестра немного подумала.

— Насчет отчества не знаю. Не уверена, что в карточке оно вообще указано. Может, я не обратила внимания. А имя у неё... Александра. Нет, вру, Александрина. Точно Александрина. Как в песне.

Приятным хрипловатым голосом Марина Васильевна запела, протирая неподвижное лицо живой покойницы: «Александри-ина, уже пришла зима».

ЭТО Я

Сегодня опять приснилась смерть. Она освежила мне лицо своим благоуханным дыханием, позвала по имени, сказала, что однажды наступит зима и мне можно будет уйти, потому что всё наконец исполнится. У смерти был голос Ивана Ивановича — высокий, чуть хриплый. Лицо тоже его, мягко-улыбчивое, покойное. Глаза незрячие, но при этом не слепые. Я знаю: это из-за того, что их взгляд обращен не вовне, а внутрь. У меня такой же.

Я размыкаю ресницы, утешительный сон улетает. Сейчас я перестану что-либо видеть, но, как всякий раз перед пробуждением, на миг возникает близко придвинувшаяся физиономия Мангуста. Она вся подергивается, губы кри-

вятся, шепчут: «Помогите мне, а я помогу вам. Иначе будете мучиться долгие годы — у вас крепкое сердце и превосходные легкие... Не хотите? Ну так любуйтесь!» В зеркале появляется жуткое скособоченное лицо со стекающей по щеке слюной, бритым лбом, горящими глазами. Это последняя картина, которую я видела наяву перед тем, как ослепнуть. Она, как и гримасы Мангуста, мучает меня все эти годы.

После ритуального явления маски ужаса я, как обычно, просыпаюсь.

Не устаю поражаться, до чего же цепка память тела. Оно хочет потянуться со сна, повернуть голову, вздохнуть полной грудью — и никак не может смириться с тем, что ничего этого больше не будет. Но потом включается мозг, приказывает панике утомиться. Всё нормально, всё как всегда. И тут начинается настоящее пробуждение — не такое, как у нормальных людей.

Из обыкновенных органов чувств в моем распоряжении остались только слух с обонянием, и оба невероятно обострились. Я могу слышать, как стучит сердце у дежурной медсестры, меняющей капельницу; как потирает лапки муха; как легкий сквозняк гонит по полу пушинку. Мой нос безошибочно определяет начало и конец цветения растений за окном, время суток (оказывается, ночь и день пахнут по-разному), индивидуальный аромат каждого человека, кто входит в палату.

Я, разумеется, знала и прежде о законе физиологии, согласно которому кора мозга, в силу своей чрезвычайной пластичности, при блокаде одних сигналов восприятия со временем переориентируется на другие. Когда я лишилась зрительных, вкусовых и, частично, тактильных источников информации об окружающем мире, у меня гипертрофически развились оставшиеся органы чувств. Помню, как в университете нам демонстрировали схему мозга сле-

пого человека, где участок слуха разросся и отчасти распространился на зоны, ранее занятые зрительной корой.

Однако меня никто не учил, что у человека в длительной псевдокоме может развиваться еще один орган чувств, не имеющий научного названия, потому что о нем, вероятно, знают только больные, попавшие в мое положение, а они лишены возможности что-либо рассказать. Судя по всему, я еще и от природы обладала какими-то особенными качествами, которые в обычных обстоятельствах не получили бы развития, а тут, из-за аварийной мобилизации всех ресурсов мозга, были вынуждены эволюционировать.

Недаром же Иван Иванович однажды, взяв меня за руку, вдруг спросил, останавливаются ли на мне часы. Удивившись, я ответила: да, останавливаются. Потому я их и не ношу: походят недельку-другую, и можно нести в ремонт. Он кивнул: «И колец золотых не носи — изогнутся или лопнут, потому что в тебе *обослух* сильный, и если будешь его развивать, то научишься, как я, *обослышать* *масть* всякой твари».

Когда Иван Иванович не мог найти нужное слово, чтобы объяснить какое-то явление или понятие, он с легкостью изобретал новое — по китайскому принципу словообразования, соединяющему два разных иероглифа. Так из «обоняния» и «слуха» у него сложился нелепый «обослух». Даже удивительно, что этот тончайший ум был так нечувствителен к языку. Кстати говоря, использованный им термин «масть» тоже неудачен. Масть — это оттенок окраса, регистрируемый глазами, а свойство, которое имел в виду Иван Иванович, к зрению никакого отношения не имеет. Полагаю, что у человека зрячего *обослух* вообще развиваться не может. Это некий рудиментарный орган чувств, который у здоровых остается не востребуемым или вообще отсутствует. Для развития *обослуха* требуется комбинация специфических обстоятельств: отклю-

чение других органов чувств, прежде всего зрения, и высокая интенсивность биоэнергетического поля, как у меня. Последнее, кстати говоря, встречается не столь уж редко.

Много лет назад, объясняя про *обослух* и *масть*, Иван Иванович что-то говорил о «нимбе», окружающем всякое живое существо и даже некоторые неживые предметы. К сожалению, я многое пропускала мимо ушей — мои ум и сердце были заняты другими заботами. Сколько раз в последующей своей жизни я сокрушалась, что невнимательно слушала этого человека! Он оставил мне много нераскрытых или недораскрытых загадок. На решение одних у меня ушли годы и десятилетия; другие так и остались неразгаданными. Многое я просто забыла.

Про *обослух*, например, я вспомнила на второй или третий год своего плена, когда вдруг начала ощущать людей каким-то новым органом чувств, которым не владела раньше. Сестры, врачи, санитарки, каждый на собственный лад, источали некое излучение, совершенно индивидуальное и неповторимое. Я не сразу научилась его расшифровывать, но потом оно стало сообщать мне о человеке гораздо больше, чем прежде зрение. Через несколько лет я начала чувствовать цветы, растущие в горшках на подоконнике. Эту новообретенную способность я назвала «биорецепцией», а излучение, исходящее от живых организмов, «биоэманацией». Теперь я понимаю, что имел в виду Иван Иванович, когда заявлял, будто видит лучше зрячего.

Вот интереснейшая тема, до сих пор не изученная наукой. Моей жизни на нее, увы, не хватило. Биоэманацию и биорецепцию я для себя открыла, когда поделиться этим открытием было уже невозможно.

Просыпаюсь, как обычно: вслушиваюсь, внюхиваюсь, но больше полагаюсь на биорецепцию — она у меня развита еще лучше, чем слух и обоняние. Благодаря ей, я ощу-

шаю даже тех, кто находится за пределами моей палаты. К сожалению, у меня нет возможности установить, на какую именно дистанцию распространяется моя чуткость. Полагаю, на несколько десятков метров, и стены с межэтажными перекрытиями ей не помеха.

По привычке определяю: Мангуст на том же отдалении. Не приблизился и не исчез. Его эманация еле ощутима, но она не дает мне расслабиться. Такое опущение, что Мангуст уже который год терпеливо сидит в засаде, выжидая удобного момента для новой атаки. Как же я была слепа, когда мои глаза еще видели! Я прозвала его Мангустом за пушистую ласковость манер и быстроту движений. Во время одной из наших последних встреч он сказал мне, уже беспомощной: «Думаете, я не знаю, как вы называете меня за спиной? Для вас я не человек — мангуст. А вы, мадам, кобра. Мангуст всегда побеждает кобру. Я победил вас!» И острые глазки сверкнули торжеством.

Итак, Мангуст по-прежнему где-то на недалекой периферии.

Пятницы поблизости нет.

В палате две женщины. Одна — старшая медсестра Марина Васильевна, она ходит ко мне уже несколько месяцев. Я понятия не имею, какого цвета у нее волосы и глаза, какова форма носа, но зато знаю многое, чего не заметит самый проникательный наблюдатель. Эта женщину снедает внутреннее нетерпение, ей хочется поскорее отсюда уехать — дома, в Риге, ее очень ждут; недавно она вступила в начальный период менопаузы и мучается приливами; она добрая и дисциплинированная; у нее в правом боку источник опасной болезни, которая пока еще не дала себя знать. Если б могла, я бы сказала ей: нужно срочно сделать эхографию и анализы. Но я ничем не помогу этой славной женщине с мягкими руками, заботливостью

которых ощущает даже моя полумертвая кожа. Я просила Пятнишу предупредить ее, но он мою просьбу проигнорировал, а если б и передал, Марина Васильевна вряд ли бы поверила.

Вторая женщина совсем молодая, еще девочка, ей не больше двадцати пяти. Она здесь впервые. Голос веселый, мелодичный. Удивительно в таком возрасте — нет запаха духов, только мыло, шампунь, зубная паста. Еще бензин, дорожная пыль. Недавно девочка сидела или лежала на траве. Излучение в целом чистое, свежее, очень приятное. Хотя... Что за странная, смутно знакомая волна? Я не могу точно сформулировать это ощущение, но у меня с девочкой (она представилась медсестре Вероникой) есть что-то общее. Несомненно есть.

Мои биорецепторы, отточенные многолетней практикой, довольно часто улавливают нечто совсем уж глубинное, не сразу понятное мне самой. Я — обтянутый ветхой кожей локатор, который всасывает из окружающего мира информацию, требующую обработки.

Возможно, девочка Вероника — моя дальняя родственница, и я реагирую на сходный набор генов. Это меня не удивило бы.

Когда-то давно я прочитала статью, объясняющую пресловутое чувство Родины сугубо физиологическими причинами. Человек, чья семья давно проживает в некоей местности, со всех сторон окружен родственниками, имеющими похожий набор генов, и это якобы создает комфортный энергетический фон. При этом, начиная с четвертой или даже третьей степени родства, мы обычно утрачиваем семейные связи и не догадываемся, как много вокруг людей, имеющих одинакового с нами предка. Если я правильно запомнила цифры, 20% представителей одной национальности родственны друг другу в шестой степени, 40% — в восьмой степени, и чуть ли не 90% — в

двенадцатой. Очень возможно, что у меня с новенькой русской какая-нибудь общая прапрабабушка. Если так, это не имеет значения.

В моем мире только две фигуры имеют значение: Мангуст и Пятница. Но первый всё ведет свою затяжную осаду, а второго поблизости нет.

Я перестаю обращать внимание на женщин, я терпеливо жду, когда появится Пятница.

Пока он ко мне не прибил, я, жертва кораблекрушения, существовала на своем острове в полном одиночестве. Совсем как Робинзон Крузо, только без собаки, кошки и попугая, который кричал бы «бедный Робин!». Человечество на моем острове было представлено только каннибальским присутствием затаившегося Мангуста. Потом мы с Пятницей нашли друг друга, и сиротство кончилось. Я перестала разговаривать исключительно сама с собой.

Мой спутник — такой же дикарь, как персонаж романа Дефо, даже еще больший. Мы долго учились объясняться между собой и достигли лишь частичного взаимопонимания. Прозвище «Пятница» ему не очень-то подходит. Аутисты не дикари, скорее они похожи на инопланетян. Они общаются с внешним миром по каким-то другим каналам. Не понимают того, что очевидно всем, зато замечают вещи, которых никто не видит. Мой Пятница, в отличие от дипломированных медиков, каким-то образом сразу догадался, что я — не «овощ».

Это было двенадцать лет назад. Дежурная медсестра заговорила с кем-то, кто вошел в палату. Сначала я решила, что с ребенком. Потом поняла: нет, это человек с тяжелой умственной отсталостью, к тому же немой. На вопросы сестры он не отвечал, на обращение не отозвался. Мои биорецепторные способности в ту пору были еще слабо развиты, иначе я уловила бы особенность его излучения,

которое не спутаешь с эманацией обычного человека. Когда сестру куда-то вызвали, предполагаемый немой сел рядом с кроватью, положил ладонь мне на глаза. Мышцы век — единственная часть моего тела, над которой я сохранила контроль. В состоянии, подобном моему, моторные функции век и зрение обычно сохраняются. Но видеть к тому времени я уже перестала, от попыток привлечь внимание окружающих движением век давным-давно отказалась. Сама не знаю, почему я отреагировала трепетом ресниц на неожиданное прикосновение — должно быть, рефлекторно. И вдруг слышу: «Рыбка, поговори с Эмэном. Чего хочет рыбка?»

Много позднее, из разговора медсестер, я узнала, что на первом этаже, в холле, стоит большой аквариум (при мне его не было) и Пятница часами глазееет на рыбок. Очевидно, шевеление моих ресниц напомнило ему движение рыбьих плавников.

Прошло очень много времени, прежде чем мы с ним разработали язык ресниц. Сначала это были совсем простые вещи. Три быстрых движения левым веком означали «мне холодно». Правое, левое, снова правое — «муха» (кожа на моем скальпе не утратила чувствительности, и одно из постоянных мучений — ползающая по голове муха). Ещё несколько таких же элементарных просьб. Использовать слоговую азбуку додумался Пятница. Монотонно, еле слышно он гундосит разные слоги: ка, мо, ре, на, ди... — и я моргаю, когда он доходит до нужного. Такой разговор занимает очень много времени, но мы с Пятницей могли бы стать чемпионами мира на соревнованиях по терпеливости. Нам обоим торопиться некуда. К тому же у него какое-то особенное чутье, или же мы успели сродниться: очень часто он с первого же слога угадывает всё слово и тогда бормочет его, а я подтверждаю правильность медленным движением век.

В Е С Т И И

Аутизм — вот ещё одна тайна природы, еще одна захватывающе интересная тема исследования, на которое мне не хватило времени. Целых полвека потратила я на одну-единственную из всех бесчисленных загадок человеческого устройства, и ту не раскрыла до самого конца. Так долго прожила и так мало успела...

Без моего собеседника я давно лишилась бы рассудка — как Робинзон свихнулся бы без Пятницы. Первые три года изоляции, до его появления, были невыносимо тяжелы. Сны начинали путаться с явью и постепенно вытеснять ее. Думаю, еще полгода-год, и мой мозг утратил бы способность к рациональному мышлению. Но когда ладонь другого человека легла на мое лицо, всё переменилось. Крышка наглухо заколоченного гроба приподнялась. Дохнуло воздухом, забрезжил свет — свет надежды. Пусть не на исцеление, но на освобождение.

Исцеление при моем диагнозе невозможно, это я как специалист хорошо знаю. Со мной случилось самое страшное, что только может произойти с человеком. В детстве я с ужасом читала про старика Нуартье, вынужденного общаться с людьми посредством моргания, и не ведала, что Нуартье — счастливец. Люди знали, что он в сознании. Когда по реакциям больного понятно, что он реагирует на окружающее, это еще не самая тяжелая форма церебромедуллоспинальной дисконнекции, то есть паралича всего тела. При полной коме человек впадает в вегетативное состояние и сознание у него отключается, но если не работают только ствол и нижняя часть мозга, а верхняя часть продолжает функционировать, больной утрачивает способность двигаться, сохраняя при этом мыслительную и эмоциональную функции. Это состояние в российской медицине называется «псевдокома», в мире чаще употребляется английский термин — «locked-in syn-

drome»¹, но выразительней всего французское наименование: «maladie de l'emmuré vivant»².

Когда я вышла из бессознательного состояния и попыталась произвести самодиагноз, то первоначально пришла к выводу, что удар случился вследствие естественной закупорки базилярной артерии — у меня там небольшая врожденная аневризма, которая не вызывала особенных опасений. Один шанс из миллиона, что при моем превосходном кровяном давлении она могла разорваться или что в этом месте образовался бы спонтанный тромб. Последнее, по всем симптомам, и произошло. Причиной локд-ин-синдрома чаще всего становится именно тромбоз базилярной артерии. Живую часть мозга, где сосредоточены мысли и чувства, то есть собственно человеческая личность, замуровывает омертвевшая, лишенная кровоснабжения ткань.

Насколько я помню, девяносто процентов «заживо погребенных» умирают в течение первых 4 месяцев. Восемьдесят процентов остальных — в течение года-полутора. Но те, у кого здоровое сердце и сильные легкие, могут протянуть при хорошем уходе очень долго. Мои пятнадцать лет — не рекорд. Еще одно важное условие живучести: ни в коем случае нельзя себя жалеть, иначе быстро произойдет разрушение личности. Однако искусству относиться к своим бедам без сантиментов жизнь научила меня давно.

Я никогда специально не занималась проблемами церебромедуллоспинальной дисконнекции, и теперь я знаю про локд-ин гораздо больше, чем в начале... чуть было не сказала «моего крестного пути», но нет, нет, никакой жалости — *чем в начале моей болезни*. Дело в том, что Пятница читает мне от корки до корки все журналы по ней-

¹ Синдром запертого ключа (англ.).

² Болезнь заживо погребенного (фр.).

робиологии, нейрофизиологии, нейрохирургии. Вряд ли он делает это потому, что я его когда-то попросила (ах, если бы он выполнял все мои просьбы!). Чтение медицинских статей отчего-то доставляет ему удовольствие.

Случись со мной эта беда парой лет позже, у меня было бы больше шансов достучаться до людей из своей гробницы. В 1997 году редактор журнала "Elle" Жан-Доминик Боби, находясь примерно в таком же состоянии, сумел миганием век надиктовать книгу, в которой рассказал об ощущениях жертвы «лока-ина». Книга вызвала в обществе интерес к теме, о которой раньше не знал никто, кроме узкопрофильных специалистов, — ведь случаи псевдокомы случаются очень редко. Начали проверять коматозников, и оказалось, что некоторые из них находятся в сознании, просто полностью лишены всяких коммуникативных возможностей. Кто-то просуществовал на положении овоща семь лет, кто-то четырнадцать. В одной Франции сегодня выявлены четыре сотни пациентов с «лока-ином». С ними налажен контакт, они общаются с друзьями и родственниками — то есть пользуются всеми привилегиями господина Нуартье. Недавно Пятница читал мне статью про чудесный аппарат NeuroSwitch, который позволяет движение века транскрибировать в текст на мониторе компьютера. О Боже, если б у меня появилась такая возможность...

Нет, мне не нужно выздоровления. Я не хочу вернуться к жизни. Я хочу умереть, зная, что выполнила то, ради чего жила на свете. Вся моя надежда на освобождение связана с Пятницей. Бессчетное количество раз просила я его о помощи, но для Пятницы мои просьбы лишены смысла. Его занимает феномен рыбки, говорящей с ним движением «плавников». Пятнице нравится сам процесс — переводить трепет ресниц в слова, а значение этих слов его не интересует. Много лет я умоляла его: «Скажи им, я жи-

вая». «NeuroSwitch, NeuroSwitch, — твержу я ему все последние месяцы, — хочу, хочу». Монотонно повторяет он за мной короткие фразы, довольно улыбается: рыбка опять что-то сказала, занятно. И опять читает вслух либо просто сидит, слегка раскачиваясь. Я никогда не знаю, какую из моих просьб он выполнит. Самое простое — согнать муху или вытереть стекающую слюну, поправить подушку — он иногда делает, иногда нет. Однако ни за что не позовет сестру или врача, эти просьбы я давно оставила. Зато достаточно мне наморгать ему слог «чи», то есть «читать», и Пятница тут же берет с тумбочки какой-нибудь «Вестник нейрогенетики» и продолжает с того места, где остановился в прошлый раз. Возможно, его завораживает звучание непонятных слов, мудреных медицинских терминов. Английский или немецкий текст он читает по правилам французского произношения, но я давно к этому привыкла и понимаю почти каждое слово.

Пятница — мой абсолютно симметричный антипод. Я замурована от окружающих, а он, наоборот, поместил весь мир за сплошную стеклянную стену и бесстрастно наблюдает за ним, будто пришелец, глядящий из иллюминатора летающей тарелки.

Нет, не совсем точная метафора. Для Пятницы люди — рыбки за стеклом аквариума, бессмысленно шевелящие губами, плавниками и хвостами. Одна из рыбок чем-то привлекла внимание созерцателя. Я его любимица. Поэтому он сыплет мне крошки, осторожно трогает пальцем за плавник, забавляется моими капризами. Я очень боюсь, что однажды его любопытство иссякнет и он исчезнет. Из курса психиатрии я помню, что аутистам никогда не надоедают действия и привычки, вошедшие в ритуал, но мало ли что. Вдруг мой единственный друг найдет себе рыбку позанятней или его вдруг переведут из «Времен года» в какое-нибудь другое заведение. Это будет самый ужасный

из всех ударов, какие еще может обрушить на меня судьба. Все равно что отобрать у нищего последний грош.

Итак, моя единственная надежда на избавление — нездешнее существо, которому никто не нужен и которое вряд ли вообще понимает смысл слова «надежда».

Ловкие, сильные руки медсестры двигают меня, поворачивают. Какие-то прикосновения я чувствую, какие-то нет. Антипролежневый массаж воспринимается как очень легкое, едва заметное пощипывание. Спина совсем утратила тактильную способность; в коже ног кое-что сохранилось.

— Приятного аппетита, мадам, — говорит Марина Васильевна перед тем, как запустить капельницу.

По вене струится щекочущий ток питательного раствора. Я жду, пока щекотка закончится, чтобы сделать цикл упражнений по гемоциркуляции в тех отсеках кровеносной системы, которые остались мне подконтрольны. Это занятие требует полной концентрации воли. К разговору я не прислушиваюсь. Обрывки фраз и отдельные слова пробиваются ко мне из мрака сами.

У моей предположительной родственницы милый тембр голоса, протяжная московская речь, которой я давно, очень давно не слышала.

Где-то далеко по-прежнему существует Москва, и там по-прежнему живут люди, которые уютно акают и проглатывают гласные.

— Дьманстра-ация какая-то, — говорит девочка, очевидно разглядывая фотографию шествия в поддержку Учредительного Собрания. — Всё-тки непаня-атно. Зачем тут эта фтагра-афия? На Питер пахоже... Ну-ка, что на транспара-анте написано? «Добро пожаловать, народные избранники!» Зима-а, сне-ег, ша-апки, платки. Нет, правда, зачем Мадам тут это повесила?

Затем, моя «масковская девачка», что где-то на этой «фтаграфии», среди шапок и платков, иду я. Все, кто меня там окружает, умерли. Из тысяч людей, вышедших на улицу поддержать всенародно избранный парламент, который в тот же день будет разогнан большевиками, на свете осталась я одна.

Вдруг включается кинокамера эйдетической памяти. Сама собой, сразу, во всей полноте цвета, звука и того, что не в состоянии передать никакое кино, — сочетания запахов, тепла и холода, сиюмоментной остроты чувств.

Я давно привыкла к возникновению картинок из прошлого — как вызванных усилием воли, так и спонтанных. Воспоминания наполняют мои дни смыслом, нервом, эмоциями. Без этого инструмента многолетнее существование в темной и тесной гробнице беспомощной плоти было бы невыносимым, невозможным.

Наряду с гиперосмией, то есть усилением обоняния, и гиперакузией (усилением слуха), а также развившейся биорецепционной способностью, я получила от жизни еще одну компенсацию за неподвижность — быть может, самую драгоценную: гипермнезию.

Я очень хорошо разбираюсь в фокусах памяти. Эта тема входила в предмет моих исследований. Поэтому механизм феноменального обострения и принципиального реструктурирования памяти в мозге, утратившем ряд своих обычных функций, мне известен.

Человеческая память иконична, то есть вся состоит из отдельных «иконок» — как меню компьютера. Это хранилище можно также сравнить с огромным архивом, стеллажи которого забиты массой нужных и ненужных документов. В нормально функционирующем мозге «документы», не востребованные в сегодняшней жизни человека, пылятся забытыми, но всё равно хранятся. Всё, что мы ког-

да-то видели, слышали, осязали, обоняли, пробовали на язык, не исчезает.

Иногда доступ к давно не востребованному «документу» внезапно восстанавливается во время стрессовой ситуации. Например, после травмы головы человек вдруг может с невероятной точностью вспомнить какую-то сцену или деталь из далекого прошлого: ярко, зримо, подробно. Это включается эйдетическая, чувственная память, которой все мы обладаем в младенческом возрасте. Потом она постепенно вытесняется памятью вербально-логической.

Нарушение нормального кровоснабжения заставило мой мозг расчистить иные, давно заросшие тропы, сняло блокировку с ископаемых слоев памяти, что находятся в глубинных подземельях подкорки, гораздо ниже уровня сознания. Не сразу, постепенно, мне открылся доступ в глухие комнаты, галереи и закутки огромного здания всей моей длинной жизни.

Воспоминания в моем случае — слово чересчур приблизительное и бледное, чтобы передать эффект повторного переживания событий, когда-то уже случившихся. Я одновременно нахожусь здесь, в палате, и там, в прошлом. Всё, что я видела и ощущала в тот момент, вплоть до сердечного трепета, мимолетных запахов, скользящих теней или приглушенных звуков, воскрешает во мне.

Больше всего мое нынешнее существование напоминает жизнь в библиотечном зале. Я снимаю с полок книгу за книгой. Все их я когда-то уже читала, сюжеты мне известны, но детали подзабылись. Иногда книга сама падает с полки, я подбираю ее, вглядываюсь в случайно раскрывшуюся страницу — и уже не могу оторваться.

Мысли при этом во мне могут возникать теперешние (ведь я знаю, что случилось дальше), но эмоции — те, давние, испытанные в миг первого прочтения. Что-либо изменить в судьбе главной героини и других персонажей я

не властна. Это действительно похоже на пересчитывание старого романа. Представьте, что вы заглянули в «Войну и мир», читаете про Бородинский бой, знаете, что на следующей странице осколок бомбы раздробит Болконскому бедро, всё внутри вас сжимается от ужаса, но спасти князя Андрея вы не можете, разве что захлопнуть книгу и не читать. Или вы пересчитываете сцену, в которой Анна Каренина дольше нужного заглядится на чугунные колеса паровоза — и бессильны ее предостеречь. Точно так же, в черный день своей жизни, я всё бегу за угол, на лязг трамвая, и ни за что не останавлиюсь, даже не оглянусь назад. Что случилось, то случилось, изменить ничего нельзя.

Московская девочка заговорила про зиму, шапки и платки. С полки упала книга, распахнулись пожелтевшие страницы. Я заглядываю в них — и замираю. Но вижу я не январское шествие, которое через несколько минут будет расстреляно из винтовок и пулеметов. Я стою на Знаменской площади, перед Московским вокзалом. Я запыхалась, жадно глотаю воздух. Он пахнет тающим снегом, холодным солнцем, сырым ветром, навозом, бензином — петроградской весной.

САШЕНЬКА. ВОКЗАЛ

Я приподнимаюсь на цыпочки, мне не хватает роста. Нужно не потерять в толпе Давида.

Толпа серая, нечистая, крикливая. Мешочники, расхристанные солдаты, визгливые бабы, очень много крестьян — раньше их в столице было почти не видно. За последний год Питер будто укатился из Европы в Азию, из двадцатого века в допетровские времена. Всё перепуталось, всё перевернулось. Город стал шумным, грязным, каким-то бесстыжим. Будто опустившийся персонаж Достоевского,

он упивается глубиной своего падения, старается казаться еще гаже, чем есть. Витрины, даже те, что целы, закрыты мерзкими досками и рогожами. Тротуары замусорены. Приличная публика нарочно рядится в рванье. Все объясняются исключительно криком и бранью.

Пока я топчусь на месте, тяну шею, меня несколько раз пихают и матерят, но я этого почти не замечаю.

— Семь рублей от Знаменской площади до Большого проспекта?! — возмущается приезжая дама, неубедительно замотанная в бабий платок. — Это всегда стоило полтинник! Побойтесь Бога, любезный!

— Бога нынче нету, — отвечает ей с козел извозчик. — А «любезные» в Чрезвычайке сидят. Хошь — ехай, не хошь — катись на...

Дама ахает:

— Господи, что за времена!

Ее хватают за рукав:

— Кому тут времена не нравятся?

(Это конец марта восемнадцатого года. Я нынешняя отлично знаю, что по-настоящему страшные времена впереди: Чрезвычайка еще не обзавелась расстрельными подвалами, семь рублей — все равно деньги, и даже извозчики пока не исчезли. Но мне тринадцатилетней кажется, что настал конец света, уже протрубил последний ангел и сейчас, через несколько минут, на землю опустится вечная тьма. Россия умерла, город умер, а как только уедет Давид, я тоже умру.)

Пока отец с ним рядом, я даже не решаюсь подойти, проститься. Самое большее, на что я осмеливаюсь: подобраться шагов на десять, спрятавшись за тумбой, обклеенной декретами и воззваниями.

Слышу, как отец говорит:

— Пойду, выясню, на каком пути литерный. А ты следи за тачкой. Глаз не спускай!

— Кому тут нужна твоя целлюлоза, — усмехается Давид.

Он прав. Я следила за ними от самого дома. Видела, как на углу Невского их остановил патруль. Матрос в офицерской бекеше порылся в тачке, не заинтересовался: не золото, не соль, не сало — старые книги с непонятными письменами.

И вот отец уходит, Давид остается один. Чудо, настоящее чудо!

Я тут же подхожу к нему. Нельзя терять время. Сколько его у меня — три минуты, пять?

— Это я, — говорю я.

И улыбаюсь. Гибнет мир, я умираю, но мне почему-то нужно, чтобы Давид об этом не догадался.

Он выше меня на полголовы. Глаза у него сине-зеленого цвета. Каждый раз, когда я их вижу, удивляюсь — всё не привыкну, что у человека могут быть такие глаза.

Давид удивлен, но не особенно.

— Привет. Питер я запомню, как маленький город, где мне постоянно встречалась Сашенька Казначеева. Ты что тут делаешь?

— Пришла с тобой попрощаться, — говорю я.

Раньше в таких случаях я изображала удивление: надо же, какая встреча. Но мне не хочется оскорблять трагическую минуту ложью.

Я отлично вижу, что мое появление для Давида — событие не шибко важное. Он возбужден предстоящей дорогой. Я смотрю на него не отрываясь, а он то и дело вертит головой — не возвращается ли отец.

— Вроде попрощались уже. Вчера еще.

Это правда. Он заходил ко мне домой, сказал, что всё наконец решилось, пан Дудка сдержал слово, добыл пропуск, и завтра они с «папочкой» уезжают в Москву, а оттуда в Пензу, где чехословацкий штаб. От этого извес-

тия я так одеревенела, что не могла произнести ни слова. Помню только, что вяло ответила на рукопожатие, и он ушел.

— Вчера я забыла тебе кое-что дать. На память.

Я достаю из-под пальто конверт. Он теплый, потому что лежал около сердца.

— Ух ты! — Давид разглядывает снимок. — Демонстрация пятого января. Где взяла? За такую картинку нынче и посадить могут.

— Нашла у одного фотографа. Он хотел сжечь, а я выкупила. Это тебе на память — о Петрограде, о том дне... ну и вообще.

Я не решаюсь сказать «обо мне». Фотограф очень боялся, но я упростила его сделать два отпечатка. Подумала, что, если подарю Давиду какую-нибудь из моих карточек, он, пожалуй, потеряет или выкинет, а эту будет хранить.

Где-то там, среди моря голов, мы с Давидом. Другого снимка, на котором мы вместе, у меня нет и теперь уже не будет.

— Ах да, — вспоминает он. — Мы же в тот день познакомились. Вроде недавно было, а будто в другую эпоху. Демонстрация в поддержку Учредиловки. — Давид, словно не веря, качает головой. — Сколько ж это времени прошло?

Фотографию он небрежно сует в карман своего потрепанного, но все еще элегантного пальто, и я вдруг ясно понимаю: это для него никакая не ценность, потеряет.

— Семьдесят семь дней, — отвечаю я.

(Дурочка себя выдавала с головой, она лелеяла в памяти (именно так это и называла: «лелеяла») каждый из них, начиная с самого первого. Но мальчику так мало до дурочки дела, что он ее оплошности и не заметил.)

Пятого января 1918 года мы договорились участвовать в уличном шествии всей нашей фракцией, Лена Гржебина даже обещала приготовить транспарант «Александровская гимназия за демократическую отчизну!», но в результате к Марсову полю, где собирались сторонники Учредительного Собрания, из класса пришла я одна. Других девочек не пустили родители, а я своих и слушать не стала бы.

Я знала про себя, что я девочка с характером, и гордилась этим. Он сформировался у меня не так давно. Всего год назад, даже меньше, я была обычная гимназисточка, папина-мамина дочка. Переписывала в альбом стихи Бальмонта и Мирры Лохвицкой, всхлипывала над книжками Чарской и была влюблена в киноактера Осипа Рунича. Я трепетала, когда папа хмурил брови над моим кондуитом, прятала от мамы роман Анны Мар «Женщина на кресте», боялась заглядывать в комнату к бабушке. Во-первых, там ужасно пахло, а во-вторых, однажды бабушка вцепилась худой, с лиловыми венами рукой мне в волосы и обозвала «мерзкой интриганкой». Приняла за кого-то из своего прошлого. Бабушка выжила из ума, никого не узнавала.

Теперешняя девочка с характером сказала бы: «Отстань, старая ведьма!» Но год назад такие слова я могла бы произнести только мысленно.

В считанные месяцы изменилось всё: окружающая жизнь, я, домашние.

Я появилась на свет поздно, первым и единственным ребенком, когда родители больше не надеялись. К моим тринадцати мама была уже наполовину седая, папа — вообще старик, за шестьдесят, про бабушку и говорить нечего, она родилась еще при Пушкине. Бабушке, можно сказать, повезло. Она впала в детство, удалилась в далекую-предалекую эпоху, и ей там было хорошо, гораздо лучше, чем нам.

Знаете, что такое революция? Это когда сначала все бегает с горящими глазами, надевают красные банты и шумно радуются. Потом мир начинает разваливаться, всё быстрее, всё необратимей, и каждый новый день хуже предыдущего. Перестают мести дворы и улицы. Товары сначала дорожают, затем исчезают. Ночью на улицах крики «Караул! Грабят!», но никто не свистит в свисток. Во время осенней стрельбы прямо перед нашим подъездом лежал мертвый человек, и целый день его не подбирали — боялись выйти.

С началом зимы стало совсем странно. Газеты с пустыми страницами, мертвые фонари, с улиц куда-то исчезла приличная публика, сплошь серые папахи да черные кепки, и ходят почему-то не по тротуарам, а по проезжей части. Дома невообразимые разговоры, шепотом: «Надо потерпеть, скоро придут немцы, и всё устроится».

До неузнаваемости переменялся папа. Раньше он был важный человек, заведующий кредитно-ссудным столом в банке, а теперь ни кредитов, ни ссуд, да и банков, говорят, скоро не будет. Мама все время плакала и не хотела выходить из дома.

Я их обоих презирала за трусость и пораженчество, а летом одно время даже ненавидела, потому что хотела записаться в женский батальон смерти, наврала на призывном пункте, что мне семнадцать, и меня уже почти взяли, я была высокой для своего возраста, но прибежали родители, показали документы, и я была с позором изгнана.

Когда начались выборы в Учредительное Собрание, весь наш класс поделился на фракции. Я была за эсеров — за правых, не за левых же! Какое началось у нас ликование, когда выяснилось, что больше всего голосов собрали *наши*. Первый настоящий русский парламент был наш!

Утром пятого января я произнесла перед папой и мамой горячую речь, корила их за упование на немцев. Учре-

дительное Собрание, избранное волей народа, наведет в стране порядок, а если понадобится, призовет на помощь союзников. Нужно только быть гражданами, а не быдлом — продемонстрировать предателям революции большевикам, что нас много, что это наш город и наша страна!

— Ты никуда не пойдешь, — жалким голосом сказал папа. — Я тебе запрещаю! Ты еще ребенок! Они будут стрелять!

Презрительно расхохотавшись, я продекламировала из Максима Горького, который тоже был на нашей стороне:

— «Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах!»

Шмыгнула на улицу через черную лестницу, только меня и видели.

Колонны шли к Марсовому полю с девяти назначенных пунктов сбора. Уже очень давно не видела я такого количества *нормальных* людей с *нормальными* лицами, в *нормальной* одежде. Кроме интеллигентов пришли студенты, гимназисты старших классов, рабочие — настоящие, петроградские, а не собранные по деревням неумехи да пьяницы. Женщин собралось не меньше, чем мужчин. Я сновала туда и сюда, мне хотелось всё увидеть, всюду успеть. «Вот как нас много, — радостно думала я, — это вам не провинция, это град Петров, столица! Нас больше, чем большевиков! Недаром они получили только четверть мандатов! Это наша страна! Мы цивилизованные и умные, мы за свободу и человеческое достоинство!»

В толпе говорили, что в Таврическом дворце уже собираются депутаты, что многие не смогли добраться до Петрограда, потому что на транспорте творится безобразие.

Были и такие, кто беспокоился, не устроят ли большевики какую-нибудь провокацию — даром, что ли, они объявили в городе осадное положение. Кто-то рассказывал, что Шпалерную перекрыли вооруженные матросы с крейсера «Аврора» и линкора «Республика», бывшего

«Павел Первый». Но когда один господин в бобриковом пирожке и пенсне опасливо сказал: «Не открыли бы эти разбойники стрельбу», на него со всех сторон накинудись: «Не сейте панику!» «Расстрел абсолютно невозможен! Абсурд!» «Какими бы мерзавцами большевики ни были, новое «кровавое воскресенье» они устроить не посмеют!» Бобриковый пирожок согласился: «Да, пожалуй, на такое не решится даже Ленин».

Голова многотысячного потока, кое-как построившись в шеренги, с пением «Марсельезы» двинулась через Фонтанку в сторону Литейного. На мосту, изящно облокотившись о перила, стоял юноша в распахнутой гимназической шинели и, насмешливо улыбаясь, смотрел на проходивших мимо поборников демократии. Я обратила на него внимание, потому что, несмотря на снегопад, он один был без шапки, снежинки поблескивали на черных волосах, словно блески. Длинный конец белого шарфа был перекинут за спину и тоже переливался серебром. В углу краснотубого рта дымилась папироса в черном с золотом мундштуке — немыслимая в прежние времена вольность для гимназиста.

Мальчик был так красив, что я поперхнулась припевом «Вставай, подымайся, рабочий народ!», споткнулась и потеряла место в шеренге. Поток выбросил меня на тротуар прямо к чудесному красавцу.

Небывалого цвета глаза, синие с зеленым отсветом, остановились на мне, оглядели с головы до ног.

— О, Александрючка! — сказал ослепительный брюнет, и я окончательно вообразила, что это наваждение. Откуда он мог знать мое имя?

Но юноша тряхнул волосами, которые с великолепной небрежностью свешивались на чистый лоб, и прибавил:

— А я александровец — тезка и сосед.

Только теперь я поняла, что моего имени он не знает, а просто увидел вензель на шевроне. Учениц нашей Алек-

сандровской гимназии называли «александринками». «Александровцами» были учащиеся Второй мужской гимназии, прежней императора Александра Первого. Она находилась на Казанской улице, неподалеку от нашей Городовой.

— Свободу защищаешь? — подмигнул александровец, но не нахально, а так весело и просто, что «тыканье» меня не покорило. Как еще обращаться друг к другу посреди демонстрации, где все единомышленники и товарищи? То есть, не товарищи, конечно (это прекрасное слово опорочено и опоганено негодяями большевиками), — но соратники по борьбе.

Мне еще предстояло узнать, что главным даром Давида была не красота, а удивительная естественность во всём. Никогда и ни с кем мне не будет так просто и легко, даже с лучшими подругами. Сама ведь я по складу характера — девочка, очень далекая от естественности. Всё время что-то собою изображаю, хочу произвести впечатление, живу так, словно норовлю каждую минуту подглядеть в зеркало — ну-ка, хорошо ли я смотрюсь? А рядом с Давидом я будто попадаю туда, где мне предписано быть природой, и ничего больше не нужно, только жмуриться и урчать, как кошке на солнечном подоконнике.

Мы познакомились, и само его имя показалось мне невероятно красивым, экзотичным, библейским. У нас в гимназии был учитель рисования, Давыд Петрович. В его имени мне всегда слышалось что-то грубое и вульгарное. Как многое меняет всего одна буква, думала я пораженно.

— Ты в каком классе? — спросил Давид.

— В четвертом, — сказала я и тут же пожалела, что не соврала, потому что он оказался шестиклассником.

— Мне через неделю пятнадцать, — гордо обронил он.

Даже в этой цифре мне привиделось нечто особенное. Дик Сэнд, пятнадцатилетний капитан, пронеслось в голове.

— Ладно, пойдем за стадом баранов. Поглядим, чем кончится, — предложил новый знакомый.

— Пойдем!

Мы повернули на Литейный. «Марсельеза» кончилась. Проходы во все улицы и переулки по правой стороне проспекта были перекрыты хмурыми матросами и красногвардейцами с винтовками в руках.

— Жан-дар-мы! Жан-дар-мы! — принялась скандировать толпа.

— Как они блеют, — поморщился Давид. — Даже заорать как следует не могут. Овцы! Сейчас матросня начнет их пинками и прикладами разгонять, а они будут только: «Бе-е, бе-е, по какому праву, бе-е зобра-азие!»

Я засмеялась. Заблеял он очень похоже.

— С хамьем не так надо, — убежденно сказал Давид.

— А как?

— Вот как: та-та-та-та! — Он изобразил, будто строчит из пулемета. — По-другому они не понимают.

Мы дошли до Шпалерной, которая ведет прямо к Таврическому дворцу. Как ни странно, заграждения там не было, и колонна повернула направо.

— Похоже, ничего интересного не будет, — разочарованно протянул Давид. — Большевички сообразили, что баранов бояться нечего, — покричат да разойдутся. Может, свинтим?

Я впервые слышала это слово, оно мне ужасно понравилось.

— Свинтим!

Что бы он ни предложил, я на всё бы согласилась.

Мы дошли по пустому Воскресенскому до Кирочной. Давид рассказывал, какая «лафа» у них в гимназии: домашних заданий не спрашивают, для шестых и седьмых классов открыли курилку, совет учащихся постановил увеличить продолжительность перемен до двадцати минут. Я ахала, восхищалась.

Когда мы были возле Спасо-Преображенского собора, вдали затрепало и захлопало — густо, безостановочно.

— Черт, стреляют! А мы ушли! — плачуще воскликнул Давид. — Эх, никогда себе не прощу! Бежим скорее туда! Может, еще застанем!

— Бежим! — с готовностью подхватила я.

И мы побежали.

Через две или три минуты, на Фурштатской, навстречу нам повалила разрозненная толпа. Я увидела белые, перекосенные лица.

— Куда вы?! Куда?! — рыдающим голосом крикнул нам пожилой господин в съехавшей набок шапке. Он держал руку возле уха. Я увидела, как между пальцев у него стекает темно-красная жидкость, и мне вдруг стало очень страшно. Представилось, что Давид точно так же будет зажимать рану и по его руке польется кровь.

Я схватила его за рукав шинели.

— Нет! — закричала я. — Я боюсь! Пожалуйста, ну пожалуйста, проводи меня домой! Не бросай меня!

Он злобно поглядел на меня, даже ногой топнул.

— Связался с мелюзгой! Где ты живешь, чучело?

— В Москательном...

Стреляли уже не в одном, а в нескольких местах. Захлебываясь, ударила пулеметная очередь — не «та-та-та-та», как недавно изобразил Давид, а скорее «гы-гы-гы-гы», словно кто-то давился гулким, хищным гоготом.

— Ладно, только бегом! Может, еще успею вернуться!

Он грубо схватил меня за кисть, и мы побежали в том же направлении, куда все. Давид всё оглядывался на выстрелы, дергал мою руку и прикрикивал: «Да живет ты!»

Возле Аничкова моста попробовал от меня избавиться: «Ну всё, тут уже спокойно, сама дойдешь!» — но я вцепилась в него обеими руками.

— Тьфу! Вот привязалась...

В Е С Т И Й

Только на углу Невского и Садовой ему удалось от меня отделаться. И то лишь потому, что пальбы было уже не слышно.

— Спасибо! До свидания! — крикнула я в спину стремительной фигуре с летящим вслед белым шарфом.

Не оборачиваясь, он отмахнулся, как от мухи.

Семьдесят семь дней назад это было, одиннадцать недель. Целых одиннадцать недель я чувствовала себя глубоко несчастной, а на самом деле была фантастически, непристойно счастлива — только теперь, на вокзальной площади, я это вдруг понимаю.

Мне всего тринадцать лет, но я уже знаю, из чего складывается формула любви. Подобно тому, как человеческий организм на две трети состоит из воды, любовь на две трети состоит из страха. Особенно если живешь в такое время и любишь такого человека.

За Давида я боялась всякий день и всякий час. Даже ночью мне снилось, что он бежит со своим развевающимся шарфом навстречу людям в серых шинелях, они стреляют из винтовок, он падает, по белому снегу растекается черная кровь.

Я твердо знала: Давиду суждена недолгая жизнь, он обречен стинуть молодым. Потому что он бесшабашный, без царя в голове. В какой-то книге я прочитала, что на свете есть люди с ослабленным инстинктом самосохранения. Вот и он был из таких же.

Люди с винтовками в серых шинелях стали мне сниться после одного ужасного происшествия, случившегося через две недели после манифестации.

К тому времени я уже знала, что мою любовь (про себя я употребляла именно это слово, безо всякой стыдливости) зовут полностью «Давид Каннегисер» и живет он на

Садовой, наискосок от Юсуповского сада, вдвоем с отцом. Выследить Давида близ Второй гимназии после окончания занятий было нетрудно. Он выделялся среди остальных гимназистов, будто принц среди челяди, — так мне, во всяком случае, казалось.

Несколько дней я подстерегала его то около подъезда, то на Казанской, возле гимназии. Мне хотелось узнать о Давиде как можно больше. Попастся ему на глаза я не пыталась — мне было вполне довольно просто его видеть. Ну а кроме того (мука, терзание!) я несколько раз видела его в компании румяной черноволосой барышни, которая была и старше, и красивее, чем я.

Тем вечером он тоже был с нею, а я шла, отстав шагов на двадцать, и думала: «Как гадко она хохочет! Неужели ему это нравится?» Они вышли из его дома, зашагали в сторону Екатерининского канала. Видеть меня они не могли, январские сумерки были темны, фонари почти нигде не горели. Но тот, под которым стояли, лузгая семечки, двое расхристанных в папах с красными лентами, как раз лучился тусклым электрическим светом, и я предусмотрительно отстала. Поэтому и не услышала, из-за чего произошла стычка. Один солдат, с полицейской саблей на портупее, что-то сказал. Второй похабно зареготал. Давид неразборчиво, но звонко ответил.

И тут — у меня подкосились ноги — один серый схватил его за воротник, а второй, оглушительно заматерившись, скинул с плеча винтовку.

— Что ты сказал, контра? Кадет! Барчук сраный! — услышала я звериный, страшный крик.

Тот, что держал Давида, с размаху, неуклюже ударил его кулаком в лицо — Давид сел в сугроб.

Больше я ничего не помню. Я будто ослепла.

Потом Давид с беззаботным смехом, прижимая ком снега к своему расквашенному носу, рассказывал, что я налетела на «пролетариев» из тьмы, «как хан Мамай», и «хрясь, хрясь по спинам, да по башкам». Солдаты якобы шарахнулись от меня в разные стороны, плюнули и ушли. Я слушала и не верила. Неужели правда?

Но он был жив, серые люди исчезли, а на троутаре стояла дрожащая барышня и глядела на меня с неподдельным ужасом.

Потом, всхлипнув, она медленно и неловко, придерживая рукою полу длинной шубки, побежала прочь.

— Бедняжка Фанни, у нее шок! — Давид перестал смеяться. — Она существо нежное, не тебе чета. Откуда ты тут взялась?

И, не дожидаясь ответа, кинулся за нею:

— Фанни, успокойтесь! Всё позади!

— Ах, оставьте! — со слезами крикнула нежная Фанни. — Вы сумасшедший! С вами опасно ходить по улицам!

Пусть я не-нежная, пусть я даже хан Мамай, сказала себе я. Главное, что он жив. И что он остановился, не бежит за нею.

Это было зимой, а сейчас весна. Холодная, грязная, петроградская, но все равно весна. С утра солнце, седьмой час пополудни, а еще светло. Я стою лицом к лицу с Давидом, не замечая, что под ногами лужа и мои войлочные боты промокли. Толпы я тоже не замечаю. Мы вдвоем, на свете никто больше не живет, и я хочу стоять так вечно.

(Ты и стоишь так вечно, тринадцатилетняя Сашенька. Ничто не исчезает. Просто становится невидимым. Но я, слепая, умею видеть, и я тебя вижу.)

Возбужденно он рассказывает о своих планах. С отцом он только до Волги, а там сбежит, это решено. На юге собираются добровольцы — офицеры, интеллигенция, сту-

денчество. Это армия нового, невиданного в истории типа. Орден Белых Рыцарей. Они очистят и спасут Россию.

— Тебя не возьмут, — говорю я. — Тебе только пятнадцать лет.

Давид снисходительно усмехается. Он всегда обращается со мной, как с малолетней дурочкой.

— Я выгляжу на все семнадцать. А документов там не спрашивают. Хочешь воевать — дают оружие и в бой.

У меня остается очень мало времени. Вот-вот вернется его отец. Я должна сказать Давиду, что его никто и никогда не будет любить так сильно, как я. И что моя жизнь кончена.

Но я не дура, я вижу, что ничего этого говорить не нужно. «Мое сердце разбито, теперь я знаю, что это не просто слова», думаю я. Самая ужасная мука — когда хочешь отдать самое дорогое, что у тебя есть, — всё, что у тебя есть, а человеку это совсем не нужно.

Если бы я была на год или на два старше и хоть чуточку красивей!

Никогда я не проводила столько времени перед зеркалом, как в эти одиннадцать недель. Дома меня все с детства называли красавицей, и я этому простодушно верила. Но теперь я научилась смотреть на себя со стороны и возненавидела родителей за гнусный обман.

Никакая я не красавица. Я малолетняя косноязычная уродина.

В феврале я шесть дней не выходила из дому, потому что прямо на кончике носа у меня выскочил ядовито-красный прыщ. Эти дни украдены из моей жизни, их нужно вычесть из семидесяти семи. Правда, я три раза телефонировала в квартиру Каннегисеров, и один раз трубку снял Давид. «Хелло, — сказал он. — Слушаю... Кто это?»

Мама что-то такое про меня вычислила, но на все вопросы я отвечала презрительным молчанием или огрызалась. Участливо-снисходительная мина на мамином лице была мне оскорбительна.

В дни «прыщевых» затворничества от тоски я читала дневник Марии Башкирцевой, который мне с хитрым видом подсунула мама: вот, мол, прочти-ка. Но пользы от этого чтения мне не было, одна злость. Меня бесили излишества моей ровесницы, которая в блаженной Ницце, в блаженную эпоху, сохнет от глупой любви к «герцогу Г.», которого она ах-ах несколько раз видела издали. Какая дура эта Муся со своими пошлыми рассуждениями о том, что бедняк непременно жалок и что она никогда не унижится до любви к человеку «ниже ее положением». Герцог Г., естественно, женится на какой-то герцогине, так и не узнав о влюбленной русской девчонке, и Муся страницы напролет убивается по этому комичному поводу. Мне ее совсем не жалко. Это не настоящая любовь, а томные девичьи фантазии. Ничего похожего на то, что происходит со мной.

Много раз читала я в романах про любовь и влюбленность, но никто из писателей не описал этого отупляющего и унижительного состояния, когда превращаешься в какую-то железную скрепку, которую притягивает к магниту неудержимая сила (нам демонстрировали это на уроке физики) — не по своей воле и не по влечению сердца, а по законам природы. Потому что так устроен мир.

Отупение и безволие поразительным образом сочетались во мне с невесть откуда взявшейся трезвостью ума и изворотливостью — про это тоже не писали ни Тургенев, ни Стендаль. Например, я твердо знала, что навязываться Давиду ни в коем случае нельзя, только всё погубишь. Поэтому каждую встречу я готовила, как стратег из Генерального штаба, кодающий над картами и сводными таблицами.

Первая операция завершилась тактическим успехом и стратегическим поражением. Я узнала, что он приглашен на именины в один дом, где жили знакомые моих дальних знакомых. Несколько дней интриганствовала, осуществляла всякие хитроумные маневры и добилась-таки, что меня тоже позвали. Но Давид едва обратил на меня внимание. «А, — сказал он, — александринка Александрина. Привет, как дела?» Я хотела рассказать, как у меня дела, целый рассказ приготовила, но он отошел и больше за весь вечер ко мне не приближался.

Потом один раз, шестнадцатого января, тщательно рассчитав время и расстояние, я столкнулась с ним на углу Гороховой и Казанской. Подстроила так, чтоб он первым меня заметил и окликнул. Тут мы перекинулись парой фраз. Каждое сказанное слово я запомнила, записала, тысячу раз повторила с разными интонациями и поняла, что надежды нет.

Случайными встречами, однако, злоупотреблять не стоило. Приходилось довольствоваться слежкой издали, чтоб он меня не видел.

Однажды вечером я смотрела, как он катается на коньках в Юсуповском саду. Фонари не горели, но на берегу пылал костер, возле которого грелись какие-то ночные люди. Посверкивал ледяной пруд, и по серебристой его поверхности стройная, наклоненная вперед фигура выписывала круги, от неизъяснимого изящества которых таяло мое бедное сердце.

После того как я ханом Мамаем напала на серых людей, период слежки и подглядывания закончился. Нежная Фанни бежала, поле боя осталось за мной. Щека у меня была поцарапана, рукав надорван (ей-богу не помню, как это случилось), и Давид повел меня к себе — «врачевать раны».

— Ты тут живешь? А я и не знала, — соврала я, не веря счастью.

— Вон в том доме, — показал он. — Это он тебя ногтями? Представляю, что за когти у пролетария. Еще столбняк будет. Или бешенство. Надо тебя йодом намазать. И у меня всё юшка из носу течет.. Папочка вообразит, что мы с тобой подрались. Я с отцом живу.

— Правда? — снова очень натурально удивилась я. — Он у тебя кто?

Давид скорчил гримаску:

— Никто. Еврей.

Тут я в самом деле удивилась. Ответ показался мне странным.

Давид объяснил:

— Раньше папочка был негоциант, а теперь сделался просто еврей. Как мамы не стало, он свихнулся, по-настоящему. Наденет шапочку, привяжет к локтю коробочку и всё молится, свечки жожет. Или книги древнееврейские читает. Приложился к народу своему. Никого, кроме евреев, знать не хочет. С родственниками, кто субботу не соблюдает, разговаривать перестал. А из всех Каннегисеров по Галахе (это закон еврейский) давно уже никто не живет. У меня Яков, брат двоюродный, георгиевский кавалер. Другой двоюродный, Лёня, юнкером был, с большевиками дрался. А я знаешь кто? Я, оказывается, принц израильский, прямой потомок царя Давида. Папочка сделал это великое открытие, пролопотив тыщу старинных книг. Говорю же, он у меня полоумный. Принц израильский, каково?

Давид заразительно засмеялся, я тоже хихикнула, хотя внутренне пришла в восторг. «Вот в чем разгадка, — подумала я. — Он — Принц! Опрыск самой древней и самой благородной из всех династий!»

— Смехота. Мы всегда были богатеи: лакеи, два авто, вазы-алмазы, а теперь у нас вообще ничего нет, — говорил Да-

вид, когда мы поднимались по широкой и, видно, еще недавно очень нарядной, а теперь темной и замусоренной лестнице. — Даже жрать нечего, честное слово! Всё из-за чрезмерной еврейской предусмотрительности. Папочка еще летом перевел имущество в эту, как ее, в ликвидность. Одни пустые стены остались. Переправил денежки за границу. А сами уехать не успели. Зимой гардины на муку меняли, всю мебель в печке сожгли. Такого потешного дома ты еще не видала. На картонных коробках живем, представляешь?

Он хохотал, ему в самом деле было смешно.

Я действительно подобного жилища еще не видывала. Но оно совсем не показалось мне потешным. Огромная, темная квартира, каждый шаг по паркету отдавался недобрым эхом. Голые лампочки, свисая с потолка, давали слабый, зловещий свет. «Тайна из тайн и чудо из чудес, что Давид вырос в этом сумеречном царстве таким солнечно-лучезарным», — сказала я себе и решила, что дома обязательно запишу эту фразу в дневник.

Сделалось совсем жутко, когда из двери выглянул седобородый старик в круглой черной шапочке. За его спиной, в свете канделябра, виднелся стол, заваленный старинными книгами в шоколадных переплетах.

— Привет, папочка. Это Александрина. У нас было маленькое приключение. Ничего страшного. Где у нас йод?

— В ванной, — ответил старик, пристально на меня глядя. На мое приветствие он не ответил.

Давид, насвистывая, ушел куда-то по коридору. Мы остались вдвоем. Молчание старика, его суровый взгляд пугали меня.

— На нас напали солдаты. Но мы их прогнали, — сказала я, чтоб нарушить тишину. Попробовала улыбнуться. — Я так заорала, что они испугались и убежали...

Он закончил меня рассматривать. Не спросил — утвердительно произнес:

— Девочка, вы не еврейка.

— Нет...

Кивнув, старик продолжил:

— И вы, конечно, влюблены в моего красивого мальчика? Вы мечтаете соединиться с ним, когда вырастете. — Я обмерла. — Не отрицайте, я всё вижу. Еще я вижу, что вы очень упрямая девочка и умеете своего добиваться. Но в священной книге «Дварим» сказано: «Не родись с ними». Вот что я вам скажу: больше сюда не приходите. Никогда. А моего мальчика оставьте в покое. Вы сами по себе, мы сами про себе. Это вот всё, — он кивнул на темное окно, за которым — обычное для этой зимы дело — гремели дальние выстрелы, — ваши гойские дела. Это, пожалуй-ста, без нас, без евреев.

Со мной, тринадцатилетней девочкой, он говорил так, будто это лично я всё устроила — революцию, распад, разруху.

Вместо того чтоб сказать умалишоту что-нибудь утешительное, я вздумала спорить. Очень уж потрясла меня сатанинская пронизательность старика и объявленный запрет.

— Как это без вас? — возмутилась я. — В революции столько евреев! Чуть ли не евреи ее и устроили!

— Не евреи — апикойресы, вероотступники.

С этими словами он взял меня за руку, довел до двери, подтолкнул в спину и захлопнул за мной створку.

Вытирая саднящую щеку полуоторванным рукавом, я поплелась домой. Завтра можно будет подстеречь Давида около гимназии — еще одна случайная встреча. Но как быть с его «папочкой»?

Таких евреев, как Каннегисер-старший, я никогда еще не встречала. Раньше я думала, что евреи — те же русские, только с нерусской фамилией. Вроде петроградских нем-

цев или поляков. Пока не заболела бабушка, у нас часто принимали гостей. Я знала, что биржевой маклер Тер-Осипян — армянин, а присяжный поверенный Ехно — финляндец. Выглядели, держались, разговаривали «иностранцы» так же, как все. Если бы папа однажды, не помню по какому поводу, не обронил бы, что наш семейный доктор Лев Львович — еврей, мне бы это и в голову не пришло.

Но старик в черной шапочке, будто злой чародей, возведший неодолимую преграду между мной и Давидом, испугал и заинтриговал меня. Природу его чар нужно было разгадать, иначе они не рассеются — такое у меня было чувство. И я засела за книги.

Оказалось, что книжек про евреев в книжных лавках очень много. Уроки я теперь по большей части прогуливала, домашних заданий не делала, благо гимназия стала не той, что прежде: преподаватели ходили растерянные, многие вообще исчезли, да и девочек в классе осталась едва половина.

До глубокой ночи, холодея от мистического ужаса, я читала то про страшное чудовище по имени Голем, то про всемирный заговор сионских мудрецов, то про всемогущество еврейского капитала, то про кровь христианских младенцев. Всё это не отвращало меня от евреев, а наоборот, притягивало к таинственному племени. Надменная иудейская непримиримость к любовным связям с гоями меня завораживала. «Отец мой сказал, что закон Моисея любить запрещает тебя, — шептала я с полузакрытыми глазами, раскачиваясь в ритм лермонтовским строкам. — Мой друг, я внимала отцу не бледнея, затем, что внимала любя... И мне обещал он страдания, мученья, И нож наточил роковой, И вышел... Мой друг, берегись его мщенья, он будет как тень за тобой». Я представляла себе, как мы с Давидом лежим посреди Садовой улицы двумя холодными трупами, а старик у себя в утрюмой келье возжигает жертвенную свечу и читает по-древнееврейски молитву

Авраама-сыноубийцы.

Но вскоре я вычитала, что еврейкой не обязательно родиться — ею можно стать, и во мне забрезжил свет надежды. Нужно принять Гиюр, поклясться соблюдать заповеди Торы — только и всего!

Господи Иисусе, то есть не Иисусе, а Яхве! Я была готова выучить все 613 заветов наизусть и свято их выполнять, даже самые странные: проломить затылок осленку, если хозяин не желает выкупить его, или приготовить пепел непонятной «красной коровы». Гои, принявшие «закон Моисея», называются «гер» и обладают всеми правами еврейства. Для женщин, правда, есть одно ограничение: они не могут выходить замуж за коэнов, потомков первосвященника Аарона, ну и черт с ними. Давид происходит не от каких-то там священников, а от царей!

Я начала зубрить Тору на русском и на иврите. Думала: месяца через три, когда все заповеди будут у меня от зубов отскакивать, пойду к господину Каннегисеру и скажу, чтобы он или какие угодно раввины испытали меня и приняли в еврейки. Вряд ли это будет труднее, чем прошлогодний экзамен по церковно-славянской грамматике, который я сдала с третьей попытки.

Дошла я до 145-й из запрещающих заповедей: «*Аль тохаль басар корбанот хатат ве ишам ме хуц ла хацер бэйт ха микдаш*» («Не есть мясо жертв *хатат* и *ашам* вне храмового двора»); и тут наступила весна, Каннегисеры засобирались в дорогу, зубрежка утратила смысл. Хотя в глубине души я и раньше понимала, что с Торой всё глупости, девичьи фантазии а-ля Муся Башкирцева. Не станет сумасшедший возжигатель свечей меня, малолетнюю идиотку, ни экзаменовывать, ни даже слушать

Не знаю, отчего все так пускают слюни по весне. Отвратительное время года. Тает снег, из белого и чистого

мир делается мерзко-серым и неопрятным. Вылезают на всеобщее обозрение сор, дерьмо, трупы мелкой живности — крыс, кошек, ворон. Обнажается шелудивое, неопрятное тело земли — она сама будто гниющий, изъеденный червями труп. С юга прилетают крикливые черные грачи, зато улетают милые пунцовогрудые снегири. Чему здесь радоваться?

(Так думаю я, тринадцатилетняя, стоя в грязной луже среди галдящей привокзальной толпы. Мне хочется плакать и кричать в голос, но я улыбаюсь и молчу.)

— ..Фактически немцы войну выиграли, — уверенно говорит Давид. Я киваю. Выиграли так выиграли. — Читала? Они прорвали франко-английский фронт. За три дня захватили семьсот тридцать тысяч пленных, шестьсот орудий! Обстреливают Париж из огромных пушек, с расстояния в сто верст, каково?

— Потрясающе, — кисло улыбаюсь я.

Пускай победят немцы, если ему так хочется. Мне и самой странно, что я так долго их ненавидела. Цивилизованная нация. Наведут порядок, загонят всех серых, грубых, по щелям и подвалам, где этому мышпиному племени самое место.

Но жалко тратить последние минуты на разговоры про войну и политику. Ах, если б он хотя бы на прощанье сказал мне что-нибудь нежное. Я хранила бы эти слова в памяти, как главную, как единственную драгоценность моей несчастной жизни.

Но Давид ничего такого не скажет, ему и в голову не придет.

Он переходит на наших дураков-генералов, которые окончательно погубят Россию. Своей дремучестью и сиволапостью, людоедскими призывами к виселице и нагайке они могут оттолкнуть от себя цвет страны — людей передовых, мыслящих.

ВЕСНОЙ

— Папочка говорит, что эти идиоты из-за своего дурацкого жидоморства лишат себя поддержки американского еврейского капитала, которому тоже не нравятся большевики. Кто тогда даст денег на войну с Лениным и Троцким?

Я знаю верный способ прервать эти страстные речи.

— Ой, я же тебе принесла... — Я достаю свертки — из одного кармана, из другого. — Это сахар и изюм, в дорогу. А это бутерброд, на сейчас.

— Здорово!

Еще Давид радуется куда больше, чем фотографии. Ровными зубами он кусает белый хлеб с чайной колбасой. Подмигивает мне.

Я изо всех сил улыбаюсь. В носу приплет.

Слишком поздно, меньше двух недель назад, на меня снизошло озарение, позволившее мне встречаться с Давидом каждый день. До того моё существование делилось на светлые даты — когда я с ним разговаривала — и темные, когда для встречи не находилось предлога.

Я знала, что Каннегисеры распродают последние вещи, даже из одежды почти ничего не осталось. Среди прочего давно стигнул и памятный белый шарф. Но мне, как всякому сытому, не приходило в голову, что рядом кто-то может недоедать — уж особенно принц.

И вот Давид, как всегда со смехом, сказал:

— Папочка, мудрец сионский, выкинул хлеб, который я купил на последние рубли! Сегодняшний обед перенесся на завтрашний ужин.

— Выкинул хлеб? Зачем?

— Потому что Тора велит накануне пасхи устранить весь *хамец* из дома. Вот он, мудрец сионский, и оставил меня зубами щелкать.

Я уже знала, что *хамец* — это всё квасное, сделанное на дрожжах.

— А кроме хлеба у вас ничего нет?

— Воск от папочкиных свечек.

Только теперь я заметила, как Давид похудел за время нашего знакомства. Его матовая кожа стала почти прозрачной, а голубые тени под глазами, казавшиеся мне такими аристократичными, оказывается, объяснялись самой неромантической причиной — недоеданием.

«Дура, эгоистка! — обругала я себя. — Только о себе думаешь!»

А в следующий миг меня осенило. (Глядя на Сашеньку Казначееву из своего дальнего сегодня, я думаю, что уже тогда обладала полезным, хоть и стыдноватым даром — извлекать практическую пользу даже из возвышенных порывов души.)

В тот же день, вернувшись домой, я объявила родителям, что бойкот закончен.

В феврале отец дал на службе подписку, что будет сотрудничать с Советской властью, и обязался «сочувствовать делу пролетариата». За это ему и таким, как он, стали выдавать «наркомфиновский паек». Продуктов в открытой продаже становилось всё меньше, а те, что еще оставались, можно было купить лишь по совершенно заоблачным ценам. Отец же каждую неделю приносил что-нибудь съестное: крупу, масло, сало, иногда консервы. Мы жили сытнее многих. То есть они, родители, — но не я. Принципы не позволяли мне даже прикасаться к этой иудиной мзде. С отцом я перестала разговаривать. Матери разрешала кормить меня только тем, что покупалось в лавках или на рынке.

Бедные папа с мамой были сами не свои от счастья, когда я вдруг сменила гнев на милость. Твердое условие — что есть я буду не за общим столом, а у себя в комнате — было принято беспрекословно.

Уже вечером я подкараулила Давида возле подъезда.

— На вот, — сказала я небрежно, со смехом. — Сало к вашей еврейской пасхе.

Он развернул бумагу, блаженно понюхал, но — принц есть принц — спросил:

— А ты?

— Во-первых, не люблю. Во-вторых, у нас много. Папаше диктатура пролетариата выдает.

Подражая Давиду с его жалюще-насмешливым отношением к отцу, я своего стала называть противным словом «папаша».

С тех пор я каждый вечер приносила ему что-нибудь поесть. Он снисходительно принимал подношения. Темные дни из моей жизни исчезли, остались одни светлые.

— А вот и «папочка», — говорит Давид с набитым ртом. — Ну, мне пора!

Я вижу чернокнижника, похитившего мое счастье. Он стоит на ступеньках, манит рукой, будто притягивает невидимой нитью моего заколдованного принца. Рядом какой-то усатый, в кепи, в голубоватой шинели. Догадываюсь: это пан Дудка, про которого я столько слышала. Старинный, еще довоенный «папочкин» партнер из Праги. Попал в русский плен, Каннегисер-старший ему помогал, а теперь капитан из облагодетельствованного сделался благодетелем. Он какой-то начальник в штабе чехословацкого корпуса. Корпус отправляется на Дальний Восток, и капитан пристроил Каннегисеров в один из эшелонов.

По-настоящему чеха звали то ли Дудек, то ли Доудек, это Давид прозвал его «паном Дудкой». Мне прозвище кажется не смешным, а зловещим. Поняв, что в одиночку со мной не справиться, иудейский чародей призвал на помощь сатанинскую дудку, и заиграла волшебная мелодия, и мой суженый потянулся за нею, как бедный, одурманенный ребенок за флейтой гаммельнского музыканта.

Когда вопрос их отъезда окончательно решился, я устроила дома шумную сцену. Кричала, рыдала, трясла суставами кулаками. Я требовала, чтобы мы тоже уехали на восток, потому что все нормальные люди бегут из этого обреченного города, из этой проклятой страны, и если родителям наплевать на себя, то пусть хоть подумают о дочери.

Папа ретировался от моих воплей в кабинет. Мама растерянно слушала.

— Всё это, может быть, и так, — сказала она, когда я перешла с крика на тихий вой. — Но как быть с бабушкой? Куда ее повезешь в таком состоянии?

— Бабушка ста-арая, а у меня впереди вся жи-изнь..

Мама тихо спросила:

— Значит, когда мы с папой состаримся, ты нас бросишь? Ну, это твое дело. А за нас не решай.

И оставила меня плакать в одиночестве.

Как же я их ненавидела! Особенно бабушку, которая никак не хочет умирать и поэтому тянет меня за собой в сырую землю, хоронит заживо. Если б знать как, я ее отравила бы!

(На миг я вновь становлюсь злобно рыдающим подростком, маленькой леди Макбет Миценского уезда, ради любви готовый на любое преступление.) Но страница переворачивается — я опять на Знаменской площади, перед вокзалом. Ненависти нет, лишь отчаяние.

— Поцелуемся на прощанье, если ты не против? — шуточно говорит Давид.

Я тяну к нему губы, но он чмокает меня в щеку. Подмигивает.

— Счастливо, малышка. Больше, наверно, не свидимся.

Он подхватывает тачку с древними книгами, катит ее к вокзалу, весело покрикивая: «Расступись, народ честной!»

— Будь счастлив, любовь моя! — кричу я вслед.

Давид не слышит, но кто-то за моей спиной с хриплым хохотом говорит: «Вась, слышал, чего соплюха сказала?»

Бреду не разбирая дороги, смотрю вниз. Тающие льдинки хрустят под моими шагами.

Мне только тринадцать лет, но жизнь кончена, впереди ничего кроме тоски, слез, темноты. И никому об этом не расскажешь. Никто не поймет, не пожалеет. Только посмеются, как тот хриплый. Ну мама, конечно, потешаться надо мной не станет, даже пожалеет. И обязательно скажет что-нибудь вроде: «Ничего, все проходят через первую влюбленность. Время быстро залечивает такие раны. Будешь потом вспоминать и улыбаться». Это хуже любой насмешки.

Дома я прямиком иду к себе в комнату, бросив на ходу:

— Завтра контрольная по литературе! Буду готовиться. Попрошу меня не трогать!

Битый час, с лупой в руке, изучаю снимок манифестации. Ужасно хочется найти в толпе нас с Давидом. Вот чья-то темноволосая макушка — единственная без шапки. Я решаю: это он. Начинаю целовать, но мои губы слишком велики, я лобызаю разом несколько десятков голов.

Беру книгу — просто потому, что она лежит на столе.

Читаю, механически: буквы, слова, предложения, абзацы.

Гаснет лампа — опять перебои с электричеством. Я зажигаю свечу. Наверное, так же полвека назад сидела вечером над своим дневником Муся Башкирцева. Я скольжу взглядом по строчкам, там всё какие-то восклицательные знаки.

Вдруг вчитываюсь — вздрагиваю. «Одна вещь мучает меня, что через несколько лет я буду сама над собой смеяться и забуду его. Все эти горести будут казаться мне ребячеством, аффектацией. Но нет, заклинаю тебя, не

забывай! Когда ты будешь читать эти строки, возвратись мысленно к прошлому, представь себе, что тебе тринадцать лет, что ты в Ницце, что все это происходит в эту минуту! Думай, что все это еще живет!.. Ты поймешь!..»

Слезы наворачиваются на глаза, капают на страницу. Я плачу, не могу остановиться.

Мне невыносимо горько, оскорбительно, унижительно от мысли, что, конечно, всё именно так и будет. Права мама с ее придуманной мною утешительной речью. И Башкирцева права: в том же дневнике, став взрослой, она будет подшучивать над своей детской любовью к «герцогу Г». Я тоже вырасту, успокоюсь, забуду, встречу другого или других, буду подсмеиваться над тринадцатилетней дурачкой, а фотографию выкину.

Я встаю на колени и начинаю молиться, как не молилась даже в раннем детстве.

«Господи Иисусе, заклинаю Тебя! Сделай так, чтобы я никогда-никогда ничего не забыла! Чтобы никогда не успокоилась, никогда не смеялась над собою прежней! Чтобы я никогда не предала ни его, ни себя, ни эту весну, ни свою любовь!»

(Молитва была услышана. Прошел почти век, а я ничего не забыла. И мне не смешно.)



САНДРА В ПРИСНИВШЕМСЯ ГОРОДЕ

Самое мучительное время года. Считается, что неподвижным больным противопоказано кондиционирование воздуха, оно может спровоцировать в ослабленных легких воспаление — именно это чаще всего сводит паралитиков в могилу.

Только не таких, как я. Мои легкие в идеальном состоянии, пневмония не грозит им даже на самом сильном сквозняке, но никто, кроме меня, этого не знает.

Даже в прохладной Нормандии иногда выдаются очень жаркие дни, а нынешнее лето бьет все температурные рекорды. Вторую неделю жара за тридцать.

Я давно приучила себя игнорировать болезненные или неприятные ощущения, с которыми ничего не поделаешь. Иначе я давно бы свихнулась. Но струйки пота, которые очень медленно, почти непрерывно стекают по сохранившим чувствительность участкам тела, напоминают китайскую пытку водяной каплейю. Кожа, и без того тонкая, непрочная, размокла и сама собою лопается, сразу во многих местах. Новая массажистка невнимательна и неловка, ее торопливые пальцы, шупающие мое тело будто для проформы, доставляют мне столько страданий, что если б я могла, то кричала бы от боли. Вся надежда на то, что эта отвратительная тетка (в ее излучении я считываю женскую неудовлетворенность, нетерпеливую злобу, истеричность) халтурит не только со мной, что на нее кто-нибудь нажалуется и она отправится обратно в свой Вильно.

Сегодня особенно скверно. Дежурная сестра неплотно сдвинула шторы, жгучие лучи утреннего солнца падают прямо на мое лицо. Кажется, лоб и нос обгорели — это со мной теперь происходит моментально. Еще хуже то, что из губ выскользнул слюноотвод, а сглатывать я не могу. Рот переполнен, по щеке все время течет. Неужели Пятница этого не замечает?

Нет, он сидит неподвижно. Вероятно, пялится в потолок — я могу определять его позу по шуршанию одежды и скрипу суставов. Так он может просидеть очень долго.

Впрочем, не факт, что он поправит слюноотвод, даже если увидит, как я мучаюсь. Бывает по-разному. Если б каким-то чудом на несколько секунд ко мне вернулась власть над телом, первое, что я бы сделала: взяла бы Пятницу за шиворот, подтащила к стене и стучала бы его замороженной башкой о дубовую панель, пока дерево не треснет!

Стоит мне подумать о панели, и я забываю о слюне, каплях пота, сгоревшей коже. Возникает соблазнительная мысль, от которой — я чувствую — резко учащается пульс.

А что, если мне *можно умереть*? Что, если так *будет лучше*?

Спокойно, спокойно, говорю я себе. Это нужно обдумать.

Когда я умру, это помещение освободится, так? Так.

Комнате придумают иное применение, так? Несомненно.

Для этого здесь сделают ремонт, которого много лет не было. Я слепа, но можно не сомневаться, что обои выгорели и местами надорвались, краска на потолке облупилась и так далее. Здесь ничего не подкрашивали, не переклеивали, чтобы не травмировать меня резкими запахами и не вызвать аллергии. Но когда я умру, комнату приведут в порядок и сделают перепланировку — объединят с соседней

в единое пространство. Однажды я слышала, как Марина Васильевна, привыкнув относиться ко мне, как к неодушевленному предмету, преспокойно обсуждала с другой медсестрой уже решенный администрацией вопрос: *когда палата освободится*, устроить здесь просторную комнату отдыха для среднего медперсонала.

Стало быть, если я освобожу им палату, они станут разбирать стену. Снимут дубовые панели и непременно обнаружат сейф. То главное, что я должна отдать людям, прежде чем смогу уйти, попадет к ним само! Получается, что своим цепляньем за жизнь я только мешаю этому!

Господи, неужели я зря держусь столько лет?!

Господи, неужели я могу покинуть свой каземат?!

Я заставляю себя успокоиться. Ввожу глубокое дыхание, делаю геморегуляцию. Пульс приходит в норму. Мысли перестают выталкивать одна другую.

Ремонт будет, сейф найдут и вскроют. Всё так. Но первое, что сделают рабочие, обнаружив научные записи с формулами, — отнесут эту абракадабру к Мангусту, ведь он здесь главный. И тогда Мангуст наконец получит то, чего так долго ждал, а окружающим наплетет какой-нибудь ерунды, и все поверят — ведь он здесь единственный специалист. Мои муки, мое терпение, всё пропадет впустую. Мангуст победит. Он подотрет свою задницу всей моей жизнью.

Как бы не так! Я буду терпеть, ждать и надеяться на чудо.

А физические страдания — пустяк. Просто я разпонилась, утратила контроль. Но это мы сейчас наладим.

Осязательные ощущения мне сейчас только во вред. Полностью отключить их непросто, для этого нужна абсолютная концентрация, предельная мобилизация воли. Я уже пыталась, не вышло. Но сейчас обязательно получится. Злость поможет.

Я заново делаю весь цикл дыхательно-кровоточной гимнастики. Нейтрализую проблемные зоны: кожу лица, взмокшую спину, бока.

Прилив, отлив. Прилив, отлив. И внутрь, внутрь, по-дальше от нервных окончаний.

Хорошо.

Следующее — перефокусироваться на иной орган чувств.

Обоняние... Запах собственного пота, памперсов. У Пятницы в полости рта происходит какой-то гнилостный процесс.

Нет, обострять обоняние не нужно. Лучше слух.

И я, как писали в романах времен моего детства, вся обращаюсь в слух.

Рядом, в полуметре, ровно дышит Пятница. Он неподвижен, но здоровые мышцы не могут находиться в тотальном покое, и стул чуть-чуть поскрипывает.

Дрогнуло оконное стекло — это слегка подул ветер.

Со второго этажа, несмотря на толстое перекрытие, донесся звук пианино.

За стеной, из моей бывшей спальни, слышатся голоса. У моей соседки гость, мужчина. При всей патологической остроте слуха разобрать слов я не могу, но говорят по-русски.

Я привыкла к московской девочке. Ее зовут Вероника. Сначала я чувствовала, что внушаю ей страх. Думала, что после первого визита она у меня больше не появится. Но ошиблась. Девочка перестала меня бояться, она заглядывает ко мне довольно часто. Возможно, каким-то инстинктом уловила, что меж нами есть некая таинственная связь. Я-то, благодаря развитой биорецепции, мгновенно почувствовала эту близость, но разобралась в ее природе не сразу. Предположила, будто мы какие-нибудь дальние родственники. Но потом поняла, в чем дело.

Девочка излучает опасность — направленную не во-вне, а внутрь. Где-то в области ее шеи или затылка я различила отчетливый источник смерти. Это ощущение невозможно описать точно. Попробуйте объяснить глухому, как звенит колокол, или слепому — что такое синий цвет. Всё, таящее в себе угрозу смерти, источает волны (этот термин я употребляю весьма условно) чрезвычайно резкого регистра. Со временем я локализовала и вычислила, что происходит с Вероникой. Да, мы с ней действительно состоим в родстве, но не по генам, а по судьбе. У бедной девочки, как и у меня, аневризма базилярной артерии, но гораздо более крупного размера и потому очень опасная. Если бы я умела говорить или если б Вероника умела меня слышать, я многое могла бы ей рассказать. Я спасла бы ей жизнь. Но контакта между нами нет. Девочка заходит в мою палату, иногда произносит несколько тихих слов. Не рассчитывая на ответ, стоит немного у окна и уходит. Вот и всё общение.

Следующий после «слухотерапии» этап самолечения — средство еще более надежное: уход из настоящего в воспоминания.

Когда мне особенно тяжело и кажется, что силы на исходе, я позволяю себе взять из библиотеки памяти самую драгоценную книгу, действие которой происходит летом тридцать второго.

То лето тоже выдалось необычайно знойным — даже для Маньчжурии. Солнце раскалило тротуары, мостовые и крыши. В нашем палисаднике, несмотря на поливку, засохли все мамины цветы. Много дней не было ни дожди-

ки, ни облачка, и Харбин весь клубился маревом, весь сверкал на солнце, словно начищенный самовар.

Но страница, которую распахивает передо мною память, укутана в уютный полумрак. На потолке, под зеркальными шарами, крутятся лопасти вентиляторов; пунцовеет бархат портьер; поблескивают инструменты джаз-банда, приглушенно играющего блюз.

Я одновременно здесь и там: здесь — всё знающая и помнящая, там — даже не догадывающаяся, что произойдет минуту спустя, когда оркестр заведет чарльстон.

Тамошнюю меня зовут Сандра. Никакой «Александрины» и тем более «Сашеньки» — фи!

Мне двадцать семь лет.

На стене, напротив столика, висит зеркало. Я то и дело поглядываю в него и очень себе нравлюсь. У меня крупные черты лица, коротко стриженные волосы, смело обведенный помадой африканский рот, блестящие прищуренные глаза. Я выпускаю голубоватый сигаретный дым и становлюсь от этого еще эффектней.

У меня слегка кружится голова от двух коктейлей, еще больше я опьянена своим успехом. Сегодня я могу собою гордиться. К этому триумфу я шла целых восемь лет, с того самого дня, как серой совдеповской мышкой ступила на перрон Харбинского вокзала после девятидневной поездки по убогой, разоренной стране.

Из мира рогожных мешков, землистых лиц, засаленных кепок и блеклых платков, где единственными всплесками цвета были кумачовые полотнища, я угодила в многоцветное сказочное королевство, полное автомобилей и разноязыких вывесок, населенное по-европейски наряженными, сытыми, улыбчивыми людьми. Я будто попала в далекую-предалекую страну моего раннего, еще довоенного детства. Только этот край именовался не Российской им-

перией, а «Счастливой Хорватией». Так столицу русской Маньчжурии прозвали в память о генерале Хорвате, многолетнем начальнике Китайско-Восточной железной дороги, который не только выстроил и обустроил город Харбин, но сумел уберечь его от войны, мора и голода.

Остолбенева, смотрела я на киоски и витрины, на невиданное чудо — неоновые рекламы. Привокзальная площадь имела совершенно заграничный вид — не хуже, чем Вена или Будапешт, которые я, правда, видела лишь на картинках. Но самое удивительное, что повсюду слышалась только русская речь и виднелись только русские лица! Хотя нет, лица изредка попадались и китайские — носильщики, чистильщики обуви, рикши, — однако и они кричали, предлагая свои услуги, исключительно по-русски.

Первое, что я сделала, немного придя в себя, — обняла и поцеловала папу. Не избалованный ласками своей суровой дочери, он покраснел от счастья.

Мама всю дорогу настороженно молчала, но тут и она объявила с непривычной для нее решительностью:

— Слава тебе господи! Вырвались! Как хочешь, но *туда* мы больше не вернемся!

— Тише, услышат! — зашипел папа.

Мимо нас с фанерными чемоданами, с нищенскими баулами шли «совслужки», его коллеги, выделявшиеся из толпы своими толстовками, френчами и полотняными фуражками. Вид у них был совершенно очумевший — вероятно, как и у нас.

Дорога, построенная через китайскую территорию, чтоб сократить трассу, ведущую с запада империи до Владивостока, обошлась России в 400 миллионов золотом. Согласно договору с империей Цин, зона вдоль железнодорожного полотна обладала правом экстерриториальности. То есть жила по российским законам, была населена рус-

скими, имела собственную полицию и собственную армию, именовавшуюся Охранной стражей. Когда в России всё уже рушилось и горело, когда красные, белые, зеленые резали друг друга, а фунт хлеба стоил миллионы, в «Счастливой Хорватии» всё оставалось по-прежнему. Коммунисты и монархисты воевали друг с другом исключительно через газеты, поезда ходили по расписанию, белая булка продавалась за те же дореволюционные три копейки.

Даже когда китайцы отказались признавать экстерриториальность КВЖД и богообразный длиннобородый Хорват сложил с себя полномочия, мало что изменилось. Назначили китайского управляющего и появился китайский губернатор, но водить паровозы по тысячекилометровому пути, ремонтировать полотно и подвижной состав, управлять городским хозяйством, вести торговлю и финансовые дела, лечить людей и учить детей продолжали русские — у китайцев не было для этого ни опыта, ни обученных кадров.

В сентябре 1924 года Советский Союз подписал с маньчжурским правителем маршалом Чжан Цзолинем договор о совместном управлении дорогой, и 3 октября свершилась «октябрьская революция» — на целых семь лет позже, чем в России.

Старых специалистов вынудили сдать дела, прибыло большевистское начальство, однако без инженеров, механиков, машинистов, ремонтников обойтись оно все равно не смогло бы, поэтому служащих нижнего и среднего звена всех оставили на прежних местах, лишь обязали принять советское либо китайское гражданство. На этом, собственно, пролетарская революция в Харбине и закончилась. Железная дорога приносила валюту, столь необходимую Москве, десятки миллионов в год, поэтому золотого тельца оставили мирно пастись на тучном маньчжурском пастбище. Единственной областью, в которой Совет на-

родных комиссаров никак не мог довериться классово чуждому элементу, была финансовая отчетность. Весь бухгалтерский аппарат постановили заменить на проверенных товарищей из СССР.

Этой благоразумной предосторожности наша семья и была обязана своим счастьем. Мой отец был одним из первых «спецов» банковско-финансового сектора, перешедших на службу к советской власти. У начальства он был на хорошем счету, в графе «партийность» писал «сочувствующий».

К предложению переехать на Дальний Восток папа сначала отнесся настороженно. Он был уже очень молод, худо-бедно приноровился к новой жизни и всё твердил: «Дали бы умереть спокойно». Но мы с матерьюцепились в него насмерть, причем тихая мама еще неистовей, чем я. Я-то была совсем еще глупой, советская жизнь не устраивала меня главным образом по двум причинам: я ужасно любила кинематограф, а в Ленинграде не показывали идеологически чуждых фильмов, и, кроме того, было совершенно негде прилично одеться. Впрочем, в девятнадцать лет это не такие уж пустяки. Мама выдвинула аргумент, звучавший не менее странно, но именно он сломил папино сопротивление. «Я хочу ходить по улице, не вжимая голову в плечи», — сказала она.

Так мы попали в Харбин, одно из самых удивительных мест на свете, город-парадокс, историческое и географическое недоразумение. Будто из тела России кто-то вырезал гигантскими ножницами кусок кустодиевского холста с русскими домами, церквями, двумястами тысяч людей и шутки ради пришил эту яркую заплату на блеклый китайский халат. Или, того чуднее, зачерпнул из Леты ковш давно утекшей воды, и посреди выжженной революциями пустыни вдруг зацвела-заблестала лужица прежней, мирной, благополучной жизни.

Я потом часто думала, что если б не выстрел в Сараево, не Распутин да не plombированный вагон, вся моя страна к середине двадцатых стала такою же, как Харбин. Планировали же государственные умы к 1924 году ввести в империи всеобщее образование, смягчить сословное неравенство, учредить ответственное перед парламентом правительство...

(Сандра не знает термина «альтернативная история», однако именно в соответствии с этим фантастическим жанром развивалась в двадцатые и тридцатые годы харбинская жизнь. То была возможная, но так и не состоявшаяся судьба страны, сон о несбывшемся. Как всякий сон, Харбин не мог длиться долго. Со временем он растаял, будто соткавшийся из знойного маньчжурского воздуха мираж. Получается, что я провела свою первую молодость в приснившемся городе.)

Как всем известно, к хорошему привыкаешь быстро. Из полутолодного Питера заграничная жизнь рисовалась раем, где обитают сплошь счастливые люди. Но человек не рожден для счастья. Всегда сыщется повод для неудовлетворенности. Оказалось, что можно смотреть любые фильмы, покупать сколько угодно шелковых чулок, вкусно питаться, читать любые книги — и этого будет мало.

Наша семья просуществовала более или менее безоблачно четыре года. На пятый сгустились тучи, ударил гром, и молния попала в самый ствол, на котором держалось всё семейное благополучие.

У папы разладилось здоровье, из-за этого начались служебные неприятности. Он вдруг стал забывать самые неожиданные вещи: как зовут соседей; где находится трамвайная остановка; куда делась ведомость, принесенная с работы для перепроверки.

Папе не так давно перевалило за семьдесят, но он выглядел совсем стареньким. Невозможно было смотреть,

как он топчется в прихожей, не решаясь выйти, потому что запомнил, куда собрался. А нас с мамой спросить стесняется.

Кому нужен бухгалтер, путающий цифры и невесть куда засовывающий документы?

В день главного триумфа своей харбинской жизни, сидя в шикарном ресторане «Трокадеро» и победительно глядя в зеркало, я нарочно заставляю себя вспомнить самую низшую точку несчастья, из которого долго и упорно карабкалась к сегодняшнему сиянию.

Это было в апреле двадцать девятого, три с лишним года назад, субботним вечером. Я стояла за дверью нашей маленькой гостиной и подслушивала разговор родителей — как будто вернулась в раннее детство.

Я лежала на тахте у себя в комнате, читала только что пришедший «Скрибнерс мэгэзин» с новым романом Хемингвея, не в силах оторваться, хотя ужасно хотелось в ватерклозет. Наконец, не утерпев, просеменила необутыми ногами в коридор, а на обратном пути услышала звук рыданий — и замерла, когда поняла, что плачет папа. Чтоб папа — и плакал? Это было невообразимо.

Сморкаясь и всхлипывая, приглушая голос, он бормотал: «Это последняя капля... Самсонов так и сказал: «Чаша терпения переполнилась». Квартальный отчет! Я помню, что хотел убрать его в надежное место, потому что у нас сейф сломан... Куда, куда я мог его задевать? Теперь меня уволят. Это вопрос решенный. В понедельник заседание правления. Господи, Машенька, что с нами, что с вами будет? Квартиру придется освободить. Ни выходного пособия, ни жалованья... Может быть, попросить, чтобы меня перевели на техническую работу? Нет, квартального отчета мне не простят! Господи, что делать, что делать? Бедные вы мои, я погубил вас!»

Его жалкие причитания (про себя я называю их «хныканьем») мне оскорбительны. Мой отец — какой-то Акакий Акакиевич! Нарочно топая, я иду к себе. Я кричу: «Хватит вам ныть! Надоело! Вы мне мешаете! Я учу иероглифы!»

Разговор в гостиной обрывается, а я забираюсь с ногами на тахту и читаю про жизнь, где всё по-другому. Ничего мелкого и жалкого, красивые люди, сильные чувства, мужественная сдержанность в час беды.

Маньчжурские зимы суровы и длинны, а та, казалось, не закончится никогда. Лед на Сунгари никак не желал сходить, лишь подтаял по краям — меж берегом и серой кромкой чернела вода. По воскресеньям, в свой выходной, отец любил прогуливаться вдоль реки. Мы жили на окраине, возле механических мастерских, а сразу за ними тянулся невысокий, но довольно крутой и пустынный берег. В этом месте он был совсем не живописен, замусорен из-за близости к лесопильному заводу, но отцу там нравилось. По-моему, это была единственная его отрада: в покое и одиночестве, опираясь на палку, медленно брести по тропинке и о чем-то думать. Не знаю, где блуждали его мысли и на что он так подолгу смотрел, глядя в заречные дали. Он вырос на Волге, в семье инженера, около судостроительного завода, и, возможно, неопрятный берег Сунгари напоминал ему пейзаж из детства. Но наверняка я этого не знаю. Я очень мало интересовалась жизнью отца и уж тем более его мыслями. Молодость нелюбопытна ко всему, что ассоциируется у нее со *вчерашним днем*, она жадно смотрит только в будущее. Отец заботил меня не более, чем слежавшийся прошлогодний снег, по которому он совершал свои стариковские прогулки.

Назавтра после «хныканья» он, закутанный матерью в башлык от ветра, как обычно, отправился на прогулку.

К нам прибежали примерно часа через два после его ухода. Соседские мальчишки узнали, что из Сунгари вытащили утопленника, побежали смотреть и узнали «дядю Лёву». Как он утонул в зазор между берегом и краем льда, никто не видел. Должно быть, оступися, скатился вниз по обледеневшему склону в воду, и не хватило сил выбраться, затянуло течением. Прохожие увидели зацепившийся за торос край черного пальто, подхватили покойника багром.

Конечно, я плакала. Мне было его, беспомощного, невыносимо жалко. Утонуть на глубине в полтора метра — как это похоже на бедного, нескладного папу! Еще было стыдно, что я напоследок рывкнула на него, когда он жаловался на неприятности по службе. Что-то в этом роде я даже сказала рыдающей маме, когда мы сидели, обнявшись, после похорон в завешенной черным крепом гостиной. Мол, никогда себе не прощу, что была с ним, таким жалким и потерянным, груба.

— Лёвушка не жалкий, — ответила мать, распрямившись и глядя на меня мокрыми, изумленными глазами. — Он сделал это нарочно. Ради нас.

— Ты хочешь сказать, что папа утопился? — пролепетала я, а сама внутренне сжалась. Только этого мне не доставало: мало того что погиб отец, так еще у матушки от горя помутился рассудок.

— Неужели ты не догадалась? — Мать покачала головой. — Во-первых, он боялся, что станет таким же, как Софья Леонидовна. Помнишь, как она всех измучила? А еще он сделал это ради нас — чтобы мы с тобой не остались без средств к существованию. Его не успели уволить. Теперь я буду получать за него пенсию, и у нас останется казенная квартира. Ты сможешь доучиться, а я не останусь без гроша на старости лет... Эх ты, «жалкий». Твой отец — настоящий мужчина. Он герой.

— А нас он спросил, согласны ли мы на такую жертву? — закричала я. — Меня он спросил?! Да у меня теперь кусок в горле встанет! Ни копейки из его денег не возьму! И жить тут больше не буду! Это не дом, это гроб какой-то!

Я затряслась в истерических рыданиях, чувствуя себя самым скверным, самым несчастным существом на свете.

В тот же день я позвонила Ринальди в гостиницу и сказала, что передумала, что согласна. Скульптор страшно обрадовался.

На первый сеанс я шла, чувствуя себя Годивой, идущей на всеобщий позор, — и не ради спасения жителей города Ковентри, а из-за собственного глупого гонора. Но обещанной платы в тысячу рублей (так мы называли китайские доллары, юани) мне должно было хватить и на плату за обучение, и на жизнь, и на съемную комнату. До окончания института оставалось всего несколько месяцев.

Но от матери я так и не съехала. К ее пенсии я не прилагивалась, строго следила, чтоб все расходы были поровну, но в «гробу» пришлось остаться. Бросать маму в таком состоянии одну было совершенно невозможно. Пусть оправится от удара, научится жить одна. Потом стало ясно, что она никогда не оправится и не научится. В теплое время года она всё время копошилась в нашем крошечном палисаднике, зимой поливала цветы в горшках и слушала радио. Больше ей ничего не было нужно. Но стоило мне где-то задержаться допоздна — и я, вернувшись, заставала маму тихо, безутешно плачущей. Она не ругала меня, ни о чем не спрашивала. Войду — вытирает слезы и включает радио. Она теперь вообще никогда не задавала вопросов о моей жизни. Разве что взглядом. Причем про одно и то же — я понимала без слов. «У тебя так никто и не появился?» Я сдвигала брови, мама виновато отводила глаза. В последнее время я стала всё чаще читать в этом взгляде не вопрос, а крепнущую

надежду. «У тебя никогда никого не будет, ты навсегда останешься со мной».

Нечего и говорить, что дома я старалась бывать как можно реже. Когда за счет редакции мне поставили телефон, появилось отличное средство уберечься от вечерних слез: я просто звонила маме и предупреждала, что задержусь.

Какою же я все-таки была в последнее харбинское лето, накануне перелома всей своей жизни? Мне проще оценить ту Сандру, глядя назад из сегодняшнего дня, а не плывя по течению эйдетической памяти.

Как это часто бывает с людьми, мучающимися от внутренней неуверенности, легко уязвимыми, всегда готовыми втянуть голову в панцирь, я держалась очень самоуверенно, слыла насмешливой и резкой. В нашем Институте ориентальных и коммерческих наук меня прозвали Брунгильдой — за высокий рост, широко развернутые плечи, гордую посадку головы (я специально отрабатывала ее перед зеркалом). Я была пловчиха и капитан команды по стрельбе из лука. Еще я очень интересовалась политикой — как, впрочем, большинство студентов. Такое уж это было время. Основных партий у нас в институте было две. Первую, коммунистическую, в основном составляли дети служащих, кто имел советский паспорт. Вторая, «белая», постепенно дрейфовала в сторону фашизма. Только нужно помнить, что в ту пору это слово воспринималось совсем не так, как теперь. Оно, в отличие от большевизма, еще не было скомпрометировано террором и ассоциировалось прежде всего с Италией, факельными шествиями, культом духовного и физического здоровья.

К первой партии, несмотря на свой паспорт, принадлежать я не могла. В отличие от своих соучеников, пылких сторонников коммунистической революции, я собствен-

ными глазами видела, что такое власть победившего пролетариата.

Фашисты мне в принципе нравились — они казались романтиками. Чего стоило одно название их полусекретной организации, созданной для борьбы с Коминтерном: «Союз мушкетеров»! Но Сандра Казначеева была девушкой прагматического склада и в химеры не верила. Харбинским «мушкетерам», сколько бы они ни занимались боксом и сколько бы ни стреляли в тире из спортивного пистолета, одолеть коммунистического монстра было не под силу.

Я нашла себе кредо более мощное и к тому же, как мне представлялось, вполне реализуемое. Оно называлось Азиатская Идея.

Началось всё с девичьего восхищения Чжан Сюэляном, которого все называли Молодым Маршалом. Сейчас этого персонажа китайской гражданской войны в мире почти не помнят, но во времена моей молодости он был излюбленным героем газет, журналов и кинохроник.

Его отец, бывший хунхуз и авантюрист Чжан Цзолин, сумел подчинить своей власти всю Маньчжурию и одно время даже возглавлял всекитайское правительство. Старый Маршал был неотесан, полутрамотен, но своему сыну дал превосходное европейское образование. Наследник маньчжурский — картинный красавец, наркоман, храбрый летчик — чем-то напоминал мне детскую мою любовь, моего израильского принца, который до сих пор иногда, хоть и очень редко, снится мне по ночам.

Это из-за Чжан Сюэляна поступила я на китайское отделение — паназиатизм меня тогда еще не интересовал. Мое увлечение перешло в настоящую влюбленность, когда Молодой Маршал расправил крылья. Произошло это в двадцать восьмом году, когда не стало Чжан Цзолина. Старый лис долго морочил голову двум главным претенден-

там на господство в Китае — большевистской Москве и самурайскому Токио, и в конце концов какой-то из этих сил надоел. Его личный поезд был подорван бомбой, но кто ее подложил, агенты японской разведки или ГПУ, так и осталось неизвестным. В двадцать восемь лет «веселый Питер» (как звали Молодого Маршала западные газеты) оказался правителем огромного региона и главнокомандующим четвертьмиллионной армии.

Превращение плеябоя в вождя было подобно чуду. Мой маньчжурский принц забросил дебоши, излечился от опиумной зависимости, собрал вокруг себя сторонников отца и сделал выбор, на который никак не мог решиться его родитель. В смерти Старого Маршала Чжан Сюэлян обвинил японцев. Двоих сановников из числа своих приближенных, японских агентов влияния, он велел расстрелять прямо у себя во дворце, после банкета. И весь огромный Китай обратил взоры на молодого предводителя, обладавшего столь редким для политиков этой страны даром — решительностью.

Над столом у меня, рядом с фотографией манифестации 5 января, появился еще один снимок: Молодой Маршал в летном шлеме. Вернее сказать, половина снимка, потому что жену моего кумира, красотку Юй Фэнчжи, я отрезала ножницами. Карточки не противоречили друг другу, они обе были из области грез, как любовь Муси Башкирцевой к «герцогу Г».

Однако мое увлечение китайским национализмом и его молодым героем длилось недолго. Я была на четвертом курсе, когда реальность возобладала над фантазией. В сентябре тридцать первого в Маньчжурию вошли японцы, и мой доблестный витязь, даже не вступив в бой, улетел прочь, как лепесток, унесенный бурей.

И всё же меня связывает с предметом моего старинного обожания некая таинственная нить. Когда меня сразил

Анна Борисова VREMENA-GODA

инсульт, Чжан Сюэлян был еще жив. После изгнания из Маньчжурии он стал ближайшим соратником Чан Кай-ши, потом поссорился с генералиссимусом, внезапно взял своего начальника в плен, столь же неожиданно выпустил на свободу и сдался ему сам, а потом полвека просидел под арестом, вывезенный на остров Тайвань.

Полвека под арестом, вероятно, стоят пятнадцать лет в псевдокоме. Хотела бы я знать, жив ли Молодой Маршал сейчас, но в медицинских журналах о нем не пишут. Маловероятно, что жив, ведь он старше меня на четыре года. Хотя всякие чудеса бывают на свете, уж мне ли этого не знать...

Самопроизвольный вираж мысли на несколько секунд выхватывает меня из ресторана «Трокадеро», где я, затягиваясь американской сигаретой, оглядываюсь на свой коротенький жизненный путь. И сила воспоминаний вновь утягивает меня в прошлое.

Сандра вспоминает свое романтическое увлечение принцем-летчиком со снисходительной усмешкой. Она думает, нет, *это уже я думаю*: «Девичьи химеры. Слава богу, я была достаточно взрослой и умной, чтобы за них не цепляться, когда увидела *настоящий свет*».

Настоящий свет, как и заведено природой, воссиял с востока, из Страны, Где Восходит Солнце. Ослепленная его лучами, я пожалела, что четыре года учила китайский, а не японский.

Вот где стальная целеустремленность, нестигаемость воли, спокойное мужество!

Там, куда входили японские войска, как по мановению волшебной палочки, устанавливался идеальный порядок. Воцарился он и в нашем сумбурном городе.

Верховным правителем нового государства Маньчжоу-



Пу И. Править ему помогали японские советники. У нас в Харбине эти перемены большинству пришлось не по нраву, а у меня сразу возникло ощущение, что после стольких лет метаний и хаоса наконец появилась твердая почва под ногами. В движении истории обозначились и цель, и смысл.

Я была чуть ли не первой русской студенткой, добровольно вступившей в Сэхэжуй, Общество Согласия, целью которого было плодотворное сотрудничество всех народов, населявших тридцатимиллионную страну. Потом многие, очень многие стали членами этого политического объединения из карьерных или материальных видов — но не я. Русскоязычная газета «Маньчжурия», в которой я была штатным автором еженедельной колонки (как раз входило в употребление слово «колумнист»), содержалась за правительственный счет и имела репутацию официального органа, однако это меня не смущало. Я хотела быть ангажированной, я гордилась своими убеждениями.

Наш редактор, по происхождению китаец, свободно владевший пятью языками, по-отечески симпатизировал мне и как-то, в минуту откровенности, произнес целую речь, которая произвела на меня изрядное впечатление.

«Да, Маньчжурия — временное, марионеточное государство, не более чем плацдарм для завоевания японцами всего Китая. И очень хорошо, и отлично, — говорил он, иронически улыбаясь. — Пускай самураи нас завоюют, этому не нужно противиться. На самом деле, уступив их петушину наскоку, мы сами их завоюем. Мы, китайцы, утопим их в своем необъятном теле, поглотим своим безбрежным, как океан, духом, растворим в своей великой культуре. Всякий раз, когда Срединная Империя начинала чахнуть, она получала инъекцию свежей варварской крови. Нас завоевали монголы — и где они? Стали китай-

стократия завоевателей породнилась с нашей, наш язык стал их языком, наша культура — их культурой. Мы всех их проглотили и переварили. То же будет и с Японией. Истинный наш враг — Мир Запада. Он нам противоположен во всем. Он сто лет вырывает куски из нашего тела, а теперь через коммунистическую идеологию пытается проникнуть в нашу душу. Без брака с Японией мы в этой великой борьбе не устоим. Поднебесная — великая самка, и она нуждается в сильном самце. Но это самка богомола. Когда ее оплодотворят, она съедает и поглощает своего любовника».

Об этом я сегодня и говорила. Конечно, не о самке, нуждающейся в оплодотворителе, а об исконном противостоянии Востока и Запада.

Молодежный дискуссионный клуб устроил диспут на тему «Будущее человечества», для чего был арендован кинотеатр «Декаданс» на Пристани. Я и прежде много раз присутствовала на ожесточенных ристалищах этого сорта. Писала в газету отчеты, иногда выступала с репликами в прениях. Но сегодня в Обществе Согласия мне предложили быть представительницей от наших. Я и обрадовалась, и испугалась. Не знаю, что больше. «Главное — не готовьтесь, — сказал мне Сабуров. — Ваша стихия — спонтанность». Вот человек, умеющий вернуть такое, что потом голову сломаешь, комплимент это или наоборот.

Кое-что я все-таки подготовила, не очень-то доверяя своей «спонтанности». От моего успеха или провала зависело многое: мое положение в редакции и в ячейке, отношение Сабурова, ну и главное — самоуважение.

Заявленных диспутантов было трое. От комсомольцев говорил Шлиман из Политехнического. У «советских» в Харбине была самая мощная организация, ее поддерживал весь могучий ресурс железной дороги, управлявшейся

из Москвы. Наглядная агитация, листовки, «студенческие буфеты» и «рабочие маевки» — всё делалось и обставлялось с размахом.

И главный их оратор тоже был очень неплох. Взмахивая сжатым кулаком, тряся буйной гривой, сверкая глазами, Шлиман говорил о тотальном кризисе капиталистической экономики, о фантастических успехах пятилетки, о небывалой по масштабам затее — строительстве целого комсомольского города на Амуре. Я сначала вся сжалась, подумав, что с таким оппонентом мне не совладать. Но постепенно Шлиман заразил меня своей страстью и энергией. Талантливые люди всегда пробуждают во мне ответный ток. Если это союзники — я рвусь их поддержать. Если противники — кинуться с ними в бой.

Да, Шлиман был врагом нешуточным. Но прежде, чем я получила слово, пришлось выслушать выступление Лаетцкого, председателя Фашистского движения и, как поговаривали, главу «Союза мушкетеров». Эту полувоензированную организацию официально запретили после того, как она участвовала в боях против Красной Армии, но преследовать «мушкетеров» не преследовали, арестовывать не арестовывали, поэтому особенной конспирацией они себя не утруждали.

Лаетцкий был мне не антагонист, скорее союзник — во всяком случае, попутчик. Наши разногласия находились не в политической, а в идейной сфере. Слушала я вполуха, готовясь к своему выходу.

— Наше движение скоро завоюет всю Европу. Италия уже наша. Скоро нашей станет Германия. За ней Англия и Франция!

Оратор рубил воздух рукой, другая была засунута за ремень. Высокий, стройный, со сверкающим пробором, он был в черной рубашке, белом ромбическом галстуке со свастикой. Лаетцкий недавно закончил юридический фа-

культет, но на службу поступать не спешил. Он был из обеспеченной семьи, президент Теннисного клуба и завсегдатай дансингов. Уж не знаю, как всё это в нем уживалось.

— Кризис, о котором тут толковал жидобольшевистский краснобай... — Свист и крики в «красной» половине зала. Лаецкий повысил голос. — Кризис, которым нас тут стращали, приведет к тому, что скоро и Северо-Американские Штаты качнутся в сторону фашизма! Знаете, в чем коренная разница между двумя ведущими идеями современности, коммунистической и фашистской?

— Расскажи! Просвети! — глумливо кричали комсомольцы.

— Молчать, свиньи! Вашего оратора не перебивали! — орали сидевшие кучей чернорубашечники.

Однако до потасовки дело не дойдет, это я знала по опыту. Раньше случалось, но с приходом японцев полиция в подобных случаях начинала действовать быстро и решительно, беспощадно лупцуя дубинками и таща в кутузку всех без разбора. После окончания диспута, где-нибудь в темном закоулке, самые распалившиеся могли, конечно, перейти от слов к кулакам, а то и кастетам. Но не здесь.

— А ну тихо все! Дайте послушать! — крикнула и я, да свистнула в четыре пальца. Это искусство я освоила еще на родине — единственный общественно полезный навык после учебы в «Общественно-полезной школе № 11», которую я заканчивала, когда развалилась Александринская гимназия.

В зале засмеялись и даже захлопали. Это придало мне храбрости перед выступлением.

— Коммунизм — это общество слабых, где подавляют и даже истребляют всякого сильного, незаурядного человека, — чеканил Лаецкий. — А фашизм — общество, в котором сильные подавляют и истребляют слабых. За на-

шим движением будущее, потому что фашизм соответствует великому закону природы. Мы — племя львов, а не шакалов!

Про сильных и слабых мне понравилось. Про львов и шакалов не очень. Я никогда не любила трескучей фразы и позерства.

Но вот харбинский дуче закончил выступление. Ему огушительно хлопали и гадко улюлюкали.

Настал мой черед.

Я удовлетворенно улыбаюсь, покачиваясь в такт блюзу. Я вспоминаю свое выступление — каждую фразу, каждую паузу. Я хочу сохранить в памяти все детали.

С каким замечательно уверенным и спокойным видом начала я говорить! Будто университетский профессор на лекции. Как дважды два доказала, что и коммунизм, и демократия, и фашизм — в общем-то одного поля ягоды, поскольку все они произросли на тесной грядке под названием «западная цивилизация». Этот истощенный огород продемонстрировал свою бесплодность мировой войной и чередой кровавых революций. Пора нам всем протрезветь и сказать себе про Запад: сему месту быть пусту. Молодежь должна повернуться лицом от заката к восходу. Будущее человечества сегодня куется не на мощеных площадях Европы, а на бескрайних просторах Азии. И кузнецом нового мироустройства станет молодая нация, сильная духом и стальными мускулами. Сначала она поведет за собою главную страну планеты, великий Китай, затем всю Азию. Ее грандиозная историческая миссия — показать миру, что дух и воля сильнее золота и плоти.

Постепенно мой голос делался звучнее. Мне кажется, я говорила сильно и страстно. Может быть, не столь складно, как коммунист Шлиман, но во всяком случае лучше, чем Лаецкий. Кого-нибудь другого смутило бы отсутствие

поддержки зала, поделенного надвое между «черными» и «красными», но меня эта стена отчуждения лишь заряжала силой.

«Я — сильная», думаю я и снова улыбаюсь своему отражению в зеркале.

К тому же в зале сидел Сабуров. Его лицо, как обычно, было непроницаемо, но по блеску глаз я видела, что он взволнован моей речью. Такая поддержка стоила больше, чем большевистская или фашистская клака.

Главный свой козырь я приберегла напоследок. Какая я все-таки умница, что заранее всё просчитала и предугадала!

Когда я закончила свою речь, никто не хлопал. Встал один из шлимановских активистов и стал обвинять меня в двурушничестве. Мол, агитирую за микадо, а сама живу на пенсию, которую выплачивает совучреждение, пользуюсь казенной квартирой и вообще всеми правами обладательницы советского паспорта.

Я была к этому готова и знала, что делать.

Комсомолец еще брызгал слюной и грозил пальцем, а я молча вынула из сумочки красную книжечку и показала ее залу. Выступающий растерянно умолк.

Я громко выкрикнула переиначенные строки из их обожаемого Маяковского:

*Беру, как бомбу, беру, как ежа,
Как бритву обоюдоострую,
Беру, как гремучую в двадцать жал
Змею двухметроворостую...*

Взяла и разорвала «серпасто-молоткастый», а обрывки кинула на пол со словами:

— «Глядите, завидуйте: я — больше не гражданин Советского Союза!»

Что тут началось! Повскакивали все — и «черные», и «красные». Первые устроили мне оваацию, вторые ревели от бешенства и негодования.

Ей-богу, это торжество стоит квартиры и маминой пенсии. «Проживем как-нибудь на мои гонорары, — думаю я. — Буду меньше на тряпье тратить, только и всего».

Здесь Сабуров, до сей минуты молча за мной наблюдавший, делает знак Лаецкому — тот сразу умолкает, и я перестаю смотреть в зеркало. Внутри всё сладко сжимается. Сейчас этот сдержанный, немногословный человек даст свою оценку моему выступлению.

Он, собственно, ее уже дал, когда после диспута пригласил сюда, в «Трокадеро». Обычно мы с Сабуровым встречались в дешевых кафе или простецких японских рестораниках. Приглашение в самый модный и дорогой из харбинских клубов означало, что мои акции пошли резко вверх. Правда, он позвал и Лаецкого, но мне кажется, что я научилась понимать сабуровскую внутреннюю логику. Во-первых, с предводителем «мушкетеров» у них свои давние отношения, и Сабуров не хочет обижать соратника. А во-вторых (эта мысль меня согревает), Сабуров боится слишком решительно сокращать дистанцию, разделяющую его и меня. О, я неплохо научилась понимать этого весьма и весьма непрозрачного мужчину.

Клуб-ресторан «Трокадеро» открылся недавно. Я здесь еще ни разу не была. Говорят, средний счет составляет чуть не сто долларов на человека, я столько не зарабатываю и за неделю. Несмотря на французское название, оставшееся от прежних владельцев, оформление и атмосфера здесь американские. Стены расписаны танцующими неграми и яркими зигзагами, музыка соответствующая, в баре — лучшая в городе коктейль-карта. Я уже выпила два дайкири — впервые в жизни.

Сабуров наклоняется ко мне (раньше он никогда этого не делал) и говорит — нет, не комплименты, которых я ожидала, — кое-что еще более приятное:

— Я теперь буду за вас, Сандра, беспокоиться. Завтра все газеты напишут о том, как вы разорвали советский паспорт. Коминтерновцы вам этого не простят. У этой публики нет никакого понятия о чести, о рыцарском отношении к даме. Я хотел бы приставить к вам охрану...

«Какой он милый, — думаю я, — с этой его старомодной церемонностью. «Рыцарское отношение к даме» — с ума сойти!» С великолепной небрежностью отвечаю:

— Охрана мне не нужна. Я никого не боюсь.

И тут же получаю щелчок по носу, отчего настроение несколько подкисает.

— Я гарантирую, что завтра же вы получите новый паспорт, маньчжурский. Пока эту страну признает только Япония, но скоро всё переменится. Получите вы и другую квартиру, лучше прежней. Кроме того, полагаю, что теперь построчная оплата за ваши статьи возрастет минимум вдвое.

Вот тебе и героиня. Собиралась сделать широкий жест, а вместо этого...

Я опускаю голову. Любоваться собою в зеркале больше не хочется.

Воспользовавшись наступившей паузой, Лаецкий начинает рассказывать (не мне, конечно, — Сабурову) о грандиозных перспективах фашистского движения в Маньчжоу-го. Партия уже существует. Буквально на днях будет объявлено о создании женского движения. В дальнейших планах — копирование удачного опыта большевиков по воспитанию детей и подростков, ибо только дурак не учится у врагов эффективным приемам.

— У них триада «комсомольцы-пионеры-октябрят», а у нас будет «Союз юных фашистов», «Союз фашистских

скаутов» и «Союз фашистских крошек». Сандра не права, когда говорит, что фашизм — порождение декадентской западной культуры. Корни наши арийско-индийские, а у наших японских друзей мы готовы учиться духу бусидо.

Сабуров слушает вроде бы внимательно, даже кивает, но я поминутно чувствую на себе его взгляд, хотя сама отвернулась. Меня уязвило обещание юридической и материальной поддержки. Мог бы сказать об этом позже и как-нибудь поделикатней, чтоб я не чувствовала себя платной рабочей силой. Чего-чего, а тонкости Сабурову не занимать. Если он так поступил, то нарочно. Так мальчишка дергает девочку за косичку, чтоб скрыть свои чувства и чтоб не задавалась. От этой мысли я снова веселею. Очень кстати меняется и музыка. Вместо медленного блюза джаз-банд врезает быстрый чарльстон.

Из-за соседнего столика поднимаются двое, мужчина и женщина, и начинают лихо отплясывать, временами переходя на синхронную чечетку — последний писк моды. Получается здорово, в зале даже хлопают.

Эта компания, состоящая из кавалера и двух дам, еще раньше привлекла мое внимание. Настоящие прожигатели жизни, должно быть, из здешних завсегдатаев. Мужчина сидел к нам спиной, я видела только спину идеально сшитого белого смокинга и набриллиантованные до рояльного блеска черные волосы. Его спутницы были одеты не так, как харбинские модницы. Подобные платья я видела в самоновейшем «Вог», только что поступившем в нашу редакционную библиотеку. Говорили они между собой по-английски. Мужчина рассказывал что-то смешное, слушательницы заливались хохотом. «Oh, come on! You're kidding!»¹ — все время восклицала одна с гнусавым американским дролом. Вторая, очень хорошенькая англича-

¹ Брось! Заливаешь! (англ.)

ночка, повторяла: «Aren't you a swine, Dave!»¹ Она сказала это раз пять или шесть.

Степ на пару с лощеным остроумцем бьет американка. Ее каблучки звонко лупят по инкрустированному паркету, крутые бедра колышутся, согнутые локти торчат, как крылышки ошипанного цыпленка. Кавалер скользит вокруг нее молниеносными зигзагами, стремительно разворачивается вокруг собственной оси, и на сахарных зубах вспыхивает блик отраженного электричества. Где-то я определенно видела эту смазливую физиономию. Может быть, в иллюстрированном журнале? Он похож на киноартиста.

Заметив, что я рассматриваю танцора, Лаецкий цедит:

— Ишь, раскуражился. Это еврейчик из Шанхая. Сын Саула Каннегисера, царя иудейского. Того самого, что владеет «Азиатско-китайским банком». Папаша прислал своего отпрыска возглавить харбинский филиал, а этот знай жирует. Развратил у нас в теннисном клубе всю прислугу своими жидовскими чаевыми. Меньше пятерки не дает.

Давида я узнала за секунду до того, как услышала фамилию «Каннегисер». Брюнет подмигнул партнерше — и я вдруг увидела вокзальную площадь и чубатого подростка, который точно так же подмигнул мне, прежде чем навсегда исчезнуть.

Оказывается, не навсегда?

(Фотография манифестации по-прежнему висела над Сандриным столом. И молитву свою она не забыла. Поэтому что никого предавать нельзя, особенно самое себя. Это я знала всегда, в любом возрасте.)

— Странно вы на него смотрите, — говорит Сабуров. Он наблюдателен, никогда ничего не упускает.

— Мы, кажется, были знакомы. Давно, еще в Петрограде, — отвечаю я.

¹ Ну, ты и свинья, Дейв! (англ.)

Зажмуриваюсь. Трясу головой. Открываю глаза — нет, не снится. Мой беглый принц, ставший еще красивей и элегантней, исполняет танец в честь нашей невероятной встречи.

— Так подойдите к нему, раз знакомы, — предлагает Сабуров. И усмехается. — Ах, извините, я забыл. Благовоспитанные девицы в подобных делах инициативу не проявляют, это неприлично.

Знает, чем меня пронять.

— Сами вы девица, — огрызаюсь я.

Как только заканчивается музыка, я подхожу к Давиду. Он держится за спинку стула — усаживает свою американку. На меня смотрит с вопросительной улыбкой. Вряд ли он помнит смешную гимназистку, подкармливавшую его в голодном Петрограде.

Я собираюсь сказать что-нибудь легкое, небрежное, но сбиваюсь. Его глаза всё того же небывалого оттенка. Я словно проваливаюсь в детство, в сырую и холодную весну, из Сандры снова превращаюсь в маленькую Сашу, которая выдумала себе заколдованного принца.

— Здравствуй...те. Вы меня, наверное, не узнаете...

Вот и всё, что я могу из себя выдавить.

Он высокий, но и я не та, что прежде. Мы стали почти одного роста и смотрим друг на друга глаза в глаза.

— Узнаю. Как не узнать? — Кланяется, скользит взглядом по моей фигуре. — Вы амазонка из «Аркадии». Только зачем-то оделись и спрятали свой лук.

Я думала, что разучилась краснеть, но тут краснею — горячо, мучительно.

В фойе отеля «Аркадия» стоит мраморная скульптура воительницы, натягивающей лук. Амазонка изогнута совершенно невообразимым образом (от одного воспоминания о сеансах у меня немедленно ломит спину) и, ко-

нечно, обнажена. На самом-то деле я позировала в купальнике, это было моим условием, но кроме меня и Ринальди никто об этом не знает.

Когда до нашего дальнего-предального востока докатилась мода на Арт-деко, самая роскошная из харбинских гостиниц затеяла полную редекорацию и выписала из Италии модного скульптора. В поисках натурщицы он обошел пляжи, бассейны, спортивные клубы и на соревнованиях по стрельбе из лука увидал меня.

Эта тысяча долларов досталась мне нелегко. Онемев от напряжения мышц, я стояла на подиуме, заплетенная невообразимым узлом, и угрюмо следила за каждым движением итальянца, готовая дать отпор непристойным домогательствам. Я была наслышана о том, что происходит у художников с натурщицами. Но мое тело интересовало ваятеля лишь в качестве пластического объекта. *(Будь я повзрослей, поумудренней жизненным опытом, я сразу догадалась бы по плавным жестам и медовым модуляциям голоса, что плотские интересы синьора Ринальди устремлены совсем в иную область.)* Со временем на этот счет я успокоилась, однако началась новая мука: ждать дня, когда обновленная «Аркадия» откроется и все увидят Сашу Казначееву голой. В погоне за экспрессией и чувственной силой скульптор расщедрился на гигантские сощы, каких у меня и в помине не было, а лоно амазонки украсил буйными завитками, тоже порождением его художественной фантазии. Надеяться на то, что о прототипе статуи никто не узнает, я не могла. Чертов Ринальди рассказал газетам, что позировала ему «прекрасная харбинка», и даже назвал институт, в котором она, то есть я, учусь.

И вот страшный день настал. Неделю я не решалась появиться на лекциях. Когда же наконец пришла, оказалось, что я стала знаменитостью. На меня приходили посмот-

реть с других факультетов. Я все время ловила на себе взгляды. В мужских читался жадный интерес, в женских — зависть. И мне это понравилось!

До сих пор я страдала из-за того, что не имею поклонников. Вроде бы не уродина: черты лица почти классические, прекрасные волосы, фигура — вообще загляденье, но почему-то никто из соучеников даже не пытался за мной ухаживать. Мать иногда робко говорила: «Сашенька, в тебе совсем нет женственности. Ты бы держалась как-нибудь помягче», но я только фыркала. *(Конечно, мама была права: я отпугивала молодых людей своей резкостью, которая казалась мне оригинальной и стильной, но мужчины, как известно, во все времена предпочитали царственным львицам кротких серн.)* Однако после того, как я ощутила бремя и блеск своей скандальной славы, всё встало на свои места. Я — античная богиня, вот я кто. Ну, не богиня, так амазонка или весталка. Мой удел — вызывать в мужчинах вожделение, но никого к себе не подпускать, оставаться девственной. Что может быть прекрасней?

Думаю, именно тогда я стала из Сашеньки Сандрой и просуществовала в своей великолепной неприступности до двадцати семи лет. Панцирь дал трещину душным июньским вечером, когда я вдруг устыдилась своей мраморной наготы и покраснела.

Конец разговора был скомкан. Я перелистываю эту страницу. В конце концов Давид все-таки вспомнил свою петроградскую подружку. Точней, только одно: как я с визгом накинулась на солдатню.

О чем еще мы говорили в тот первый вечер? Кажется, Давид рассказывал о своих приключениях во время Гражданской войны. Или нет, это было во время второй встречи. Тогда, в «Трокадеро», мы разговаривали очень недолго, только условились завтра встретиться в кафе и «поболтать».

Вторую встречу я тоже перелистываю. Вспоминать ее неинтересно. В том, как Давид со мной держался, ощущалось легкое удивление, и только. Надо же, как забавно! Выскочил кто-то из другой эпохи и другого географического пространства.

Давид был вежлив, за минувшие годы он поднабрался лоска. Ответил на все мои вопросы. Они с «папочкой» (я улыбнулась, когда услышала, что он произносит это слово всё с той же иронической интонацией) добрались с чехами до Хабаровска, а там Давид сбежал, чтоб воевать с красными. Но вместо фронта попал в кадетский корпус. Был там единственным евреем. И то взяли только из-за родства с Леонидом Каннегисером, героическим убийцей чекистского палача Урицкого. «Папочка» смирился, уехал в Америку, а Давид оставался в России до самого конца. Эвакуировался из Владивостока осенью двадцать второго с Сибирской флотилией адмирала Старка. Болтался с нею по морям, пока кто-то (скорее всего папочка) не договорился с шанхайскими властями, чтобы беглецов пустили в порт. На этом «шинельная» жизнь Давида закончилась и началась «смокинговая».

Рассказано всё это было лаконично и небрежно, будто Давид немного стыдился юношеской глупости, обошедшейся в четыре зря потраченных года. Помню, я спросила, пришлось ли ему участвовать в боях. Он наморщил нос и сменил тему разговора. Я и потом не могла добиться от него правды. Думаю, что участвовал, но хотел вычеркнуть это из памяти. Он предпочитал не помнить страшное и вообще неприятное. Как-то ему это удавалось. Придет время, и я тоже начну осваивать непростую науку выборочного забвения, но у меня это будет получаться хуже...

Про меня Давид почти ничего не спрашивал. Ни мое прошлое, ни мое настоящее его не интересовали. Все полчаса, пока мы пили кофе на веранде «Норд-бистро», он не переставая стрелял взглядом на всех мало-мальски хоро-

шеньких женщин, кто проходил мимо нас по Китайской улице. Мое почти классическое лицо, прекрасные волосы и умопомрачительная фигура Давида не привлекали.

Прошло четырнадцать лет, я превратилась из гадкого утенка в античную богиню, а всё осталось по-прежнему. Я была ему не нужна, и теперь не было у меня такого пайка, которым я могла бы прикормить своего легкомысленного принца.

Главная мужская сказка — про спящую царевну, которую нужно разбудить, чтобы она полюбила. Главная женская сказка — про мальчика Кая с заледеневшим сердцем. Я согласна стать Гердой, преодолеть любые испытания и расстояния, чтобы оно оттаяло. Вот о чем я думала, наблюдая, как Давид, сидя со мной, разглядывает других женщин.

Задача была не из простых, но, будь она легкой, возможно, я и не полюбила бы принца. Для начала требовалось добиться одного: чтобы эта встреча не оказалась последней. Я навела Давида на разговор о спорте. Он упомянул о теннисе, и я, изобразив удивление, сказала, что очень люблю эту игру. Он спросил, состою ли я в клубе. Я наврала, что состою, не особенно рискуя. Лаецкий, президент Теннисного клуба, не посмеет мне отказать.

Дальнейшее устроилось само собой. Давид сказал: «Так давай сразимся? Я играю по понедельникам и субботам». Я, внутренне ликуя, пожала плечами: «Ну, хорошо». «В ближайший понедельник?» Заглянув в записную книжку, я с важным видом ответила: «Нет, у меня весь понедельник расписан. Тут и деловое, и личное... Могу в субботу». На том и порешили. Отсрочка мне понадобилась не для того, чтоб изобразить индифферентность. Я никогда не держала в руках ракетки и рассчитывала за неделю хоть чему-то научиться.

План был отчаянный, но не такой уж фантастический. Я была очень спортивной, ловкой, физически выносливой. В свое время, только чтоб преодолеть страх высоты, выучилась за один день неплохо нырять с десятиметровой вышки. А уж тут стимул был таким, что ради него я освоила бы и бокс вкупе с штангой.

В редакции я взяла отгулы. Наняла персонального тренера, чтоб научил двигаться и поставил удар. Мы занимались два раза в день по полтора часа. В остальное время я лупила мячом о стенку и собирала сведения о Давиде — всё, что только можно было выяснить. Здесь мне помогло ремесло. К моим услугам были газетные подшивки, наш корпункт в Шанхае, масса разнообразных знакомых, без которых журналистке существовать невозможно.

Даже странно, что я до сих пор не обратила внимание на фамилию владельца «Азиатско-китайского банка». Пресса писала о нем довольно часто, просто финансово-экономические новости находились вне зоны моего профессионального интереса.

Саул Каннегисер, судя по всему, излечился от временного помешательства, вызванного смертью жены. Либо же нашел своей одержимости практическое применение в сфере бизнеса. Капиталы, переправленные из России перед революцией, пригодились ему в Шанхае, настоящем клондайке для коммерсантов, финансистов и просто спекулянтов. Помогли некогда пугавшему меня чернокнижнику и хорошие связи с еврейскими финансовыми кругами Америки. Созданный Каннегисером-старшим банк стал одним из ведущих посредников между экспортерами и импортерами всего панкитайского региона, от Кореи до Сингапура.

Каннегисер-младший мелькал в шанхайских газетах — и английских, и китайских, и русских — еще чаще, чем его отец, но не на деловой странице, а исключительно в разде-

ле светской хроники. Если случался раут, громкий вернисаж, благотворительный бал, среди гостей обязательно упоминался Давид: «элегантный», «импозантный», «аристократичный», иногда «непременный» или «вездесущий».

Можно было понять банкира, который решил оторвать своего веселого наследника от шанхайской разлюли-малины и приобщить к делу. Бедный «папочка»! Давид и в Харбине не очень утруждал себя работой. Несмотря на то, что у нас он объявился недавно, я обнаружила в наших доморощенных светских новостях немало упоминаний о «светском льве» и «шанхайском миллионере».

Иллюстрированная «Звезда Маньчжурии» давала на последних страницах маленькие фотографии, где были запечатлены именитые гости торжественных или увеселительных мероприятий. Давид сиял своей белозубой улыбкой по меньшей мере на десятке этих гляцевых иконок, обычно в сопровождении какой-нибудь куколки. Каждую из них я изучала внимательно и неторопливо, как командир субмарины запоминает контуры вражеских кораблей, которые ему предстоит отправить на дно. Некоторые из моих соперниц были названы по имени («графиня Инна Берг», «актриса театра и кино Ариадна Северная», «мисс Люсинда Хоббс»), про других, в том числе про американскую чечеточницу, журнал писал просто: «Давид Каннегисер со спутницей». Напивавшись отравой ревности, я снова шла на корт и до остервенения, до темноты в глазах колотила о щит ни в чем не повинным пушистым мячиком.

Хватит, неинтересно. Переворачиваю еще несколько дней-страниц, и вот я уже на корте.

Слепящее солнце, жара. Звонкие удары. Из-за решетки, спрятавшись в тени, наблюдают несколько зрителей. Я, всегда так заботящаяся о том, как смотрюсь со стороны, не обращаю на них внимания.

Давид в белых брюках, я в белой юбке и парусиновых туфлях. Мой лоб перетянут лентой, чтобы пот не попадал в глаза. (*Короткий перехлест настоящего с прошлым, парадокс времени: по моему лицу одновременно стекают две струйки — одна сейчас, и с нею я ничего поделать не могу; другая тоже сейчас, но семьдесят восемь лет назад — ее я легко смахиваю ладонью.*)

Играю я не очень искусно, часто мажу, особенно на подаче, но компенсирую навык быстротой и силой ударов. Давид из-за зноя ленится бегать к далеко падающим мячам, и я начинаю вести в счете.

Лучше всего мне дается форхенд, я вкладываю в него всю мощь своей натренированной тетивой руки и всю накопившуюся злобу. Оказывается, можно любить человека и в то же время трястись от бешеной злобы к нему. Я этого не знала.

Вот тебе актриса театра и кино! Вот тебе Люсинда Хоббс! И про Фанни я не забыла! А это за чечетку! За то, что едва меня вспомнил!

После партии, которую я выиграла со счетом 6:4, мы сидим под большим полосатым зонтом, пьем оранжад со льдом. Я нервничаю — подозреваю, что от меня несет потом. От Давида пахнет сильно, но мне этот запах нравится.

Он по-мальчишески дуется на проигрыш. Говорит:

— Знаешь, в ловких и сильных женщинах есть что-то противоестественное, как в неловких и слабых мужчинах. Вашей сестре очень идет грациозность, но не ловкость. Ты, Сандрочка, настоящая героиня современности, женщина Арт-деко. Ринальди очень точно в тебе это уловил. А мне больше нравятся женщины прежнего времени, эпохи Арт-нуво: беспомощные, слабые и тонкие, будто ирисы.

В жизни не слышала ничего обидней. Хуже всего, что тут ничего не исправишь. Какой из меня ирис?

Я уныло прикидываю, как мне стать беспомощной. Во-первых, надо будет поддаться ему в следующем сете. Во-вторых, поменьше есть, чтоб лицо осунулось. В-третьих...

Пять минут спустя происходит сцена, которая окончательно меня губит в глазах Давида.

Мы идем по аллее назад к корту. Навстречу — Лаецкий, тоже в белом. Из спортивной сумки торчат ракетки, на шее висит полотенце. Видит, с кем я. Суживает глаза.

— Ба-ба-ба, — тянет он противным тенорком. — Так вот для чего нам срочно понадобилось членство в клубе. Я вижу, энтузиастка Дальнего Востока не брезгует и Ближним... Деньги не пахнут, даже если они еврейские?

Давид останавливается. Рассматривает Лаецкого, будто неживой предмет.

— Кто это, Сандрочка?

— Некто Лаецкий. — Я делаю шаг вперед, чувствуя, как во мне закипает кровь. Но стараюсь не сорваться, помню про «слабый ирис». — Не обращай внимания. У него бывают приступы маниакального бреда.

Рука Давида мягко удерживает меня за плечо, отодвигает в сторону.

— А, да. Мне рассказывали про маленького харбинского дуче. На что жалуемся, голубчик? Навязчивые идеи? Безотчетный страх перед евреями? Недержание мочи?

Он очень похоже изображает участливый докторский тон.

Лаецкий вспыхивает.

— Фигляр! Охамел в своем Шанхае! Я тебя научу, как разговаривать с русским дворянином!

Давид вытягивается в струнку, щелкает каблуками.

— Значит, дуэль? Мы будем стреляться? Ах нет, вы же мушкетер. Мы будем биться на шпагах.

И скалит зубы. Ему весело. Я уверена: он не понимает, с кем связывается.

— Дуэль с евреем? — презрительно усмехается Лаецкий. — Больно много чести.

— Я — русский офицер, прапорщик Белой армии. А вы, юноша, — шпак, кусок штатского мяса. Или деремса на дуэли, или я вас просто отшлепаю. Выбирайте.

Теперь Давид изображает уже не доброго доктора, а спесивого офицера. Он не принимает Лаецкого всерьез, фашист в теннисном костюме его забавляет. Я начинаю паниковать. «Союз мушкетеров» — организация отнюдь не опереточная. По слухам, у этих типов на счету есть даже убийства, ни одно из которых так и не раскрыто полицией.

Эту стычку нужно немедленно прекратить! Нужно переориентировать ярость Лаецкого на себя. Уж я потом, с помощью Сабурова, сумею обуздать этого крептина.

(В двадцать семь лет я еще не знаю: когда мужчины пе- тушатся, вмешиваться нельзя — выйдет только хуже.)

В руке у меня чехол с ракеткой. Я резко поворачиваюсь, будто увидела в стороне что-то очень интересное. Деревянный обод моего 13-дюймового «уимблдона» попадает Лаецкому точнехонько по ширинке его белоснежных брюк.

Чудесный сочный звук. Предводитель мушкетеров, угробно рыкнув, хватается за ушибленное место и сгибается пополам.

— Простите, я такая неловкая, — говорю я светским тоном.

— Сука! Жидовская подстилка, — сипит Лаецкий. Лицо у него белое.

Давид замахивается, но удара не наносит — не хочет бить беспомощного. Вместо этого он крепко берет меня за локоть и тащит прочь.

Улыбки больше нет, глаза сверкают.

— Ты опять за свое? Перестань меня защищать! — говорит он сквозь зубы. — Никогда — слышишь, ни-ко-гда больше так не делай, иначе я с тобой раззнакомлюсь!

— Хорошо. Больше не буду, — говорю я кротко и делаю слоновью попытку изобразить милую женскую беспомощность. — Я так испугалась! Уведи меня отсюда.

Вот это ему нравится. Давид покровительственно приобнимает меня за плечи и ведет обедать.

Передо мной открываются новые горизонты. Я провела его! Это оказалось нетрудно!

(Не странно ли? Я всегда — и в молодости, и потом — придавала большое значение уму людей, с которыми общалась, а про Давида и сейчас не знаю, умен он был или нет. Уж во всяком случае не титан мысли. Но это почему-то меня не трогало. Как толстовская Наташа, он не удостаивал быть умным. Само понятие «ум» в его присутствии как-то вдруг утрачивало всю свою важность. Когда я была с Давидом, мне не хотелось умничать. Мне просто хотелось быть с ним. Я словно переставала отбрасывать тень, разомлевала от тепла и света, глупела, разнеживалась и разве что не урчала по-кошачьи. Господи, до чего же мне было с ним хорошо! Если начать рассказывать, если пытаться объяснить, что именно казалось мне таким уж волшебным, ничего не получится. Меня выслушали бы да пожали плечами: ну и что особенного?)

Но мне не нужно никому ничего объяснять. Достаточно на миг открыть любую страничку того июня или июля.)

Например, вот эту.

Всё так же жарко. Мы прокатились по Сунгари на яхте, поднимаемся на причал. Давид подает мне руку. Я, изобржая неловкость и даже неубедительно ойкая, даю вытянуть себя из лодки.

— У тебя ресничка выпала.

Он показывает на мое веко.

— Где?

Пробую ее снять.

— Дай-ка я.

Облизывает палец, легким движением касается моего глаза.

— Елка-елка, не роняй иголки.

От прикосновения я вздрагиваю. Чувствую, что лицо заливается краской. Чтоб не выдать себя, грубо отбрасываю его руку.

Давиду нравится меня дразнить, он смеется.

— Спасибо, что не укусила!

Мое веко пылает, будто влажный палец прижжет кожу огненным тавром.

НАСУШНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА

— Рыбка не спит.

На лицо древней старухи легла рука, ощутила трепет ресниц.

— Рыбка хочет сказку.

Шелест страниц.

Скрипучий голос, без выражения, без интонаций, начинает монотонно читать — со второй строчки. Чтец всегда



пропускает названия статей. Ему категорически не нравится крупный шрифт.

«Речь на открытии Шестого международного благотворительного форума корпоративных спонсоров в Лозанне.

Дамы и господа, многоуважаемые спонсоры. В своем коротком выступлении я намерен суммировать факты, каждый из которых большинству из вас хорошо известен, а также обозначить направления нашей исследовательской деятельности, нуждающиеся в первоочередной поддержке.

Как вам известно, фонд, который я имею честь возглавлять, занимается изучением тяжелого дегенеративного заболевания мозга, которое впервые было описано в 1906 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером и с тех пор носит его имя. Как правило, эта болезнь обнаруживается у людей старше 65 лет, однако в редких случаях она начинается и в более раннем возрасте.

Вплоть до настоящего времени наукой не выявлены причины болезни и механизм ее развития. По сути дела, то, чем занимается практическая медицина в этой области, сводится к аккумулярованию и регистрации сведений о прохождении патологического процесса в каждом конкретном случае.

Известно, что в ходе болезни мозг пациентов подвергается микроскопическим изменениям: в нем образуются внеклеточные отложения протеина, так называемые амилоидные бляшки, и внутриклеточные волокнистые скопления протеина — нейрофибриллярные сплетения. Число нервных клеток уменьшается вследствие их отмирания, передача импульсов от клетки к клетке ослабевает и затем прекращается, поэтому мозг оказывается не в состоянии полноценно функционировать, что разрушительным образом сказывается на личности человека, его поведении и общем состоянии. При этом больше всего оказываются поражены височная и теменная области, а также лобная кора, то есть зоны, ответственные за обучение и память. Поскольку погибшие

нервные клетки не регенерируются, болезнь причисляется к разряду неизлечимых. Всё, на что мы сегодня способны, это замедлить ее течение, о чем я скажу чуть подробнее дальше.

Сначала несколько слов о ходе заболевания.

Оно делится на четыре стадии.

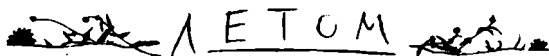
Первая, так называемая «предеменция», прежде всего затрагивает свежие слои памяти и способность воспринимать новую информацию. Человек хуже соображает, утрачивает способность к абстрактному мышлению, делается рассеян и апатичен.

На второй стадии, стадии ранней деменции, способности памяти продолжают деградировать. Встречаются симптомы апраксии, то есть двигательных нарушений, и афазии, то есть нарушения связной речи. Однако больной еще помнит основные факты своей биографии и сохраняет остатки здравого смысла.

На третьей стадии — умеренной деменции — человек начинает путать слова, разучивается читать и писать, перестает узнавать хорошо знакомых людей. Нарушается координация тела. Характерны элементы бреда, ложной самоидентификации. Старики часто уходят из дома и потом не могут вернуться. Исчезают привычки, связанные с соблюдением гигиены и отпращиванием естественных надобностей.

Затем наступает четвертая стадия, этап тяжелой деменции. Речь теряется почти полностью. Наступает тотальная апатия, истощение. Способность к самостоятельным действиям, даже самым элементарным, постепенно утрачивается. Больной уже не встает с кровати. Смерть наступает не в силу развития самой болезни, а из-за посторонних факторов — чаще всего это вызванная неподвижностью пневмония или пролежни.

В среднем с момента постановки диагноза до кончины пациента проходит семь лет, хотя возможны и значительные отклонения в ту и другую стороны. Главным образом это зависит от состояния сердечно-сосудистой и дыхательной системы, ну и, конечно, от условий ухода.



Наш фонд уже много лет ищет и разрабатывает способы если не излечения, то, по крайней мере, приостановки темпов развития этой тяжелой болезни. В ходе конференции наши специалисты расскажут вам о том, что уже сделано и что еще предстоит сделать.

Сначала вы прослушаете доклад профессора Минотти, исследования которого дают основания предполагать, что течение болезни замедляется и смягчается, если пожилые люди своевременно переходят на так называемую средиземноморскую диету, построенную на правильном сочетании фруктов, овощей, оливкового масла, рыбы, крупяных продуктов и красного вина.

Профессор Лайонс провел впечатляющие исследования, в ходе которых было установлено, что люди, владеющие двумя и более языками, менее подвержены болезни. На этом основании профессор разработал систему стимулирования интеллектуальной деятельности пожилых людей: изучение языков, разгадывание шарад и кроссвордов, настольные игры. Для пациентов на стадии предеменции показаны музыкотерапия и арт-терапия, уход за домашними животными и некоторые другие виды общеукрепляющей активности, о которых вы узнаете из доклада.

Еще одному направлению наших поисков будет посвящено выступление профессора Ричардсона, занятого так называемой эмоциональной терапией. Она включает такие разделы, как симуляция присутствия родственников, сенсорная интеграция, аудио- и видеоактивизация воспоминаний, валидационные техники, поддерживающая психотерапия.

Мой соотечественник профессор Ито расскажет об использовании стволовых клеток. Как вам известно, эта методология произвела настоящую революцию в современной медицине. Стволовые клетки, иначе называемые «умными» клетками, аккумулируются в той части нашего тела, которая больше всего нуждается в помощи. Они как бы латают поврежденные ткани, то есть организм ремонтирует сам себя. Использование стволовых клеток для регенерации зон головного мозга — дело

новое, оно только начинает развиваться, но мы все верим в его перспективность.

Присутствующих здесь представителей фармацевтических компаний безусловно заинтересует сообщение профессора Кляйншмидта, много лет занимающегося производством гомеопатических препаратов, которые могли бы замедлить развитие болезни.

Однако в первую очередь я желал бы привлечь ваше внимание к продолжительным исследованиям, проведенным во Франции. Перед вами выступит профессор Менье, группа которого сосредоточила свои усилия на том направлении, которое на сегодняшний день представляется самым логичным: если мы не научились лечить болезнь Альцгеймера, давайте попробуем ее предупреждать посредством широкоохватного раннего диагностирования. Наши французские коллеги установили, что первые симптомы Альцгеймера могут быть выявлены за 10 — 12 лет до активного развития болезни, а это дает медицине шанс вовремя вмешаться. Разработаны специальные тесты: нейропсихологические, биохимические, метаболические. В будущем предлагается подвергать всё население в возрасте 65 лет тотальному тестированию. Эта программа, если внедрять ее в государственных масштабах, потребует колоссальных затрат, но, по моему личному убеждению, именно она сулит наиболее верные результаты.

Кто-то наверняка скажет, что эта идея отдает капитулянтством, что наука таким образом расписывается в своем бессилии перед загадочной болезнью. Что ж, в ходе дискуссий у вас будет возможность высказать критические замечания и, может быть, предложить что-то более конструктивное. Руководство нашего фонда прекрасно сознает трудновыполнимость тотального тестирования. Даже в условиях относительно небольшой страны с хорошо развитой системой социально-медицинского обслуживания и мощными волонтерскими организациями осуществление подобной программы потребует миллиардных вложений. Ни од-

но государство, даже самое богатое, с этой задачей сегодня справиться не в состоянии без поддержки частного спонсорства.

Но и затягивать кардинальное решение этой проблемы человечество не имеет права. В течение ближайших десятилетий болезнь Альцгеймера станет главной заботой стран, в населении которых стремительно увеличивается доля людей пожилого возраста — а это, собственно, все развитые страны планеты.

В настоящее время в них живет примерно миллиард триста миллионов человек, и альцгеймерных больных насчитывается около 28 миллионов. К 2040 году, то есть всего через тридцать лет, по расчету наших специалистов, эта печальная цифра превысит стомиллионный рубеж. Такова обратная сторона борьбы человечества за улучшение качества жизни — за прогресс социального обеспечения, за победу над сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями.

Дамы и господа, вы только вдумайтесь! Получается, что титанические усилия, которые наша цивилизация расходует на социальный и научный прогресс, фактически приводят к постоянному увеличению альцгеймерной популяции! Если сидеть сложа руки, наша цивилизация уже в двадцать первом веке рискует превратиться в огромный дом престарелых, где будут жить только выжившие из ума старики и обслуживающий их персонал, причем процент первых будет постоянно расти, а вторых сокращаться.

Позволю себе аргумент еще более сильный. Если угодно — личный. Я буду говорить не об абстрактном человечестве, а о тех, кто присутствует в этом зале. Да простят меня дамы за невежливость, но большинству из нас за пятьдесят. Это значит, что в 2040 году не кто-нибудь, а именно мы с вами имеем все шансы оказаться среди тех самых ста миллионов. Таким образом, борьба с болезнью Альцгеймера — наша с вами личная проблема. Никто ее за нас не решит. Благодарю за внимание.

Аплодисменты.

Председательствующий: Это был президент Международного фонда борьбы с болезнью Альцгеймера доктор Санада Сабуро.

САНДРА. НАЧАЛО ПУТИ

Пятницу я почти не слушаю. В речи медицинского функционера, которую монотонно читает мой ангел-тюремщик, для меня нет ничего интересного. Общие фразы, расхожие факты. Я начинаю задремывать. Не из упорядоченного хранилища памяти, а из мутного омута сновидений всплывают бессвязные, перепутанные образы. Харбин смешивается с Петроградом, Сунгари с Невой, мелькают расплывчатые лица, доносятся глухие звуки.

Вдруг сквозь невнятный гул отчетливо звучит японское имя: Сабуро. Я так и не поняла, откуда оно возникло. Может быть, его подбросила гаснущему сознанию память — как бросают хворост в затухающий огонь, чтоб он погорел еще. Мой мозг, кажется, не хочет расставаться с летом тридцать второго года. Ну что ж.

Потухший было свет оживает, сонные сумерки отступают. Я не дремлю. Я мысленно повторяю: Сабуро, Сабуро.

Это очень распространенное в Японии имя. Означает «третий сын» — не очень поэтично. Сабуров говорил, что у него отец человек военный, любит простоту. Старшего мальчика назвал Ичиро — «Первый Сын», следующего Джиро — «Второй Сын», ну а он, стало быть, зарегистрирован под номером 3.

Кроме как «Сабуровым» никто из русских его не называл. Он сам так представлялся. Был Сабуро-Сабуров для японца очень высок, с правильным, несколько холодноватым лицом, с не по-азиатски внушительным носом. Всегда вежливый, безукоризненно одетый, не тратящий слов попусту. На визитной карточке по-русски и по-английски написано: «Сабуро Ооз, капитан генерального штаба императорской армии». Он мне объяснял, как переводится его фамилия, даже иероглифами писал, но я забыла. То ли «Большая Река», то ли «Большое Озеро» — в общем, что-

то большое и мокрое. По-русски Сабуров говорил так, что ходили слухи, будто он не японец, а казанский татарин. Но я знала: он потомок старинного самурайского рода, а наш язык выучил еще в детстве. Его отец перед войной служил военным агентом в Петербурге, и Сабуров несколько лет отучился в «Петришуле», куда отдавали своих детей многие иностранные дипломаты.

Думаю, что я была в него почти влюблена, хоть и не хотела себе в этом признаваться. Он меня интриговал, мне нравилось его общество, но свой интерес к Сабурову я объясняла сугубо антропологическими причинами. Он представлялся мне знаменательной личностью, прообразом будущего человечества: носитель японского духа, вооруженный европейским воспитанием и образованием; амфибия, одинаково свободно чувствующая себя на тверди Запада и в водной стихии Востока.

Я намеревалась стать такой же амфибией, для того и учила китайский. Мне нравилось воображать, что Сабуров ко мне неравнодушен и однажды сделает мне предложение. Я, пожалуй, согласилась бы стать его женой и произвести на свет некоторое количество представителей новой евроазиатской расы.

Теперь-то я очень хорошо понимаю, чем на самом деле импонировал Сандре японский офицер. Она наконец встретила мужчину, который не уступал ей силой характера.

Чем капитан Ооэ занимается по роду службы, я точно не знала. Военной формы он никогда не носил, обвясался преимущественно с русскими. Скорее всего, он состоял в оперативном или политическом отделе штаба Квантунской армии и ведал там связями с эмигрантскими кругами, которые могли оказаться полезны его стране. Во всяком случае, в Харбине он был фигурой весьма влиятельной и к тому же окруженной таинственностью. Меня эта аура

притягивала и волновала. Еще очень льстило, что такой человек оказывает мне знаки внимания. Никаких ухаживаний или, того пуще, заигрываний Сабуров себе не позволял. Напротив, был всегда корректен и серьезен, но несколько раз я ловила на себе его интенсивный, словно испытующий взгляд, и мне казалось, что я читаю в нем тщательно скрываемую, сдержанную страсть. Возможно, я и ошибалась — у меня в таких вещах совсем не было опыта. Но несомненно одно: так доверительно, как со мной, он ни с кем из русских не разговаривал — ни с мужчинами, ни с женщинами. Я тоже бывала с ним откровенней, чем с кем бы то ни было.

Когда в моей жизни вновь появился Давид, я перестала гадать, что может означать взгляд, которым время от времени выстреливал в меня Сабуров. О совместном производстве представителей новой расы мечтать я перестала. Мне было удобней считать, что мы просто товарищи, относящиеся друг к другу с симпатией. А товарищ в моем состоянии был мне просто необходим.

Я все время думала о Давиде, и говорить мне хотелось только о нем. Но с кем? Не с мамой же?

Сабуров частенько заглядывал в редакцию. Мы пили кофе, обсуждали новости. И всякий раз получалось, что разговор заходит о Давиде Каннегисере. Сабуров, будто ненароком, спрашивал: «Как там ваш петроградский знакомый?» — и я охотно подхватывала тему.

Тот разговор начался так же. Мы сидели в редакции, возле вентилятора. Пили японский чай — Сабуров утверждал, что это самое лучшее средство от жары.

— Что ваш golden boy? — спросил он. — Всё еще не поняла, что вы самая лучшая женщина в Маньчжоу-го?

— Нет, он туп и слеп. Предпочитает безмозглых вертихвосток. Боюсь, уплывут от меня миллионы.

Я всегда рассказывала о Давиде в комичном ключе, избражала из себя прожженную охотницу за богатым женихом. Мне казалось, что этой шутливостью я очень ловко маскирую свои истинные чувства. Сабуров посмеивался, участвовал в игре, давал советы — будто мы с ним сообщники в этих кознях и в случае успеха он рассчитывает на комиссионные.

— Во всем виноваты вы, — пожаловалась я. — Знакомство с этим субъектом я возобновила по вашей милости. Сколько денег я трачу на наряды, на косметику, и всё впустую. Вот заставляю вас возместить мои расходы!

Сабуров смиренно склонил голову:

— Представьте счет, и он будет оплачен.

— Зачем вы только заставили меня подойти к нему, — вздохнула я. Это прозвучало менее шутливо, чем мне хотелось бы.

Вдруг японец перестал улыбаться. Лицо, всегда такое спокойное, задергалось, отражая какую-то внутреннюю борьбу. Я замолчала, глядя на собеседника с удивлением. Таким я его никогда не видела.

— Всё, больше не могу. Стыдно, — отрывисто произнес Сабуров и опустил голову. — Мне часто приходится манипулировать людьми, использовать их в качестве слепых инструментов для достижения тех или иных целей. Но с вами, Сандра, я так поступать не хочу. Прости-те меня.

— Простить? За что?

(Я сама не заметила, как память переключилась в другой регистр. Я уже не вспоминаю разговор с Сабуровым — я перенеслась в прошлое.) Жужжит вентилятор, волны нагретого воздуха шевелят мне челку. Желтоватая кожа японца чуть лоснится от испарины.

— Я нарочно спровоцировал вас вступить в контакт с Каннегисером, — говорит Сабуров. Его длинные пальцы

нервно поглаживают поверхность стола. — Как только вы сказали, что давно знакомы с ним, включилась профессиональная хватка...

Он поднимает лицо, бросает на меня взгляд исподлобья — тот самый, прежний. Не могу сказать, что взгляд оставляет меня равнодушной. Внутри будто теплеет. Но не так, как раньше, — слабее. И потом, что такое «теплеет»? Я думаю, по инерции еще не выйдя из иронического настроения: «Если бы так посмотрел Давид, со мной случилось бы самовозгорание».

— Вы подтолкнули меня к Давиду специально? Я заметила, что вы все время о нем расспрашиваете... — На самом деле я только сейчас это припоминаю. — Зачем?

Сабуров долго молчит, отведя глаза. Потом, как это часто с ним бывает, начинает говорить о другом, будто я не задавала никакого вопроса. Но я знаю эту его манеру и слушаю очень внимательно.

— Нас скоро ждут большие перемены. Всех нас. — Он делает кругообразный жест. — Маньчжурию, Харбин, русских, меня. То, что я вам сейчас расскажу, относится к категории «совершенно секретно». Но я вам доверяю. Мы ведь единомышленники? — Дождавшись моего кивка, он продолжает: — Через месяц будет назначен новый командующий Квантунской армией, он же чрезвычайный и полномочный посол в Маньчжурии. Это генерал Муту, мой учитель, покровитель, благодетель — то, что по-японски называется *ониси*. Его превосходительство — человек масштабного мышления и отличный знаток России. С таким начальником я смогу осуществить свои замыслы, имея мощную поддержку сверху...

— Рада за вас и вашу карьеру, — вставляю я, потому что Сабуров снова умолкает.

Нетерпеливый жест.

— Дело не в карьере. Тот, кто слишком заботится о продвижении по службе, высоко не поднимется. Я хочу быть одним из тех, кто делает историю.

Это сказано так спокойно, с таким достоинством, что у меня замирает дыхание. На какое-то мгновение даже становится жалко, что я полюбила не Сабурова. Но сердцу, увы, не прикажешь.

— Какая связь между деланием истории и Давидом Каннегисером? — тихо спрашиваю я. — Он ведь просто попрыгунья-стрекоза, как из басни Крылова.

Мне на ум приходит другой образ: уайльдовский Счастливейший Принц, но я нарочно снижаю уровень аллюзии.

— Думаю, вы его не раскусили, он совсем не стрекоза. К тому же дело не в нем, а в его отце, Сауле Каннегисере. По нашим данным, этот банкир принадлежит к узкому кругу очень влиятельных лиц, с которыми нам нужно установить доверительный контакт. Единственный человек, кто может оказать на Саула Каннегисера эмоциональное воздействие, это его сын. Мне нужно было, чтобы вы поружились с Каннегисером-младшим, и вам это удалось. Теперь вы должны сделать так, чтобы он отнесся ко мне без предубеждения. Не как к представителю японской армии, а как к вашему другу. Мы ведь с вами не только единомышленники, но и друзья?

Сабуров улыбается — обаятельно, немного смущенно.

«Милый, — думаю я. — Серьезный, масштабный и очень милый. Ну почему я такая дура?»

— Понимаете, Сандра, мне поручено дело огромного значения, выходящее далеко за рамки маньчжурского региона. Существует один проект, он носит кодовое название «План Фугу». Вы слышали про рыбу фугу? Она очень вкусна, но, если не уметь ее готовить, можно отравиться. Яд фугу смертелен, противоядия не существует. Ужаснее всего, что человек сохраняет ясное сознание до последне-

го мгновения, но ничего не может сделать. Происходит полный паралич всех мышц, смерть наступает от медленного удушья... Блюдо, которое мы хотим приготовить, такое же опасное. И такое же вкусное.

— Я не понимаю. О чем вы?

— О мировом еврействе, — отвечает Сабуров, в его узких глазах вспыхивают азартные огоньки.

Он говорит долго и увлеченно. Сначала я слушаю с недоверчивой улыбкой. Мне всё кажется, что Сабуров шутит, морочит мне голову.

(Переворачиваю эту страницу, не дочитав ее до конца. Всё равно на следующей будет повтор. Мне придется выслушать эту речь снова, и со второго раза она уже не покажется мне безумной. Сдержанная страстность, звучащая в голосе Сабурова, придает всей фантастической схеме какую-то поразительную убедительность. В конце концов, все по-настоящему грандиозные затеи в начале казались сумасшествием.)

Следующий день. Летнее кафе на берегу Сунгари.

Мы втроем. Сабуров в русской рубашке с расшитым воротом. Давид в льняном костюме и элегантной белой панаме. Над нашими головами шелестят крылья огромного электрического веера-дракона, но всё равно очень жарко. Я в новом сарафане чудесного японского шелка. Мне приятно, что, несмотря на величественную серьезность беседы, мужчины поглядывают на мои загорелые плечи. Но это, конечно, ерунда и задевает лишь краешек моего сознания. Главное чувство, которое меня переполняет, — гордость. Я присутствую при встрече, которая, возможно, станет исторической.

— ..Один из нервных узлов нашего века — так называемый еврейский вопрос, — говорит Сабуров то, что я уже слышала вчера, но слова подбирает другие. Вероятно, дела-

ет коррекцию на главного слушателя. Обычно немногословный, японец может быть, если понадобится, весьма красноречивым. — Могущество еврейской компоненты в современной цивилизации продемонстрировано эпохальными событиями последних лет. Главная антисемитская держава Россия разрушена и сегодня слита с Коминтерном — организацией, в руководстве которой преобладают евреи. Финасово-промышленный капитал ведущей мировой экономики, американской, в значительной степени тоже еврейский. Но значит ли это, что ваш клан одержал окончательную победу?

Давид благовоспитанно внимает, на риторические вопросы вроде этого задумчиво сдвигает брови, а иногда, наоборот, приподнимает их в утливом удивлении. Прямо юный лорд Фаунтлерой.

— Нет, не значит, — сам себе отвечает Сабуров. — В Германии ваша Веймарская республика терпит явный крах. Очень скоро к власти там придут ваши враги. Очень сильны антисемитские настроения и в большинстве других европейских стран. Наши аналитики утверждают, что еврейскому народу предстоят тяжелые испытания. Возможно, даже новый экзодус. Куда же устремятся миллионы ашкеназов? Кто их примет? Кто придет им на помощь?

На лице Давида отражается приличествующая вопросу печаль. Он вздыхает, пожимает плечами.

— Такой народ есть, — торжественно объявляет Сабуров. — Это мы, японцы. У нас нет и никогда не было антисемитизма. А кроме того, мы умеем быть благодарными. Это качество считается у нас главной человеческой добродетелью. Мы помним, как в трудную для нас годину, во время войны с Россией, еврейские магнаты Америки выделили нам кредит на двести миллионов долларов, помогли с оружием и снабжением. Великий император Мейдзи наградил большого друга Японии мистера Якова

Шиффа Орденом Священного Сокровища и Орденом Восходящего Солнца второго класса. Никогда еще иностранец не удостоивался такой чести. Мы уважаем евреев за стойкость, упорство, целеустремленность — это те самые качества, которые свойственны и нам, японцам.

Тут Давид слегка расправляет плечи, кидает на меня взгляд искоса. Как, мол, смотрюсь я стойким, упорным и целеустремленным? Я хмурюсь, призывая его быть посерьезнее. Неужели непонятно, до какой степени всё это важно?

Сабуров продолжает чуть охрипшим от волнения голосом:

— На кого еще надеяться евреям, когда у них начнутся проблемы в Европе? Американцы пустят к себе лишь горстку самых богатых. Англичане не позволят евреям переселиться в Палестину, это поссорит Британскую империю с арабами. Быть может, вы надеетесь на Советский Союз?

Давид решительно помотал головой.

— И правильно делаете. По нашим сведениям, в советской верхушке идет упорная борьба кавказской группировки с еврейской, и последняя проигрывает. Нам стало известно, что Сталин задумал переправить значительную часть еврейской популяции подальше из центра — на Дальний Восток, где будет учреждена специальная автономия с центром в Биробиджане. Но если уж отправляться на Дальний Восток, то лучше не на ту, а на эту сторону. Мы, японцы, только что создали новую страну Маньчжоуго. Она богата ресурсами, землями, мало заселена. Возможности для инвестиций и развития безграничны. Мое правительство даст евреям гарантии и привилегии. Только представьте себе, какие перспективы откроются для ваших предпринимателей, если они создадут в этом регионе свою базу! Речь ведь идет не только о Маньчжурии. С этого плацдарма мы станем управлять Китаем, а впоследст-

вии и всей восточной Азией. Без еврейского капитала такую махину нам не поднять. А вы без нашего покровительства обречены на тяжкие потери и жертвы. Твердость самурайского меча мы соединим с мягким путем еврейского экономического завоевания. «Всё куплю, — сказала злато. Всё возьму, — сказал булат». Вместе мы купим всё, что не сможем взять, и возьмем всё, что нельзя купить. Поговорите с отцом, господин Каннегисер. Подготовьте его. Я вылетчу в Шанхай для встречи в любое удобное ему время. Точнее, мы с вами полетим вместе. Я предлагаю вам долгосрочный союз. На первом этапе без содействия вашего отца мы, конечно, не обойдемся. Но он стар, а мы с вами молоды. Завтрашний мир будет принадлежать не его поколению, а нашему.

Концовка речи особенно эффектна, она производит на меня сильное впечатление. Взволнованно смотрю я на Давида: что он скажет?

Но он молчит.

— Что вы об этом думаете? — спрашивает Сабуров после паузы. — Или вам нужно время для размышлений?

— А, так вы закончили? — Давид манит кельнера. — Нет, спасибо, времени для размышлений мне не нужно. Чутьё это всё, господин Ооз. Выкиньте из головы.

И подошедшему официанту, с лучезарной улыбкой:

— Как всегда. Белый martini с содовой, ломтик лимона и четыре кусочка льда.

У Сабурова дергается угол рта. Один раз я уже видела эту мимическую гримасу — мое сердце съеживается от страха.

Это было весной. Я засиделась в редакции, сдавая номер. Мы с Сабуровым договорились вместе поужинать, но ему пришлось долго ждать. Когда мы наконец вышли на улицу, там уже почти не осталось прохожих.

Он сказал, что знает одну славную лапшевню, которая открыта допоздна, но это далековато, на самой набережной.

С Новгородной улицы, где находилась редакция, мы прошли до Полицейской. За универмагом «Марушо» свернули в переулок, где горели неоновые огни кабаков и красные фонари азиатских питейных заведений. Из одного, покачиваясь, вышли два здорово набравшихся японских унтер-офицера.

Первый уставился на меня снизу вверх, щелкнул языком и что-то сказал. Второй зашелся сильным хохотом курильщика, перешедшим в кашель. Вероятно, шутка касалась моих статей и была похабная. Я догадалась об этом по реакции Сабурова.

Он произнес какую-то короткую, свистящую фразу. Военные презрительно оглядели штатского пижона в шляпе. Сильный плюнул ему под ноги густой желтой слюной и замахнулся. У Сабурова коротко и бешено прыгнул край рта. Я даже толком не разглядела, что именно он сделал. Просто два раза дернулся, будто в судороге, и оба пьянчуги повалились — один ничком, другой навзничь.

— Идем отсюда! — вскрикнула я.

— Минуту...

Он наклонился над бесчувственными телами, порывлся в карманах, вынул удостоверение личности.

— Мне очень жаль, Сандра, но я не смогу вас сопровождать, — мрачно сказал Сабуров, не глядя на меня. — Я должен сдать этих негодяев патрулю. Они позорят императорскую армию. Приношу свои извинения. Мне очень стыдно.

Вспомнив это инцидент, я жду, что оскорбленный небрежностью Давида Сабуров сейчас на него накинется. Я даже приподнимаюсь на стуле, готовая броситься на защиту.

Но Сабуров — сама сдержанность.

— Чуть так чуть, — говорит он ровным голосом. — До свидания. Мне пора идти.

Встает, кланяется только мне. Поворачивается, уходит.

Я накидываюсь на Давида:

— Ты с ума сошел?! С ним нельзя так разговаривать!

— А как еще с ним, идиотом, разговаривать? Ты тоже хороша. «Ах, капитан Ооз, такой титанический ум, такой важный разговор!» Бред, белая горячка. — Давид пожимает плечами. — Начитались, стратеги японские, всякой белиберды. Знаешь, все, кто свихнулся на еврейской теме, неисправимые романтики. Что антисемиты, что сионисты, что талмудисты. Ах, евреи всех ужасней! Нет, евреи всех прекрасней! Они погубят мир! Нет, они спасут мир! А на самом деле евреи такие же болваны, как все остальные. Папочка им представляется членом всемогущего Си-недриона! Ну не анекдот? Да он за лишний процент при-были любого конкурента загрызет, будь тот хоть сто раз еврей. И все банкиры такие же — иначе не выживешь. Ка-питал, Сандорчка, национальности не имеет. Запиши мысль, дарю. — Он важно поднял палец и подмигнул. — А Якова Шиффа, который «священное сокровище», я в Нью-Йорке видел. Смешной такой старичок, всё хвастается, как он царю Николашке за кишиневский погром отомстил.

— Ты бы эту речь не мне, а капитану Ооз произнес, — говорю я сердито. — Он совсем не идиот, он бы понял. А так только зря обидел человека.

— Какой он человек? Так, междометие одно. Ооооз. Кожа от апельсина. Мерси.

(Последнее не мне — официанту, за принесенный коктейль.)

Я удивляюсь столь странному определению:

— Почему кожа?

— У японцев национальная болезнь: мундир так прирастает к коже, что заменяет ее. Нет мундира — нет человека. Ты можешь представить себе это твоё междометие в отрыве от секретных заданий и капитанского звания, просто человеком? О том и речь. Кожура есть, а апельсина внутри нет...

Хочу возразить, заступиться за Сабурова, но молчу. А действительно, что он за человек — на самом деле? Понятия не имею.

(Такое потом случится еще не раз. Давид подчас умел видеть людей и события проще и сфокусированней, чем я. Его взгляд словно бы не отвлекался на второстепенности, различал главное. Эта способность была не рационального, а интуитивного свойства. Только что, сию минуту, мне пришла в голову мысль, которую я оставляю на потом, для долгого, обстоятельного обдумывания. Возможно, Давид был мужчиной с женским складом души, а я — женщиной с психоэмоциональным устройством мужчины. Если так, это разъяснило бы многое.)

Еще один важный день того лета.

Так и вижу перед собой страничку отрывного календаря харбинского издательства «Луч» — я только что оторвала предыдущую. На черно-белой картинке всадник с черным крестом на белой тунике.

26 июля, пятница. Годовщина основания крестоносцами Иерусалимского королевства. День поминовения священномучеников Панкратия и Кирилла.

Сегодня день рождения Давида, ему исполняется двадцать девять лет. Я приглашена на банкет в Яхт-клуб — с «джаз-раутом», лодочным катанием и барбекю (новая американская мода), вечером будет китайский фейерверк. В приглашении написано: «Наряд неформальный,

открытые плечи и спины у дам приветствуются, по случаю адова пекла рекомендуется захватить купальник».

Стою в новом белом купальнике перед зеркалом, мрачно себя разглядываю. У меня умопомрачительная фигура (я язвительно бормочу: «умо-по-мра-чительная»), я божественно плаваю, феерически ныряю с вышки. На фоне худосочных, бледнокожих подружек Давида я буду смотреться богиней. В разговоре на всякую мало-мальски содержательную тему я любую из этих кукол заткну за пояс. И все же надеяться мне не на что. С половиной дамочек, которые придут его сегодня поздравить, он успел «прокрутить романчик» — легкий, взаимоприятный, без обязательств и обид. Я знаю это от самого Давида, он всё мне рассказывает. Потоварищески. Потому что у него, видите ли, «любовниц много, а настоящий друг только один». Когда он мне это повторяет, я готова разреваться. Или расцарапать его смазливую физиономию.

Вчера мы сидели в коктейль-баре гостиницы «Аркадия», и он вдруг говорит: «Слушай, Сандринелла, я никогда тебя не спрашиваю, а что у тебя с любовниками? Сейчас у тебя никого нет, это видно. А раньше? — Подмигнул. — Не удивлюсь, если ты девица. Признайся, самоуверенная Сандра, предводительница амазонок, ты нетронутый цветок? — Расхохотался, очень довольный моей реакцией. — Нет, право, это было бы комично! Признавайся, мы же друзья!»

Я изобразила презрительную усмешку.

— Шутишь? Мне двадцать семь лет. Просто, в отличие от тебя, я своими романами не хвастаюсь.

Очень кстати, что мы зашли выпить «мартини» именно в «Аркадию». Это дало мне возможность выразительно покоситься на обнаженную с луком.

— Ах да, я забыл про итальянского казанову, — хлопнул себя по лбу Давид и заговорил про другое.

Но я со вчерашнего дня хожу пришибленная и ужасно, невыносимо страдаю. Ночью я почти не спала. Чертова девственность терзала меня, казалась постыдной инвалидностью. Будь у меня такая возможность, отдалась бы первому встречному!

Нет, в самом деле, какой позор! Мне уже *двадцать семь лет*, а не нашлось ни одного мужчины, который польстился бы на мои так называемые прелести...

(Никогда не понимала, как могут люди ностальгировать по своей молодости и умиляться ей. Вспоминая себя в том возрасте, я чаще всего чувствую досаду, а бывает, что и жгучий стыд. Такое ощущение, словно в *тринадцать лет* я — это еще не я, а *десятая часть* меня; в *двадцать семь* — максимум *четвертинка*. Даже пребывая в нынешнем беспомощном положении, я лучше и больше, чем была *двадцать, сорок или, того паче, восемьдесят лет* назад. Иначе, по-моему, и не может быть. Чего стоит человек, если, двигаясь по жизни, он становится хуже, слабее, неинтересней?)

У меня идея. Такая шальная, сумасшедшая, что я от нее будто пьянею.

Не пойду я в Яхт-клуб любоваться, как он целуется со своими шалавами. Я сделаю ему отличный подарок ко дню рождения: избавлюсь от проклятого «цветка», который Давиду всё равно не нужен. Может быть, тогда во мне что-то изменится, Давид это почувствует, и у нас всё пойдет по-другому.

Есть человек, который относится ко мне всерьез — в том числе и как к женщине. Он-то мне и нужен.

Сабуров живет на углу Аптекарской, занимает номер «люкс» в гостинице «Токио», куда обычных постояльцев не селят — только важных гостей из Японии и Синьцзи-на, столицы Маньчжоу-го. У входа нужно сказать, к кому

идешь. Но портье с выправкой кадрового военного меня хорошо знает. Да, говорит он, господин Ооэ у себя. Я вижу, как рука в белой перчатке тянется к телефонной трубке, и быстро избегаю на второй этаж. Хочу, чтобы мое появление стало для Сабурова сюрпризом.

Меня не удивляет, что поздним утром, в двенадцатом часу, он у себя. Гостиничный номер — его рабочее место: и кабинет, и приемная.

Когда, коротко, по-свойски, стукнув костяшками пальцев в дверь, я вхожу, капитан еще только тянет руку к звонящему телефону. Я знаю эту его привычку: он никогда не отвечает сразу, а некоторое время ждет, как если бы по сигналу можно было определить, кто именно его вызывает. Правда, аппаратов на столе два: черный и коричневый, и когда звонит коричневый, трубка снимается сразу. Я несколько раз при этом присутствовала, но разговор неизменно шел на японском. Черный телефон — обычный, гостиничный. Увидев меня, Сабуров опускает руку и перестает обращать на него внимание.

— Сандра? — говорит он, хмурясь. — Что-то случилось?

Голос официальный, но это меня не остановит. Просто Сабуров не один, у него посетитель. Некто с соломенными волосами и того же цвета запорожскими усами, но глаза татарские — припухлые и раскосые. Странный тип, но я встречала здесь субъектов и почуднее.

Судя по поведению косоглазого запорожца, это невелика шишка. Сразу вскакивает, делает несколько шагов назад.

— После закончим, — роняет Сабуров, не повернув головы, и человек, поклонившись, моментально исчезает.

— Что это за Тарас Бульба? — спрашиваю я.

Знаю, что Сабуров ответит уклончиво, да мне, собственно, и нет дела до его таинственных агентов. Просто я тяну время. Мне вдруг становится страшно.

— О чем вы? Здесь никого не было. Вам померещилось.

Улыбается, но взгляд настороженный. Почувствовал во мне нечто особенное.

И я, как с десятиметровой вышки в воду, бросаюсь головой вниз.

— Слушайте, Сабуров. Не знаю, как вам, а мне эти игры надоели. Хватит страстных взглядов исподтишка, недомолвок и недосказанностей. Мы живем не в девятнадцатом веке, я не тургеневская барышня. Я молода и красива. Вы тоже. Нас давно тянет друг к другу. Так, может быть, перестанем ханжить?

Как и в прыжке, страшно только в момент отрыва и в секунду полета. Потом обжигающее соприкосновение с водой и чувство облегчения, свободы.

Самое трудное позади. Всё сказано. Мне больше не стыдно. Я хочу только одного: чтобы с его лица исчезла настороженность, чтобы он сжал меня в объятьях, и всё уже поскорее произошло. Пусть я наконец стану настоящей женщиной. И тогда моя жизнь пойдет иначе.

Но Сабуров молчит, не сводя с меня глаз. Что-то в них мелькает. Но не страсть, что-то горькое и печальное.

— Неправда, — говорит он. — Вас ко мне больше не тянет. Вы влюбились в своего «золотого мальчика». А ко мне пришли, чтобы ему досадить. Наверное, поссорились или еще что-нибудь.

Невероятно — на ресницах нестигаемого самурая что-то блеснуло! Он сердито, кулаком, смахивает слезинку.

— Уходите, пожалуйста. Вы делаете мне больно.

И вот здесь стыд обрушивается на меня всею своей жаркой и влажной тяжестью. Всклипнув, я поворачиваюсь и выбегаю.

«Дурак, какой дурак!» — бормочу я, спускаясь по лестнице.

Это я не про Сабурова, а про Давида. Сам ты кожура от апельсина! Пустая яркая погремушка. Вот Сабуров — это

человек. Господи, почему я такая идиотка? Нет-нет, хватит. С ним нужно расставаться. Вопрос ребром. Нынче же. Пускай уж всё сразу...

Я решаю, что все-таки отправляюсь в Яхт-клуб и объяснюсь с Давидом начистоту. Благородство Сабурова меня не столько тронуло, сколько уязвило. Девственница *malgré soi!*¹

Мне хочется испытать чашу унижения до дна. Сегодня самый позорный день моей жизни! Сердце рвется от жалости к себе. Даже нравится воображать, какая я буду отверженная, всеми изгнанная.

Зато честная. И свободная.

Я скажу Давиду всю правду! Если он пустышка, пусть катится к дьяволу. А если он оценит мою смелость, то...

Но об этом я себе думать не позволяю, чтобы не сбиться со стези мученичества.

(В самом деле, какая же я была идиотка! Вечно лезла напролом, припирала к стенке, требовала немедленного ответа. Слопиха в фарфоровой лавке. И добро б крушила посуду, а то ведь сама вся изранилась острыми осколками.

И ничем дура не поможешь, ничего не изменишь...)

В Яхт-клуб я приезжаю вечером, когда основное веселье уже позади. Мне нужно залучить именинника для разговора наедине, а для этого потребна темнота.

На набережной много зевак, которые пришли полюбоваться фейерверком, послушать джаз, поглазеть через ограду на танцующий бомонд.

Мое имя в списке приглашенных. Прохожу в ворота, провожаемая завистливыми взглядами. По белой дощатой дорожке ступаю, словно по эшафоту.

¹ Поневолe (фр.).

В небе с треском раскрывается многоцветный зонт, за ним второй, третий. Начинается фейерверк.

Отовсюду радостные крики. Поверхность реки вся в радужной ряби.

Вон он. Стоит с высоким бокалом, болтает сразу с тремя дамами. У одной к прическе приделан султан из перьев («как у цирковой лошади», думаю я). Другая с очень низким декольте. Третья стоит так, что я вижу только спину, обнаженную чуть не до ягодиц.

— Давид, могу я с тобой поговорить?

Вижу, что он слегка пьян. Счастливое у него свойство: быстро хмелеет, но потом, сколько ни пьет, остается на одном и том же градусе.

Мне он рад, это я чувствую.

— Наконец-то! Я уж думал, не придешь. В редакции застряла? А где подарок?

Он ведет меня под руку к берегу, где пришвартованы лодки и яхты.

Залпы салюта грохочут один за другим, и все ракеты разные, без повторов. Небо то желтеет, то зеленеет, то алеет. Иногда это россыпь звезд, иногда причудливый цветок, а то вдруг мерцающая змея.

— С подарком не вышло. Поставщик подвел... — криво улыбаюсь я. — Я хочу тебе сказать кое-что важное. Где бы нам уединиться, чтоб не мешали?

— Где-где — на воде, — весело отвечает он в рифму.

Мы садимся в шлюпку. Она белая, Давид тоже во всем белом. А я оделась в черное — это траур по моей жизни. Наверное, со стороны кажется, что Давид в лодке один и разговаривает сам с собой.

На веслах катаются многие. После жаркого дня на воде свежо, прохладно. Отовсюду смех, голоса. Кто-то прихватил с собой патефон. Вертинский картаво поет мою любимую песню про Бал Господень:

*...Но однажды сбылись мечты сумасшедшие.
Платье было надето. Фиалки цвели.
И какие-то люди, за вами пришедшие,
В катафалке по городу вас повезли.*

Разноцветные вспышки озаряют реку так часто, что в промежутках глаза не успевают свыкнуться с темнотой. То слепнешь, то жмуришься от ярких сполохов.

— Отплывем подальше, — прошу я.

Шлюпка движется к середине. Мы удаляемся от зоны всеобщего веселья. Теперь лодки проплывают мимо нас реже, и это не гости Давида, а просто публика. Катания по Сунгари в эту жаркую пору очень популярны, особенно у местных китайцев. Их суденышки красивее европейских — с резными носами, бумажными фонарями, затейливыми кабинками.

Я опускаю кисть руки в маслянисто поблескивающую воду. «Выпалаю всё, да и в омут головой», мрачно думаю я.

Жалуюсь:

— Господи, они перестанут когда-нибудь палить? Невозможно говорить!

Он смеется:

— Перестанут, но нескоро. Я заказал 290 залпов, по десять за каждый год моей жизни. Лупят каждые 15 секунд, значит, эта война в Крыму будет продолжаться... Сколько же это...

— Больше часа. Ладно. Поговорим под аккомпанемент.

«Шикарный антураж для самого паршивого дня моей жизни», думаю я.

(Бедная дуручка Сандра, она даже не представляет, что ее ждет, — но я-то это знаю, и мне с каждой секундой всё страшнее.)

Я произношу приготовленный текст. С вызовом, отрывисто — приноравливаюсь не столько к перерывам в

трескотне салюта, сколько к четвертьминутным периодам темноты, милосердно прячущей ошеломленное лицо Давида.

(Побыстрей проскочить этот эпизод, даже сейчас вспоминать его мне мучительно. В любви Сандра признается таким тоном, будто обвиняет или угрожает.)

Из мрака выпячивается какая-то зловещая черная хариба. Вспышка — это всего лишь Солнечный остров. Днем там тоже купаются и загорают, но сейчас он темн и пустынен, пляжные ресторанчики по вечерам не работают. Далеко же отнесло нас от набережной течением.

Давида моя атака застала врасплох. Он испуган. Его растерянно мигающие глаза, его молчание подтверждают, что чуда не случится.

— Что ты сжался? — бросаю я. — Не бойся, я тебя не изнасилую. И топиться не стану. Я ведь не барышня Артнуво, сам говорил. И всё, закончим на этом. Просто гребь к берегу, а то нас к Затону утащит.

Впервые я вижу Давида смущенным.

— Сандра, Сашенька... Я никак не мог предположить... — лепечет он самым жалким образом. — Мы же с детства... Я никогда не смотрел на наши отношения в этом смысле ...

— Не смотрел — и не смотри! Помалкивай и гребь, или ты выбился из сил? Давай тогда я.

(Господи, не женщина, а бульдозер! Спасибо, что весла насильно не отобрала.)

Давид разворачивает шлюпку. Из темноты прямо на нас движется длинная китайская лодка, на носу и на корме у нее фонарики, но они не горят.

— Эй, осторожно! — кричу.

Мне чудится, будто кто-то глухо по-русски говорит. «Вот он!» Может быть, посышалось.

Вместо того чтобы свернуть, лодка прёт прямо на нас. На корме силуэт рулевого в круглой шапочке.

— Куда? Столкнемся! — сердито обращаюсь я к нему по-китайски. Пьяный он, что ли?

Вдруг хруст. В наш борт впиваются крючья.

Рывок.

Качнуло — я чуть не падаю с сиденья.

Рывок — наша шляпка оказывается борт о борт с джонкой.

Четыре черные руки тянутся к белеющему во мраке Давиду. Хватают его за плечо, за одежду. Легко, будто мешок соломы, выдергивают со скамейки, переволакивают на ту сторону. Шляпка накреняется, я снова чуть не падаю, но уже в другую сторону.

Я кричу, но мой голос заглушен очередным залпом.

При карнавальном свете желто-красных ракет я вижу две белые брючины, торчащие кверху, — Давид пытается сопротивляться, бьет одного из черных людей ботинком в голову, но наваливаются другие. Их целая гурьба. Я вижу, как на Давида что-то натягивают. Кажется, мешок. В джонке надстройка в виде маленького павильона: четыре шеста, матерчатый полог. Просвечивает силуэт какого-то человека в кепи. Он неподвижен.

— На помощь! — ору я во все горло, когда эхо салюта стихает. — Бандиты!

По реке мой вопль разносится далеко, но на берегу тоже орут, там всем весело.

Свет меркнет.

Шляпка прыгает на волнах.

Кто-то сел напротив меня.

В мою грудь больно тыкается твердая палка. Я хватаюсь за нее рукой.

Это не палка. Длинное дуло пистолета или револьвера.

Негромкий голос говорит с сильным китайским акцентом:

— Твоя кличи — моя стаеляй, вода кидай. Никто не слушай, думай лакета.

Он прав. На выстрел никто не обратит внимания.

Убьет!

И Давида не спасу.

— На.

Китаец тянет мне что-то маленькое, квадратное, белое.

Механически беру.

Сложенный листок бумаги.

— Бумазька папа давай.

— Что?

В джонке возня, мычание, хрипы. Кажется, Давиду заткнули рот кляпом.

Новая вспышка, на сей раз бело-зеленая.

Передо мной сидит сухощавый мужчина в темном френче. Лицо не закрыто — обычное китайское лицо, немолодое, очень спокойное.

— Бумазька папа давай, — повторяет человек и показывает на кучу-малу в джонке. — Его папа давай.

— Что? — переспрашиваю я. — Вы кто? Что вам нужно?

— Дула. Глупая дула. Мы хунхуз. Бумазька папа давай. Поняла?

Это хунхузы! Они хотят получить за Давида выкуп! Со мной разговаривает их главарь. В руке у него «маузер». Я читала, что у бандитов «маузеры» очень ценятся, это у них признак высокого ранга.

Сунгари погружается в тьму.

— Поняла, дула?

— Поняла...

Хунхуз поднимается, легко перешагивает в соседнюю лодку. Крючья отцепляются. Я немедленно вскакиваю, но повелительный окрик заставляет меня сесть.

Когда ночь озаряется в следующий раз — в небе разлетается на ломтики несколько огромных апельсинов, — джонка уже в десятке метров от меня. Оранжево-черная, она быстро уходит.

Хватаюсь за весла, отчаянно гребу к пристани.

Кричу что есть мочи:

— На помощь! Давида похитили хунхузы! На помощь!

С середины реки доносится рокот. Это на джонке включили двигатель. Во время следующего залпа ее уже не видно.

Меня слышали. На причале толпятся люди.

Да что толку? Похитители уже далеко. И потом, кто же погонится ночью за вооруженными до зубов хунхузами? Уж во всяком случае не гости Давида Каннегисера.

Хунхузы. У нас в Маньчжурии детей пугали не Бабой-Ягой или серым волчком. «Придет хунхуз, утащит тебя за Сунтари», — говорили шалунам. Наверное, так же в древней Руси страшали малышей злым татарином или половцем.

红朝丁, «хунхуцзы», по-китайски означает «красно-бородый». Вероятно, из-за того, что в традиционной опере борода красного цвета является атрибутом злодея. Еще я где-то читала, будто первые хунхузы нарочно красили свои бороды хной, чтобы люди больше боялись.

Шайки бродячих разбойников расплодились на диких и относительно безлюдных просторах северо-востока во второй половине девятнадцатого века, когда Цинская империя пришла в упадок и каждый губернатор обзавелся собственным войском. Солдат частенько вербовали насильно, не платили жалованья, плохо кормили, и те бежали на волю, прихватив с собою оружие. Когда в Заамурье

пришли русские, хунхузов было так много, что против них пришлось посылать регулярные войска. Знаменитая Охранная стража КВЖД была создана прежде всего для защиты от туземных бандитов. Они нападали на поезда, грабили пароходы, опустошали целые селения.

Пока в Харбине властвовал грозный генерал Хорват, нападать на русские владения хунхузы не осмеливались. Но кроме кочевых шаяк появились хунхузы городские, они промышляли контрабандной торговлей, наркотиками, похищали или облагали данью китайских купцов. Эта преступная сеть существовала во всех дальневосточных городах, где имелись китайские кварталы. Русских бандиты не трогали, боялись уголовной полиции, которая при Хорвате работала, как часы. Правда, внутренними конфликтами «туземного населения» сыщики не интересовались, и это дало городским хунхузам возможность пересидеть трудные годы. После 1920 года, когда «Счастливая Хорватия» приказала долго жить, а Охранную стражу и уголовную полицию распустили, для разбойников наступило золотое время.

В степях и лесах Северной Маньчжурии появились многочисленные банды. Наша газета, имевшая доступ к официальной информации, писала, что общая их численность составляет не менее ста тысяч человек.

Всякий поезд, пароход, автомобильный или гужевой караван рисковал быть ограбленным. Если полиции удавалось схватить преступников, их безжалостно казнили, но положение лучше не становилось. Единственной силой, которой боялись налетчики, были японцы. Поэтому подданных микадо хунхузы не трогали, и новые хозяева страны, как в свое время хорватовская полиция, не считала «краснобородых» серьезной проблемой.

Зато у русских иммунитет кончился. Чуть не каждую неделю пресса сообщала о новом похищении. Иногда

пленников отпускали быстро — если выкуп вносился без промедления. Но бывало, что переговоры тянулись месяцами, и тогда все с ужасом читали об отрезанных ушах и пальцах, которые доставлялись по почте несговорчивым родственникам. Бывало и так, что похищенных убивали — для остротки, в наущение упрямым.

Дальше несколько страниц в книге моей памяти будто забрызганы черными чернилами, я могу восстановить лишь отдельные строки. Еще это похоже на много раз склеенную, прыгающую кинолентку. Несколько дней я находилась в полусумасшедшем состоянии, в самом настоящем помрачении рассудка. Ни минуты не сидела на месте. Не ела, не спала. Весь этот первый, самый страшный период моей июльско-августовской эпопеи слился в один вязкий ком непрекращающегося кошмара.

Вот я в полиции.

Обшарпанное помещение, половина отделена низкой деревянной перегородкой. На стене портрет молодого человека в очках — это верховный правитель. Инспектор изучает бумажку, которую сунул мне человек с «маузером». Там написано: «300 000. Слово» — и только.

— О-о-о, какая сумма. — Чиновник почтительно качает головой. По-русски он говорит примерно так же, как главарь хунхузов, поэтому охотно переходит на китайский. — Триста тысяч юаней! Обычно вымогают две, три тысячи. Больше двадцати тысяч еще не бывало. Слово явно знает, что с господина Каннегисера-старшего можно взять много больше.

— Кто знает? — переспросила я.

Чиновник-китаец удивлен. Как, госпожа не слышала про шайку, главарь которой носит прозвище Слово? Но

ведь это самый опасный из харбинских преступников. Он всеведущ и совершенно неуловим.

Нет, я мало что знаю про городских хунхузов. Я никогда не занималась полицейской хроникой и даже не заглядывала в раздел уголовных происшествий.

— «Слово»? Почему такая странная кличка?

Обычно предводители хунхузов именуют себя как-нибудь грозно и цветисто: Черный Дракон, Безжалостный Меч, Ядовитое Жало.

— Потому что этот человек всегда держит слово. Не было случая, чтобы он убил жертву, за которую внесен выкуп. Но зато у него строгие правила. Если деньги не уплачены в течение месяца, он присылает семье палец. Через две недели ухо. Еще неделю спустя подбрасывает к дверям отрезанную голову. И никогда не торгуется. Слово очень хорошо знает, кто сколько может заплатить.

Контора харбинского отделения «Китайско-азиатского банка».

Заместитель Давида господин Гурвич был поднят среди ночи. В кабинете управляющего есть междугородная связь. Мы пытаемся связаться с Саулом Каннегисером.

Я знаю, что по-настоящему делами филиала ведает Гурвич. Вероятно, в его обязанности также входит докладывать «папочке» о том, как ведет себя непутевый наследник. Во всяком случае, шестизначный номер заместитель называет телефонистке по памяти. Звонок должен раздаться прямо в спальне у банкира.

Мы ждем. Трубка трясется в руке у низенького, лысого Гурвича. В другой руке трепещет бумажка с требованием выкупа.

— Господин директор, прошу извинения за беспокойство, но у нас... несчастье.

Перед страшным словом заместитель сглатывает.

Даже с расстояния в несколько шагов я слышу доносящиеся с того конца крики. И могу разобрать два слова: «мой мальчик». У меня течет из носа. За эти несколько часов я столько раз плакала, что заработала хронический насморк и совершенно огнусадела.

— Нет-нет, Давид Саулович жив! Как вы могли подумать?! — переходит на полуплач-полукрик и Гурвич. — С ним всё в порядке... То есть, не совсем всё в порядке... Видите ли, его похитили хунхузы. Требуют выкуп. Триста тысяч. Китайских долларов. Что?

Он дует в трубку, трясет ею, несколько раз повторяет: «Алло! Алло!»

Разъединилось.

Не менее получаса мы пробуем вновь связаться с Шанхаем. Наконец кто-то отвечает.

— Дворецкий, — шепчет мне Гурвич. — Это харбинское отделение, Соломон Гурвич. Я бы хотел... Что? Что?!

Он умолкает, хлопает глазами, на лбу выступают капли пота.

— В чем дело? Дайте я сама с ним поговорю!

— Господина Каннегисера хватил удар. Домашний доктор подозревает тяжелый инсульт, — растерянно говорит мне заместитель. — Им не до нас. Боже, боже, что будет?

— Выпишите триста тысяч и передайте бандитам! Для банка это не сумма!

— Это невозможно...

— Почему?!

— Вы не знаете нашей системы. Списание сколько-нибудь значительной суммы, тем более выдача ее наличными допускаются только по санкции директора. Такой у нашего банка устав.

У меня полное ощущение, что я разговариваю с умопомешанным.

— Банк ведь принадлежит Каннегисерам?

— Формально нет. Совету акционеров. И устав могут изменить только они.

— Так соберите их! И пусть изменяют!

— Не выйдет. Девяносто процентов акций контролирует Саул Каннегисер, а он без сознания. Придется подождать.

— Чего?! Чего вы хотите ждать? Пока хунхузы начнут резать Давида на куски?

Гурвич устало трет глаза.

— Одно из двух. Или господин директор придет в себя и подпишет распоряжение. Или... или он скончается. Тогда в права наследства автоматически вступает Давид Саулович. Он выпишет господину Слово чек, и всё устроится.

Всё еще ночь.

Вестибюль гостиницы «Токио». Дежурит ночной портье — с такой же, как у дневного, выправкой. Он тоже меня знает, но пропустить отказывается.

— Господин Ооз вечером уехал.

— Куда? — Я хватаюсь за голову. На Сабурова была моя последняя надежда. — Когда он вернется?

— Не могу знать. Сказал, что отбывает в срочную командировку и вернется нескоро.

Обессиленно падаю в кресло. Больше сделать ничего нельзя. Только названивать в Шанхайскую клинику — как там «папочка». Не очнулся ли, не умер ли? Всё равно — лишь бы скорее.

Следующий день.

Редакция. С тридцатой или пятидесятой попытки я прозвонила главного врача Американского Госпиталя в Шанхае.

— ..Ситуация тяжелая, но стабильная, мисс, — рокошет в трубке приятный бас. — Непосредственной опасности

для жизни мистера Каннегисера я не вижу. Он находится в коме. Мы делаем всё возможное, чтобы вывести больного из этого состояния. Не беспокойтесь, мисс, наше неврологическое отделение оборудовано самым превосходным образом.

— Что такое «кома»? — спрашиваю я дрожащим голосом. — Сколько это может продолжаться?

(Доктор начинает объяснять Сандре значение этого термина, не столь давно появившегося в медицинском обиходе, но я отправляю свою память дальше. Про кому я знаю побольше, чем врач 1932 года.)

Четвертый день после похищения.

«Папочка» всё в том же положении, в госпитале объясняют, что это может продолжаться недели, даже месяцы. Точного прогноза сделать нельзя. Про несчастье с мистером Каннегисером-джуниором они знают, всё понимают, о малейшем изменении в состоянии больного немедленно меня известят.

От бессонницы, истощения и горя у меня начинаются галлюцинации.

Вот одна из них.

Я стою в редакции, у окна, с телефонной трубкой в руке. Смотрю на залитую солнцем улицу. Идут люди, едут машины. Около светофора остановился «форд». Вдруг автомобиль превращается в джонку, кабина — в надпалубный павильончик на четырех шестах. Колышется ткань, рассыпается фейерверк. Я вижу неподвижный силуэт в кепи.

Хунхузы не носят кепи! Все они были одеты по-китайски: в куртки, крутые шапочки, а главарь — в темный френч, в каких ходят важные маньчжурские начальники.

И как я могла забыть, что перед самым столкновением чей-то голос на джонке сказал по-русски: «Вот он»?

За пологом сидел кто-то, знающий Давида в лицо!
Но кто?

Я бешено тру веки. И вдруг вижу силуэт спрятавшегося человека с невероятной отчетливостью. Я поняла, кто это! По осанке, по посадке головы — сама не ведаю как — я его узнала. *(Возможности эйдетической памяти Сандре пока неизвестны, но в состоянии стресса, обостренного длительной депривацией сна, мозг способен проделывать еще и не такие фокусы.)*

Сомнений у меня нет, ни малейших. Схватив сумочку, я бегу к двери.

Я подстерегла его у дома на Мостовой улице, где находится бюро РФП, Российской фашистской партии.

Лаецкий в кожаной куртке, клетчатых галифе, крагах. На голове кепи, тоже клетчатое. То самое или точно такое же!

— Я всё знаю. Я видела вас в джонке. — Вместо крика у меня получается какое-то змеиное шипение. Меня душит бешеная ненависть. — Ваша карта бита!

(Господи, откуда, из какого кино или бульварного романа, выдернула я эту дурацкую фразу, которую в реальной жизни никто никогда не употребляет?)

Главным доказательством, фактически признанием становится то, что Лаецкий нисколько не удивлен. Он смотрит на меня с презрительной усмешкой, натягивая перчатку с широким раструбом. Станный для жаркого дня наряд объясняется просто: у подъезда стоит мотоцикл, Лаецкий помимо тенниса увлекается еще и мотоспортом.

— Вы меня в чем-то обвиняете, мадемуазель? — Он задает этот вопрос, предварительно оглядевшись. Свидетелей нет, можно особенно не актерствовать, поэтому усмешка становится шире. — В чем же?

— Это вы устроили похищение Давида! Вы были с хунхузами в лодке!

Ярость начинает уступать место растерянности. Я не понимаю, почему он нисколько не испуган, даже не встревожен.

Светлые, наглые глаза глядят на меня с явным торжеством.

— Уверены? Имеете улики? Тогда бегите в полицию. Или ступайте к вашему обожателю Сабурову. Поделитесь с ним своими стрррашными подозрениями. А меня от мелодраматических сцен избавьте.

Вот в чем дело, наконец соображаю я. Он знает, что маньчжурская полиция ничего делать не будет. Все говорят, что она часто действует в доле с похитителями. А про отъезд Сабурова мерзавцу известно. Он наверняка нарочно подгадал момент, когда Сабуров уедет в длительную командировку. Потому и спокоен.

— Если с головы Давида упадет хоть волос, я пристрелю тебя, как крысу, — задыхаясь шиплю я.

(Еще одна идиотская фраза из кинематографического репертуара. Ах, Сандра-Сандра, разве так нужно было с ним разговаривать? Он негодяй, но не трус, и ты это отлично знаешь.)

Лаецкий небрежно отодвигает меня в сторону. Надевает мотоциклетные очки и становится похож на большую стрекозу с оторванными крыльями.

— Нашла чем пугать, истеричка. Я в боевые рейды за Амур ходил, чекистских пуль не боялся...

Лающий треск мотора, облако бензинового чада. Я остаюсь одна, беспомощно сжимаю кулаки.

К Лаецкому я помчалась, совсем потеряв голову от безнадёжности. Сама не знаю, на что рассчитывала. Если похищение действительно организовал он, я лишь побудила его

принять дополнительные меры предосторожности, подчистить следы. Хуже того: очень вероятно, что этим безумным поступком я создала дополнительную угрозу для Давида.

Мною двигало отчаяние.

Когда стало ясно, что выкуп за пленника вносить некому, я испытала смутное чувство, которое затруднилась бы перевести в слова.

На поверхности был страх за Давида, это понятно. Но где-то внизу, в топком, придонном иле души, шевельнулось нечто иное.

Едва слышный бесстыжий шепоток прошелестел: «Теперь его никто не спасет, кроме тебя. Ты одна можешь это сделать. И ты это сделаешь. Он будет всем тебе обязан. И тогда...»

В ужасе я велела шепотку умолкнуть. Я не стала его слушать. Да, я спасу Давида. Не знаю, как и какой ценой, но спасу. А после этого отпущу на все четыре стороны, мне ничего от него не нужно! Уж во всяком случае любви по долгу благодарности. Пускай живет себе бессмысленным пустоцветом, без меня, лишь бы жил!

Я уже очень давно ни о чем толком не разговаривала с мамой, ибо о чем же беседовать с человеком, вся жизнь которого в прошлом, а все интересы сводятся к уходу за палисадником? Но теперь, опять-таки из отчаяния, бессонными ночами я стала изливать маме душу. Больше было некому.

Я говорила про свою бездарную любовь. Говорила про истязания, которым Давида сейчас подвергают звери-хунхузы. Говорила, что, если его убьют, я тоже жить не стану, я последую за ним не только на край, но и за *край* света.

Мама пугалась, причитала, рыдала вместе со мной. Но, как ни странно, именно она дала дельный совет.

— Раз его отец не может дать денег, нужно собрать самим. У твоего Давида много состоятельных знакомых. Ор-

ганизуи подписку. Они дадут. Они ведь знают, что Каннегисеры очень богаты и за ними не пропадет.

На следующий же день я объехала весь Харбин. У меня имелся список гостей, приглашенных к Давиду на день рождения.

Я взывала к состраданию, умоляла, убеждала. Меня сочувственно слушали. Были люди, разводившие руками и говорившие, что при всем желании не обладают средствами. Многие соглашались дать небольшую сумму — пятьдесят или сто долларов. Некоторые давали много — тысячу или две. Я понимала: трудно требовать от людей большего. Что, если хунхузы выкуп возьмут, а пленника все-таки убьют? В твердость обещания, данного каким-то разбойником, какая бы там ни была у этого Слова репутация, никто особенно не верил.

И все же к исходу моего паломничества составилсЯ длинный список готовых помочь. Например, Гурвич пообещал отдать все свои сбережения, двадцать одну тысячу.

Дома я долго сводила цифирь, считала столбиком. Мама перепроверяла.

Увы, набралось чуть-чуть за сто тысяч. Мало!

Я завывала. Слез у меня больше не было.

— Конечно, конечно... — повторяла я.

И снова мама оказалась разумней меня.

— Меньше, чем они требуют, но все равно очень много. Нужно с ними вступить в переговоры. Поторговаться.

— Я же тебе говорила: Слово никогда не торгуется!

— Нужно объяснить ему ситуацию. Попробовать. Так он получит сто тысяч, а так — ничего.

И я вцепилась в эту идею. Я готова была хвататься за любую соломинку, делать что угодно — лишь бы не метаться в четырех стенах.

В ту ночь впервые мне удалось уснуть.

Короткий, не имеющий особенного значения эпизод. Он выплывает всего на несколько секунд, обрывком без начала и конца.

— Мадама...

Оборачиваюсь.

Молодой китаец в ватной куртке, жара ему нипочем.

— Слово плислала. Говоли.

Немигающий взгляд сощуренных карих глаз. В них ни тени тревоги. Хунхуз не боится, что я позову полицейского, хотя тот стоит в двадцати шагах, регулирует движение на шумном стыке Диагональной и Китайской улиц.

Я напряжена, но не слишком удивлена. Мой редактор, с которым я вчера советовалась, как бы мне выйти на контакт с похитителями, сказал: «Идите в полицию, расскажите там об этом». Так я и сделала. Тот же самый инспектор, который в свое время рассказал мне о Слове, цокает головой, отговаривает меня связываться с разбойниками. Я ушла — и вот, на следующий же день, посреди людной улицы, меня окликают.

У меня нет уверенности, что человек в ватной куртке хорошо понимает по-русски, и я объясняю по-китайски: про болезнь банкира, про сто тысяч. Прошу передать все это «господину Слово».

Китаец качает головой.

— Нет. Один раз уступим, все начнут торговаться. Ищи триста тысяч. Не найдешь — через две недели пришлем палец. Если старик не очнется, пришлем тебе. Где ты живешь, знаем. А соберешь триста тысяч, дай знать.

— Как? Кому? — упавшим голосом спрашиваю я, ошарашенная столь быстрым и сокрушительным провалом моего плана.

Может быть, все же схватить его за рукав и позвать на помощь?

Нет, только Давида погублю..

— Пришлешь телеграмму. На Центральный телеграф. До востребования, Чао Фэну. Передадут.

Дома, с мамой.

— Сашенька, я кое-что разузнала. Поговорила с людьми, порасспрашивала. Помнишь, весной у Кондратьевых похитили старшего мальчика, а потом вернули?

— Помню, и что с того? — Я мрачно гляжу в пол. — Там требовали тысячу юаней.

— Для Кондратьевых и тысяча — огромные деньги. Софья Андреевна мне под большим секретом сказала, что сначала с них требовали две тысячи, а это для них совсем неподъем. Но через каких-то знакомых их свели с одним слепым китайцем, и он уговорил хунхузов сбить цену. Это какой-то старик, пользующийся у них большим авторитетом.

— Слово не станет снижать цену, — всё так же уныло говорю я.

— А попробовать все-таки можно. Ты же знаешь китайцев. Все деликатные дела у них решаются через посредников. Напрямую хунхузы могут сказать «нет», а через посредника — другое дело. Софья Андреевна отказалась мне дать адрес старика. Если б, говорит, для вашего родственника, а так не могу. Обещание с нее какое-то взяли. Но, думаю, если ты попросишь ее как следует...

Я пробуждаюсь к жизни. Бежать, просить, действовать — это лучше, чем сидеть и киснуть.

Даю себе передышку, медлю. Как гурман, не торопящийся приступить к изысканному блюду, не спешу переворачивать страницу.

Долгое, слезливое объяснение с мадам Кондратьевой вспоминать не буду. Кажется, в конце концов я сломила ее

сопротивление тем, что бухнулась на колени. Мне было всё равно, как я выгляжу со стороны и что обо мне подумают. Прежняя гордая Сандра будто стала совсем другим человеком.

Мне называют адрес в Фуцзядне. И имя, для китайца странное: Иван Иванович.

Вот первый шаг на пути, который сделал меня тем, что я есть.

Скрип двери. Шаги. Голоса. Я вынуждена отложить книгу. Не такая это глава, чтобы отвлекаться на внешние раздражители.

ВЕРА, НИКА

— Не старайся, он не ответит. Она тем более, — сказала Вера, когда Берзин во второй раз, повысив голос, произнес «бонжур». — Пойдем к окну.

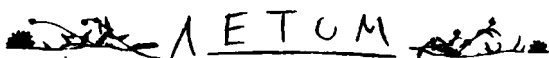
— Она понятно, а он-то чего? Глухонемой, что ли?

Слава недовольно смотрел на Эмэна, неподвижно сидевшего возле кровати.

— Он аутист. Я тебе рассказывала. Ты пропускаешь мимо ушей всё, что не представляет для тебя практического интереса.

В разговоре с Берзиным она моментально впадала в брюзгливый, раздраженный тон. Если не опустиниваться иголками, по-ежиному, не держать оборону, капиталистический хищник слопает и не поперхнется. Так Вера сама себе объясняла свою реакцию на работодателя.

Расслабляться с ним было нельзя. Вмиг заморочит голову, опутает шелковыми сетями, запрет в золотую клетку — сама не заметишь, как превратилась в типаж, всегда вызывавший у Веры отвращение.



На свете полно лоснящихся от сладкой жизни чиновников от филантропии, которые тратят на собственное содержание, на всякие балы с банкетамы больше, чем на дело, которому обязаны служить. Так, к сожалению, функционирует большинство богатых благотворительных фондов — особенно в нашей стране.

Была тут история с самолетом.

У Берзина, как положено мультимиллионеру, имелся собственный джет. Для предпринимателя такого уровня это не роскошь, а средство передвижения, тут никаких вопросов. Слава гонял на своем «фальконе» по всему континенту. Две-три тысячи верст для него не околица. Пару раз прилетал и в Нормандию. На несколько часов, поговорить. Вот как сегодня.

А что такого? В семь утра выехал из дому. В одиннадцать по французскому времени сел на местном аэродроме. В полдень приехал в мезон. «Порешает проблемы» — и обратно, потому что вечером у него еще деловой ужин.

Ладно, это нормально. Но в прошлом месяце он вдруг позвонил утром и говорит: «Срочно прилетай, сегодня вечером пробы в Останкине. У телевизионщиков вечно пожар».

Она стала объяснять, что это нереально. Пока она соберется, пока доедет до Парижа, да будут ли еще билеты на ближайший рейс. «Не булькай, — оборвал ее Берзин. — Паспорт в зубы, и дуй в Сен-Гатьен. Джет уже в воздухе, скоро сядет».

Сен-Гатьен — это местный аэродром, полчаса от мезона на машине.

В самолете Вера вся измучилась. Со всех сторон миллионерские прибамбасы: водяной матрас для релаксации, массажное кресло, стол с компьютером, а больше всего напрягала персональная стюардесса, поминутно опекавшая единственную пассажирку. Какой сок вам выжать?

Шторку не прикрыть? Одеяльце предпочитаете кашемировое или мохеровое? Вот женские журналы, специально для вас. Яичко желаете пашот или кокотт?

Вышла из самолета Вера уже на взводе. И совсем взбеленилась, когда берзинский лимузин доставил ее не в офис, а в Третьяковский проезд, где дорогие бутики. Там ее уже поджидал работодатель.

— У нас полтора часа, чтоб тебя приодеть, — с ходу заявил он, как обычно, не здороваясь. — Лицо Фонда, а выглядишь чучелом. Блин, на какой помойке ты эту рубашку нашла?

Тут-то она ему и выдала по первое число, за всё сразу: и за водяной матрас, и за пашот с кокоттом. Даже не стала заезжать домой, чтобы поменять байковую рубашку на свитер, как собиралась. Из принципа.

И на смотрах телевизионных вела себя по-волчьи. Если говорили: встаньте вот так — не вставала. Говорили: ну улыбнитесь же — не улыбалась, саботировала.

В итоге ее даже не позвали на беседу с продюсером, Берзин объяснялся там без Веры. Когда ехали из Останкино, она сказала, что ни в каком шоу участвовать не будет, и баста. Не для нее это. Разругались в дым.

— Ладно, езжай в аэропорт, лети в свою Нормандию. Остудись там, подумай, — в конце концов сказал Слава, поглядев на часы. — Пособачились бы еще, но у меня встреча.

Даже ссориться с ним было тяжело. Не человек, а хронометр с турбийоном.

— На твоём не полечу, — отрезала Вера. — Что им, потом еще обратно порожними возвращаться? Позвони своей Яне, пусть возьмет мне билет на обычный рейс. И чтоб никаких бизнес-классов.

— Ёлки, ты же президент Фонда! Тебе нужно марку держать! Ноблесс оближ! Думаешь, мне самому по душе

все эти навороты? — Он обвел рукой салон «майбаха». — В России живем! У нас по одежке и встречают, и провожают!

— Во-первых, «навороты» тебе по душе. А во-вторых, если у человека профессия — помогать несчастным, то нечего демонстрировать всем вокруг, как у тебя жизнь удалась. Это и пошло, и глупо! — Вера всё больше заводилась. — И знаешь что, Славочка, «мерседес» свой забери обратно. Когда вернусь, выделишь мне тачку попроще. Знаешь, бывают такие, как в армии, цвета хаки, с полным приводом. Мне в самый раз будет.

Берзин уставился на нее. Она думала, сейчас опять заведет вечную песню: мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи, и всё такое прочее.

Не угадала.

— А что? В этом есть фишка, — задумчиво молвил хозяин жизни. — Всё-таки я в тебе не ошибся. Есть у тебя, Коробейщикова, чутье на стиль. Знаешь, что мне продюсер сказал? У тебя, представь себе, интересный имидж «суровая искренность» и чумовой прикид. Это мнение профи. Ему видней, чем мне. И насчет тачки идея супер. Заставка для телешоу: Доктор Вера спешит на помощь. Ты в клетчатой хламиде и бандане фигачишь, как доктор Айболит, по колдобинам за рулем сраного «уазика» спасать старичье в какой-нибудь Говнопамперск. Кул! Опять же поддержка отечественного автомобилестроителя, это сейчас в тему. Я закажу спецэкземпляр. Движок поставят нормальный, всю начинку поменяют, сделают нормальный салон, подушки безопасности, полный тюнинг. По бабкам это, конечно, выйдет сильно круче «мерина», но понты дороже денег.

В общем, Берзин был неисправим и неизлечим.

Хоть Вера и старалась держаться с ним как можно суше, старушки из мезона не сомневались, что у стажерки с

молодым человеком «отношения». Сколько она ни отпиралась, не помогало. Только подмигивали: «Э-э, дочка, глупенькая ты еще. Такой солидный мужчина не станет попусту тратить время на полеты к финтифлюшке. Какие-такие важные дела у вас могут быть?» О берзинском суперпроекте бабушки не знали, поэтому переубедить их было невозможно. Да и зачем переубеждать? Краткие наезды Берзина вносили в небогатый на события мирок «Времен года» оживление, а в Вериной судьбе население мезона, особенно его женская, то есть основная часть принимала живейшее участие.

Контакты с «гостями» у стажера Коробейщиковой установились самые душевные — за исключением Долорес Ивановны. С ней всякая душевность исключалась, потому что у этой, прости Господи, старухи Шапокляк на почве витцельзухт-синдрома душа полностью дистрофировала.

Конечно, работать здесь было труднее, чем в обычном домвете. Там все тебе рады, каждое твое появление — дар и праздник, а здешние старики в большинстве своем очень много о себе понимают и относятся к персоналу как к обслуге. Но ведь так, в сущности, и должно быть. Старые люди имеют право важничать и принимать заботу как должное. Они находятся на заслуженном покое после долгой жизни, проведенной в трудах. Не было бы их, не было бы и нас, разве не так?

Ну а когда Вера все же уставала от вздорностей и капризов своих подопечных, то садилась за руль, врубала музыку и накручивала километраж по окрестным городкам.

Поездки по французским проселкам доставляли ей огромное удовольствие. Будто сошедшие с барбизонских полотен неяркие пейзажи — плавные холмы, ивы над прудами, зеленые шары омел на тополях и кленах — излучали мир и покой. В этом дремотном царстве не могло случиться ничего страшного. Здесь ничто не погибало

раньше своего часа — ни деревья, ни звери. По полям не бегали, а будто прогуливались зайцы; на ветви сидела ленивая белка. Легко было представить, как проживешь здесь до восьмидесяти или девяноста лет, и мина никогда не ускорит своего тиканья, потому что ей не из-за чего будет взорваться.

Самообман, конечно. Человек так устроен, что, если поместить его в психически комфортную, абсолютно бесконфликтную среду, он начнет генерировать стрессовые ситуации из-за ерунды.

Как-то в июле у Веры в голове ударили нешуточные там-тамы практически без повода. Сбегала по лестнице, оступилась и чуть не грохнулась, еле ухватила за перила. В Москве бы вскрикнула или чертыхнулась и помчалась себе дальше, а здесь от расслабленного житья ого-го как прихватило. Минут пятнадцать в себя не могла прийти, только глубинным дыханием и спаслась.

Аневризма тут как тут, дожидается своего часа. Ну и бес с ней, пусть дожидается.

С другой стороны, если б не этот маленький казус, не получилось бы хорошего разговора с отцом Леонидом, отставным священником.

Он был человек старинного воспитания, держался учтиво, но отстраненно, и, сколько Вера ни пыталась, наладить с ним нормальный контакт не удавалось. Трудно выстроить сердечные отношения с тем, кто в них не нуждается, потому что и так пребывает в полном ладу с собой и миром.

Но вышло так, что отец Леонид как раз вышел на лестницу, когда Вера сидела там в позе лотоса и пыхла свое «омм, омм». Он, естественно, спросил, что с ней. «Всё нормально», — ответила она, изобразив улыбку. Железное правило волонтера: не навешивать на стариков своих проблем. Но священник что-то почувствовал. Вдруг сделался

очень приветлив, позвал в гости — и очень настойчиво, не откажешься. Раньше он Веру к себе в комнату не допускал. Как же было упустить такую возможность? Тем более, и тиканье почти унялось.

Комната, верней однокомнатная квартира, где жил отец Леонид, была чудная. Один угол занят аналоем и иконostasом, перед которым светилась лампадка. На стенах всюду старые фотографии — как в палате Мадам, но только здесь преобладали военные в дореволюционных мундирах.

— Это мой папа, — показал хозяин на строгого дядю с торчащими вверх усами. — Он был полковник, а здесь работал мастером на заводе «Рено». Это его младший брат Витя, тоже полковник, но не настоящий, деникинского производства. Погиб в Иностранном легионе. Это еще один брат, Саша, но я его никогда не видел, он остался в России и, наверное, погиб... А я на Родине ни разу не был. Родился уже здесь. Кадетский корпус и потом семинарию тоже здесь заканчивал.

Интересно он изъяснялся: Россию, которой никогда не видел, называл «Родиной», а про Францию говорил «здесь». Речь у отца Леонида тоже была немножко странная, на взгляд Веры какая-то неживая, хоть и без акцента.

— Что, диковинно вам всё это? — усмехнулся отставной священник и потрогал недлинную седую бороду. — И мой выговор, и все эти лица. — Он показал на фотокарточки. — Мне самому бывает удивительно. Нас раньше было так много, всюду знакомые, русская речь, русские разговоры. А теперь ко мне приходят на исповедь соседи, и я отпускаю им грехи, но половины того, в чем они каются, не понимаю. То ли они инопланетяне, то ли я. Нет, я, конечно я. Потому что один. Как у Георгия Иванова в стихотворении, помните?

Невероятно до смешного:
Был целый мир — и нет его.
Вдруг — ни похода ледяного,
Ни капитана Иванова,
Ну, абсолютно ничего!

— Еще Мадам, она тоже из первой эмиграции, — напомнила Вера, думая: «Почему он столько времени держал со мной дистанцию и вдруг разоткровенничался? Догадался? Жалеет?»

— Нет, она на двадцать лет старше. И выросла на Родине. Это все-таки другое... — Он поправил очки, внимательно глядя на собеседницу. — Вероника, я знаю, что в России сейчас ренессанс религиозности. Даже молодые ходят в церковь. А вы ко мне ни разу не обращались. Вы атеистка? Я не с осуждением спрашиваю. Просто мне интересно.

— Не то чтоб атеистка... — Вера говорила, тщательно подбирая слова, чтоб не обидеть старика. — Нет у меня потребности — там, молиться, верить в Бога. А следовать моде в таком деле, по-моему, как-то пошло.

— Это правда, — легко согласился отец Леонид. — Может быть, вы слишком молоды и никогда еще не задумывались о смерти. Многие ведь приходят к религии от страха. Это, в сущности, не так важно, отчего человек обращается к вере.

То ли из-за того, что он так промахнулся с мыслями о смерти, то ли, еще вероятней, из-за недавно пережитого испуга, но что-то вдруг на Веру нашло. Поддавшись безотчетному импульсу, она взяла и всё рассказала: про мину замедленного действия, про свое отношение к жизни. А заодно и про то, почему не стала искать утешения в религии. Очень уж папа с мамой по этой части разусердствовались. Раньше церковными материями вообще не интересовалась.

лись, а как заболела дочь, начались молебствия, иконки, свечки, паломничества и прочая слезливая тягомотина.

— Как они жить — это лучше сразу откинуться, — говорила Вера. — Заживо себя похоронить и отпевание устроить. Лично я считаю, что мне повезло. Ни одной минутки зря не трачу. Сколько мне на роду жизни отпущено, вся будет моя.

И вроде без надрыва она это рассказывала, а легко, даже с улыбкой, притом непритворной, но заметила, что у священника глаза на мокром месте, и у самой тоже защипало в носу.

— Только не жалейте меня, пожалуйста. Во-первых, не из-за чего. А во-вторых «Жалость унижает человека». М. Горький, — сказала Вера с малость фальшивой бесшабашностью.

— Не Горький это сказал, а Сатин. Не нужно приписывать автору слов, которые произносит персонаж, это вечная ошибка цитирующих. Алексей Максимович был человек умный, он не мог так думать, — строго ответил на это отец Леонид. — Жалость унижает только закомплексованного человека. Гордыня — та же закомплексованность.

Вера даже удивилась, что эмигрант первой волны так уважительно отзывается о «буревестнике революции». А про гордыню и закомплексованность решила подумать потом, в Храме Уединенных Размышлений.

— Ладно, девочка. Не верится — не верь. Я буду за тебя молиться. Две вас тут у меня таких, за кого много молиться нужно: ты да Мадам.

По улыбке Вера догадалась, что это он пошутил. А то в первый миг аж жутко стало. Засмеялась, поблагодарила. Здорово, что отец Леонид с ней на «ты» заговорил. Значит, и с ним теперь будет контакт.

Но про свое сходство с Мадам с тех пор задумывалась часто.

Вначале, в самые первые дни, Вере было как-то не по себе, что совсем рядом, за стеной, по ту сторону запертой двери, обитает такая баба-яга. В ночь после заселения приснился кошмар, детский. Будто Мадам скребется когтем, просится открыть задвижку. А потом в залитом лунной окне возникло восковое, костлявое лицо с запавшими глазницами, и черная дыра рта сверкнула единственным желтым зубом. «Пусти к себе, девочка, пусти, — клянчил призрак. — А не хочешь пустить, так пойдем ко мне, на тот свет».

Утром Вера проснулась вся разбитая. Думала перетаскать кровать в соседнюю комнату, подальше от Мадам, но рассердилась на себя: что за инфантилизм! Как можно бояться несчастной парализованной старушки? Это страх смерти, который в дневное время соваться не осмеливается, воспользовался сонной бесконтрольностью, да и вылез из подсознания. Между прочим, если уж о неприятном, то еще неизвестно, кому суждено раньше отправиться на тот свет. В определенном смысле застенная соседка и Вера антиподы: первая мертвее мертвого, зато у нее крепкие соуды, а у второй всё наоборот.

На следующую ночь — снова сон, не особенно страшный, но странный. Будто сидят они с Мадам в креслах, ведут светский разговор, и та со смехом заявляет: «Я Старуха-Жизнь, а ты Девушка-Смерть». «Мне кажется, вы перепутали, — неуверенно возразила заторможенная Вера. — Это Смерть — старуха, ну да, с клюкой или с косой». Но Мадам отмела возражение, привела аргумент, показавшийся сонному Вериному разуму неопровержимым: «Ничего подобного! Все говорят: «старо, как жизнь». Я старая, поэтому я — жизнь и буду жить вечно, а ты молодая и поэтому ты скоро умрешь». И снова, по кругу, про то же самое: ты умрешь, и это правильно, а я останусь, и это тоже правильно.

Правда, сны Вере всегда снились странные, с самого детства. Очень подробные, сюжетно и логически выстроенные, с массой деталей. Может быть, из-за аневризмы, а может, на структуру сновидений влияла природная Верина дотошность.

Однако, всю ночь продискутировав с Мадам про жизнь и смерть, Вера пробудилась с твердым убеждением, что нужно как-то нормализовать ситуацию. Соседство с больной старухой явно давит на психику.

И утром, уловив момент, когда в палате не было дежурной сестры, Вера вошла, села рядом с кроватью, взяла больную за вялую, очень легкую руку и стала разговаривать — в порядке психотерапевтического аутотренинга.

— Бедная ты бедная, — участливо шептала Вера. — Мне так тебя жалко! Ты самая несчастная на свете! У последнего бедолаги, который всего лишился, по крайней мере есть возможность наложить на себя руки, а ты не можешь даже этого. Ты совсем, совсем одна. Я буду тебя проводить, по-соседски. Не приходи ко мне больше, я сама буду тебя навещать. Хорошо?

У старухи дрогнуло правое веко. Будто Мадам согласилась или подмигнула. Жуть! Сразу вспомнилась статуя Командора, кивающая Дон Гуану. Вера как врач объяснила себе: это микроконвульсия, непроизвольное сокращение мышц. Но свое обещание она выполнила и с тех пор заглядывала к соседке почти каждый день.

Исполнила договоренность и Мадам — больше в сны не вторгалась.

Заходя в палату, Вера сначала здоровалась в пустоту, потом шла к окну и смотрела на парк. Вид отсюда был замечательный, единственная точка на всем этаже, откуда в зазор между деревьями просматривалась долина, излучина реки. Неспроста Мадам выбрала для своего кабинета именно эту комнату. Все фотографии и дипломы, разве-

шанные по стенам, Вера давно изучила, а любоваться ландшафтом могла сколько угодно, он ей не надоедал.

Для визитов она старалась выбрать время, когда нет медсестры, — чтоб не вступать в праздные разговоры. А вот аутист ей не мешал. Если он и находился в палате, друг на друга внимания они не обращали.

Один раз Вера заглянула к Мадам даже ночью. Не спалось, очень ярко светила луна, на душе было как-то неспокойно, и Вера накинула халат, прошлась по темному коридору, а потом вдруг захотелось посмотреть на парк, долину и реку, залитые лунным светом.

Тихонько прошла мимо кровати, где у изголовья помигивали огоньки датчиков. Встала возле окна — и ахнула от вида звездного неба и подлунного мира. Сзади доносилось дыхание больной — слабое, но ровное. Вера долго стояла так, впитывая красоту и величие жизни. Потом вернулась к себе, легла и сразу уснула. С тех пор, если не спалось и ночь выдавалась звездной, она обязательно навещалась к Мадам.

Дело было не только в прекрасном обзоре. В ночной тишине возникало отчетливое чувство, что у старого дома есть душа и обитает она именно здесь. Эта комната, в которой светятся огоньки и звучит едва слышное дыхание, является недвижным центром, в котором сосредоточена жизнь замка. А может быть, и чего-то большего.

В резиденции и в парке было множество красивых мест, но, если б Веру спросили, какое самое любимое, она без колебаний назвала бы комнату Мадам. Выбор, мягко говоря, необычный.

Славу она сюда сегодня привела, однако же не в каком-то особенном, символическом смысле, а из практи-

ческих соображений. Он сказал, что прилетел поговорить по важному делу, с глазу на глаз, и нужно, чтоб никто не отвлекал, а времени в обрез. Сесть где-нибудь в парке или, того паче, в замке они не могли, потому что «старики и старухи любопытны, как мухи» и спокойно поговорить не дадут. Отношения стажерки с «кавалером» вызывали у контингента обостренный интерес. По той же причине не могла она отвести его к себе — это вообще произвело бы сенсацию. Вот Вере и пришла в голову отличная идея. К Мадам уж точно никто не сунется, а время обеденное, дежурной в палате не будет.

Они прошествовали через холл, сопровождаемые любопытными взглядами. Ресторан еще не открылся, но у дверей уже собралось целое общество. Событий в жизни мезона мало, каждый обед и каждый ужин — важное мероприятие. Старушки наряжаются, подкрашиваются, старички тоже прифранчиваются. За полчаса до трапезы перед входом образуется род ассамблеи.

Улыбчиво здороваясь со всеми, Вера кивала на Берзина, повторяла: «Это мой работодатель, из Общества помощи ветеранам». Хотя Славу тут и так уже знали, лишний раз подчеркнуть деловой характер его приездов было нелишним. Берзину-то здешняя публика была без интереса, он ни на кого не смотрел, просто шел себе и шел. Только перед лестницей, когда лицом к лицу столкнулся с выходившим покурить Мухиным, остановился и поморщился.

— О, нашего полку прибыло! — воскликнул житель семидесятых годов прошлого века, близоруко щурясь сквозь дымчатые очки. — Велкам, май френд. А то тут одни ветераны труда, тоска зеленая. Тебя как звать? Я — Муха.

Вообще-то они были знакомы. Вера видела, как в один из прошлых приездов Муха уже терзал Берзина какими-то разговорами, и тот слушал точно с таким же страдальческим выражением лица. Но бедный мнемоинвалид это-

го, конечно, не помнит. Он и с Верой сегодня утром, как обычно, заново познакомился. Соблазнял поездкой в Ригу, в коктейль-бар.

— Не успел приехать, самую классную герлу снял. Уважаю, — сказал Муха и подмигнул Славе.

Берзин не знал, как себя вести. Мясся, сопел, весь пошел пятнами. Вера взяла его под руку, Эдуарду Ивановичу сказала, что они спешат. Увела.

— Не обращай внимания. Это Мухин, у него проблемы с памятью. Я тебе рассказывала.

— Помню, — буркнул Слава. — Давай уже, веди куда-нибудь. Времени мало.

В общем, отвела она его к мадам. Сказал он Эмэну два раза «бонжур», ответа не дождался. Когда Вера объяснила, что это аутист и мешать им не будет, Берзин покрутил пальцем у виска — не на аутиста, а на Веру.

— Нашла местечко! Не понимаю, почему нельзя просто к тебе пойти? Рядом же! Нет, привела в психстационар какой-то. Все-таки ты у меня, Ника, с приветом.

— Я не у тебя, я сама по себе, — огрызнулась она. — Здесь самое спокойное место. Ко мне без конца ходят люди, а сюда минимум в течение часа никто не заглянет. Давай, говори. Что у тебя за секреты, про которые нельзя говорить по скайпу?

Берзин посмотрел вокруг — куда сесть. Со вздохом пристроился на подоконнике, единственный свободный стул уступил Вере.

— Ни по скайпу, ни по телефону нельзя.

— Криминал, что ли? — спросила она. Но Слава насмешки не распознал, ответил на полном серьезе:

— Нет, не криминал. Но у нас, сама знаешь, какая страна. Никогда не знаешь, что за ухо тебя слушает. Спецслужб всяких развелось, палонуть некуда. Бизнес у них такой: под-

ключаются к кому надо и к кому не надо, слушают всё подряд, авось пригодится. Нащупают какой-нибудь косяк — давай бабло тянуть. Или просто конкурентам инфу продадут. Мне к нашему проекту раньше времени привлекать внимание не нужно. Но ты — мой стратегический партнер. Должна представлять картину в полном объеме. И сейчас пришло время тебе этот объем раскрыть.

Вере польстило, что она «стратегический партнер», однако на «картину в полном объеме» она насторожилась. Раньше, значит, Берзин чего-то недоговаривал?

— Ты в проекте — ключевая фигура, — продолжил Слава, недовольно покосившись на Эмэна — тот начал равномерно раскачиваться на скрипучем стуле. — От тебя многое зависит. Но ты не догонишь масштабности дела, иногда из-за этого тебя заклинивает. Вот как с телешоу... Слушай, а нельзя ему сказать, чтоб он не скрипел?

— Сказать можно, только он не слушает. А с телевидением ко мне не приставай. Никакого «Доктора Веры» не будет.

— погоди, Ника, не заводись. Дай я тебе всё по порядку расскажу, я для того и прилетел, чтобы все разрулить по-человечески. Мне ты во как нужна, честно.

И она сменила гнев на милость. Всякому человеку приятно знать, что он много значит для большого дела. И Станислав Берзин, без пяти минут олигарх, не ко всякому бизнес-партнеру понесется на своем ковре-самолете за тридевять земель «разруливать».

Только тут Берзин взял и всё испортил. Моргнул своими белесыми ресницами, глаза опустил:

— Ну и вообще... давно тебя не видел. Соскучился.

В голосе Веры лязгнул металл:

— Давай про дело.

— О'кей, о'кей, — сразу отъехал он. — Короче, я запустил первый этап. Договорился с областными. Выделяют

участок земли под строительство уже в этом году, а в следующем — еще девять. Две хороших площадки обещали под Питером, тоже согласовано. Земля дорогая, особенно в Подмоскowie. Если покупать — за сто лет не отобьешь. Поэтому я беру непрестижные направления, с ними проще. Для стариков ведь главное не понты, а природные условия. Землю мне дают под долевое участие, то есть половина мест в наших мезонах закрепляется за очередниками района. Содержаться они будут на том же уровне комфорта, за наш счет. Ну, Собес там какие-то копейки за них будет доплачивать.

— Но ведь это здорово! — воскликнула Вера. — Просто супер! Каждый богатенький буратино у нас фактически будет содержать обычного, бедного пенсионера! Это мне нравится.

Слава смотрел на нее с жалостью.

— Ты, Ника, будто с Луны свалилась. Какие, на фиг, «бедные пенсионеры»? Свою квоту областные и районные жучилы будут продавать за взятки или втюхивать нам своих родственников да знакомых. Поселят для показухи пару ветеранов, и баста. — Увидев, как у Веры вытянулось лицо, он подмигнул. — Ничего, Коробейщикова, они хитры, а мы хитрее. Главное на первом этапе — создать и закрепить за собой бренд. Вот в чем наша с тобой задача. Когда мы развернемся, выйдем на масс-медиаальный уровень, чиновничья шушера отъедет. Через пять лет я планирую держать по регионам порядка сотни мезонов, с контингентом в двадцать тысяч человек. Через десять лет, когда начнут выходить на покой первые ударники российского капитализма, число мезонов достигнет тысячи, их сеть накроет всю страну.

Поневолe она залюбовалась тем, как горят у него глаза, как пылают щеки. Берзин был сейчас похож на поэта, декламирующего стихи. Таким он ей определенно нравился.

Все-таки как здорово наблюдать за мужчиной, который занимается настоящим мужским делом — берется за масштабные дела.

— К тому времени, через десять лет, по моим расчетам наше государство цивилизуется в достаточной степени, чтоб начать всерьез башлять на обеспечение людям нормальной старости. А к кому они смогут обратиться? К тем, кто первый вышел на рынок и хорошо себя на нем зарекомендовал. Это, детка, огромный, многомиллиардный бюджет, понимаешь?

— Что ж тут непонятного?

Берзин улыбнулся, легонько щелкнул ее по челке.

— Ни черта ты не понимаешь. Разве в одних деньгах дело?

Вера засмеялась:

— Можно подумать, это я все время только о деньгах говорю.

Он не слушал. Наклонился к ней, в кои-то веки посмотрел прямо в глаза.

— То, что я сейчас скажу, я никому не рассказывал. Только тебе...

Улыбка исчезла с ее лица. Никогда еще Слава не говорил с ней таким голосом, не смотрел так открыто, даже беззащитно. Вот как надо было действовать, чтобы найти дорогу к Вериному сердцу. Почувствовав, что слабеет, она даже испугалась. Что, если Берзин сейчас начнет признаваться в любви? Хватит ли сил оттолкнуть этого сильного человека, поступившегося своей гордостью?

— Известно ли тебе, что через пятнадцать лет, если не случится чумы и революции, пенсионеры будут составлять порядка тридцати процентов жителей? — проникновенно сказал он. — Мои, то есть наши мезоны превратятся для них в символ счастливой старости. Пенсионеры поделятся на тех, кому удалось туда попасть, и на тех, кто об

этом мечтает. Главное — всё у нас будет без туфты. Мы сможем реально улучшить качество жизни людей, которых сейчас в старости ждет беспросветная жопа. Это значит, что наше движение и лично мы с тобой превратимся для трети населения Эрэф в деда Мороза со Снегурочкой, типа «праздник к нам приехал».

— Ну и что?

Сердце у Веры снова сжалось. Неужели от разочарования?

— Не догоняешь, Коробейщикова. Через десять—пятнадцать лет у нас, как это уже произошло в Европе, пенсионеры станут главной электоральной силой. А мы с тобой аккуратно войдем в возраст, когда человеку пора садиться за руль.

— Эта история не про меня, — сказала Вера. — Рули один.

— И буду рулить! Не потому что я мегаломаньяк, — в очередной раз удивил ее Берзин умным словом, — а потому что в России, если хочешь что-то изменить или сделать, нужно брать власть в свои руки. Такая уж страна, блин.

— Страна у нас будет хорошая, когда в ней станет хорошо старикам, это я знаю точно.

— Ну! И я о том же! С выходом на пенсию жизнь должна не заканчиваться, а только начинаться. Чем не лозунг избирательной кампании? Что-нибудь типа: «Зрелость — вершина жизни». Или: «После шестидесяти — новый старт».

САНДРА С ИВАНОМ ИВАНОВИЧЕМ

На вид я дала бы Ивану Ивановичу лет шестьдесят. Мне не нужно прибегать к помощи эйдетической памяти, чтобы увидеть его перед собой.

Он очень худой, но не изможденный, а будто подсушенный солнцем и ветром. Белые волосы стрижены почти под ноль, голову словно прихватил тонкий слой инея. Веки полуприкрыты, из-под седых ресниц иногда мерцают огоньки, но не такие, как у зрячих людей, а словно бы приглашенные.

Когда я впервые увидела Ивана Ивановича, он был в холщовой толстовке, перетянутой ремешком, и неподвижно сидел на стуле, подставляя безмятежное, чуть улыбающееся лицо солнечным лучам.

Фуцзядянь — восточный пригород Харбина, населенный китайцами. Это лабиринт узких грязных улочек, застроенных одноэтажными домишками. Настоящие трущобы. Я попала сюда впервые, у меня ощущение, будто я уехала из своего города куда-то очень далеко, хотя таксомотор довез меня из центра до улицы Шиньдоао всего за четверть часа.

(Всё, я уже не здесь, а там. Не вспоминаю — вижу. Слышу звуки и запахи, жмурюсь от утреннего солнца.)

Я и не знала, что в Харбине так много китайцев, — вот первое, что приходит мне в голову, когда я, ужасно волнуясь, отпускаю машину и начинаю оглядываться. Где-нибудь в районе Пристани, в Новом Городе, в деловых кварталах или на Славянке кажется, что наш город населен в основном русскими, китайцы нас лишь обслуживают. А их, оказывается, вон сколько. Не меньше, чем нас, а, пожалуй, больше. Это их город, это их страна, мы живем у них в гостях и, очень вероятно, гостевание продлится не вечно — вот какое открытие я вдруг делаю.

Но мне не до харбинского будущего. Софья Андреевна сказала: «За маленькой пагодой, во дворе кумирни, домик с открытой верандой».

Виджу пагоду. Обхожу ее справа. Двор неряшливый,

весь какой-то замусоренный. Вижу неопрятную лачугу с закопченными стенами, выстроенную не столько на китайский, сколько на японский лад: передняя стена состоит из раздвижных перегородок, они нараспашку, и на дощатом помосте сидит человек с коротким седым бобриком, улыбается солнцу.

Я здороваюсь по-китайски. Прошу извинения, что нарушила покой. Спрашиваю, можно ли подняться на веранду для важного разговора. Называть хозяина по имени не осмеливаюсь. Бог знает, как его зовут на самом деле. Настроена я вообще-то подозрительно. Представляла себе согбенного мудреца с козаиной бородкой и длинной курительной трубкой, в халате и шапочке, предающегося медитации в уединенном храме. А тут не храм — развалюха на помойке, и вместо просветленного даоса карикатурный толстовец, и не больно-то старый.

Не поворачивая лица, человек вздыхает и после томи-тельно долгой паузы произносит нечто витиеватое и странное:

— Поднимайся, маленькая тигрица, сядь вот на эту скамеечку, хоть она и коротковата для твоих длинных ног, и можешь рассказывать, зачем ты пришла, потому что, пока ты не расскажешь, зачем пришла, ты все равно не уйдешь, а если я не захочу тебя выслушать, ты начнешь упрашивать, настаивать и в конце концов своего добьешься, поэтому будет проще и быстрее сразу дать тебе выска-заться.

(Да-да! Именно так всё и было! Речь Ивана Ивановича производила на непривычного человека сильное впечатление. Она текла единым потоком, не прерываясь на точки или абзацы, будто река. Иван Иванович заканчивал предложение, лишь доведя свою мысль до конца, а мысли у него обычно бывали неторопливыми и длинными. Услышала его голос — и потеплело на

сердце.)

Голос у него мягкий, про такой обычно говорят «задушевный», но я думаю: «вкрадчивый», потому что мне всё тут решительно не нравится.

Это какое-то надувательство!

Во-первых, вряд ли этот человек китаец. Китайцы так чисто и так мудро по-русски не говорят.

Во-вторых, не похоже, что он слепой. Вон глазки меж век посверкивают, и откуда бы слепому знать, длинные у меня ноги или нет.

В-третьих, какая я ему «тигрица»?

— Меня зовут Сандра, я ведь уже представилась! — вспыхиваю я — мне ясно, что к этому шарлатану я притащилась зря. — Какая я вам тигрица?

— Я сказал, какая: «маленькая», — добродушно отвечает неслепой некитаец.

— Послушайте, Иван Иванович, или как вас там! — Я окончательно сатанею. — Я приехала к вам по очень серьезному делу. Если вы настроены балагурить, прощайте. Не буду тратить ваше драгоценное время. Сидите на своей помойке, а я пойду!

И спохватываюсь: он, хитрец, нарочно выводит меня из себя, чтоб я ушла и оставила его в покое. Ну нет! Коли уж я приехала в эту трущобу, по крайней мере доведу дело до конца.

Хозяин выглядит немного удивленным:

— Почему ты назвала это место «помойкой»? Оно очень красивое, самое красивое во всем городе, ты просто не умеешь правильно видеть.

Он надо мной издевается! Что ж, это умею и я.

— Вы правы. Тут красивее, чем в Петергофе и Версале.

— В Петергофе я не бывал, хотя много о нем слышал, поэтому ничего сказать не могу, но что в Версале конечно же не так красиво, как здесь, с этим я полностью согласен,

ибо Версаль меня в свое время чрезвычайно разочаровал своей удручающей тусклостью и непониманием природных линий.

(Смешно наблюдать, как злится и недоумевают глупая, ничего не понимающая Сандра. Ей всё кажется, что насмешник потешается над непрошенной гостьей. Но Иван Иванович говорил совершенно серьезно. У него были иные мерки красоты. Иван Иванович воспринимал ее не зрением, а тем самым неведомым науке органом, который он неуклюже именовал «обослух», а я называю «биорецепцией» — тоже некорректный термин, поскольку эманацию излучают не только живые организмы.

Мусора во дворе и ободранных стен Иван Иванович не видел, зато он, вероятно, ощущал некую особенную ауру, присущую этому месту. Неспроста же кумирню и пагоду поставили именно здесь. Я читала, что священники и жрецы, неважно какой религии, иногда обладают неким «шестым чувством», подсказывающим, где нужно строить храм. Сами священнослужители, естественно, объясняют свое побуждение наитием свыше, но скорее всего в душе глубоко верующего человека биорецепционные способности обостряются.

Теперь-то я и сама воспринимаю красивое и некрасивое совершенно иначе. Например, я не знаю, как выглядит моя соседка Вероника. Может быть, она косит или у нее, что называется, нос на боку. Но она безусловно красавица. Миловидна старшая сестра Марина Васильевна. А вот новая массажистка, хоть и благоухает парфюмом, но эманация у нее уродливая. На месте мужа я бы от нее шарахалась, но люди, и особенно мужчины, абсолютно не умеют видеть настоящей красоты.)

— Вы кто? — спрашиваю я с всё усиливающейся подозрительностью. — Кто вы на самом деле? Ведь не китаец же? Ваш родной язык русский, это ясно. Вы наверняка за-

кончили гимназию или даже университет, это слышно по вашей речи. Имя у вас тоже, прямо скажем, не китайское.

— Меня зовут Ван Ин, но я столько лет прожил в России, что тамошние жители переименовали меня в Ивана Ивановича, поскольку им так привычнее и удобнее, а насчет образования ты ошибаешься, я никогда по-настоящему не учился, только в деревенской школе, в детстве, но тогда я был обыкновенный глупый мальчишка и учился из-под палки, а всему, что знаю теперь, меня научила долгая жизнь, в том числе и разным языкам, ведь я много где странствовал и жил не только в России.

(Кстати сказать, я так и не знаю, сколькими языками владел Иван Иванович. При мне он говорил на китайском и на маньчжурском — точно такими же бесконечными предложениями, и один раз, в поезде, я слышала, как он беседует с попутчиком, американским коммивояжером. Тот был абсолютно уверен, что разговаривает с уроженцем Соединенных Штатов, потому что английская речь Ивана Ивановича текла без остановки и не имела акцента. Заинтригованная, я потом спросила, как ему удастся до такой степени полноценно овладеть чужими языками. Он ответил, что чужих языков не бывает. Всё дело в том, что люди воспринимают незнакомый язык как чужой, а на самом деле он не чужой, только нужно учить его по-младенчески, то есть на время забыть о всех других известных тебе языках и воспринимать новое наречие как единственное на свете. Сначала, конечно, будешь лепетать, картавить и сюсюкать (он сказал: «говорить с акцентом младенца»), но потом постепенно научишься изъясняться, как взрослые, — приспособятся и мозг, и рот.)

Слова «Ивана Ивановича» меня не убеждают, я не верю старому клоуну, который зачем-то ломает передо мной комедию. Но все же излагаю свою просьбу — хмуро,

несколько сумбурно, уже ни на что не надеясь.

Он слушает меня не перебивая. Спасибо хоть, перестал улыбаться. Понял, что к нему пришли не из-за пустяков.

Старик вздыхает, проводит ладонью по седому ежику.

Слушая его неспешный ответ, я окончательно сникаю. Нет, этот странный человек надо мной не издевается, но помощи от него ждать нечего.

— Я слышал про хунхуза по кличке Слово, — грустно говорит он, — мне много рассказывали про него, потому что люди часто приходят ко мне и рассказывают всякое, в том числе и такое, о чем я совсем не хочу знать, хотя, конечно, на свете нет вещей, которые недостойны нашего знания, просто я очень не люблю таких, как хунхуз Слово, ибо это самый худший сорт человека, у него нет никакой нравственности, притом что я, разумеется, понимаю: люди, начисто лишённые нравственности, в природе тоже нужны, ибо, не будь тьмы, не было бы и света, а без абсолютного Зла не существовало бы и абсолютное Добро, это прописная истина, однако у меня нет средств воздействия на хунхуза Слово, так как он понимает лишь два языка — язык силы или язык золота, а я...

Как ни странно, я совсем не вязну в этом потоке нанизывающихся друг на друга фраз. Мне всё понятно.

— Значит, мы погибли, — прерываю я монотонную речь не ко времени расфилософствовавшегося говоруна. Я оговорила, хотела сказать «Он погиб», но поправляться не стала — тем более это правда. Я тоже погибла, без Давида мне не жить.

— ...от языка силы я давно отказался, он ни для чего путного не годится, — продолжает мой собеседник незаконченную мысль, — только умножает Зло и отнимает силу у тебя самого, но вот что касается золота...

Тут он умолкает очень надолго. Веки смыкаются, голова опускается на грудь. «Уснул он, что ли?» — думаю я. Ос-

торожно зову его — не отвечает. Проходит минута, другая, третья. Старик почти неподвижен, только слегка подрагивают крылья носа. *(Иван Иванович всегда так делал, когда ему нужно было максимально обострить свой «обослух».)* Уйти, что ли? Аудиенция окончена?

— Ну, я пойду... Спасибо, что выслушали.

Я осторожно касаюсь рукава его толстовки.

Вдруг мое запястье оказывается в тисках сухих, горячих, очень сильных пальцев. Лицо с полужакрытыми глазами смотрит — во всяком случае, повернуто — в мою сторону.

— Я не ошибся, когда назвал тебя «тигрицей», от тебя исходит ток тигрицы, зашищающей тигренка, а это очень красивый ток.

— Что? — лепечу я, испуганно дергаю руку.

Он разжимает пальцы.

— Что ж, Маленькая Тигрица, давай поможем друг другу.

— Как?! Чем?!

— Ты сможешь мне попасть в одно место, куда я очень давно хочу попасть и куда одному мне попасть невозможно, а я помогу тебе объясниться с хунхузом Слово на внятном ему языке золота.

Пытаюсь вникнуть в смысл сказанного.

— Вы можете внести выкуп за Давида? Но это триста тысяч юаней!

Седые брови задумчиво приподнимаются.

— Я нехорошо знаю, сколько стоят нынешние деньги, однако не думаю, что названная тобою сумма настолько велика, чтоб мы вдвоем не смогли унести соответствующий ей вес золота.

— Вы знаете место, где лежит столько золота? И отдадите его мне?

Невозможно представить, чтоб человек, котящийся в

лачуге, посреди трупоб, владел такими сокровищами. И уж совсем невообразимо, чтобы он был готов отвалить кучу золота бог знает кому.

«Все-таки шарлатан, — думаю я. — Или ненормальный. Скорее второе». С психически больными следует вести себя деликатно.

— Извините, но мне трудно поверить, что вы отдадите первой встречной триста тысяч, — говорю я вежливо. — С какой стати?

— Хотя мы с тобой встречаемся впервые, но ты не первая встречная, — с видимым удовольствием начинает объяснять старик, — в том смысле, что женщин, подобных тебе, встретишь нечасто, и я лично давно таких не встречал, потому что лучших женщин, как и лучших мужчин, на свете немного, да их и не может быть много — иначе Добро одержало бы победу над Злом и жизнь бы остановилась.

— Никакая я не «лучшая». Спасибо за комплимент, но я все-таки не очень понимаю...

(Еще бы ты понимала! Не перебивай его, слушай! Чертова идиотка, она и дальше будет все время его сбивать и перебивать — уж я-то знаю. Но ничего поделать с этим не могу...)

— Нет, я обослышу, что ты относишься к категории лучших женщин, и я сейчас тебе объясню, что это такое...

— «Обо...» что?

Как ни в чем не бывало он продолжает:

— Лучшие из мужчин любят человечество, но не очень умеют любить одного человека, а лучшие из женщин человечеством не очень интересуются, зато одного человека умеют любить очень сильно — вот первая причина, по которой я соглашаюсь тебе помочь, а вторая причина состоит в том, что трудно найти помощника, который не сойдет ума, увидев столько золота, ты же от этого не свих-

нешься, потому что ты и так уже повредила в рассудке из-за любви, и я знаю, что ты возьмешь столько, сколько нужно для выкупа, остального же золота не тронешь и оставишь его мне, а мне оно очень пригодится для одной отличной вещи, которую я давно хочу устроить. Есть еще и третья причина: я слеп и без надежного помощника попасть туда, где лежит золото, и потом привезти его сюда, мне было бы очень трудно и даже невозможно, так что я давно уже жду, не повстречается ли мне подходящий человек, и вот сегодня ты пришла, я понял твою масть и ты мне подходишь. — Вдруг он оживляется. — Но ты, наверное, хочешь узнать, что это за отличная вещь, для которой мне необходимы очень большие деньги?

— Не знаю. Наверное, он прав и я в самом деле повредила в рассудке, но почему-то мне начинает казаться, что всё это не бред сумасшедшего. Вернее, мне ужасно хочется поверить, что это не бред.

— Нет, вы лучше расскажите, что это за золото, — нервно говорю я.

— Это долгая история, а долгие истории лучше рассказывать и выслушивать во время долгой дороги.

Он легко поднимается и оказывается немногим выше моего плеча.

— Какой дороги? Куда? — спрашиваю я, чувствуя, что мои мысли и чувства не поспевают за развитием событий.

— Я знал, что на берегах речки Мохэ, в лесах к югу от Амура, близ русской границы, нашли золото, много золота, а началось всё с того, что один орочен по имени Ванька копал могилу для своей матери и нашел в земле несколько желтых камешков и показал их одному русскому человеку

из приамурской станицы, а тот пошел в указанное место и нарыл много самородков, и об этом прошел слух сначала по всему Амуру, потом по всей Сибири и Маньчжурии, потом по всему миру. Я знал, что на реку Мохэ уже два года со всех сторон идут, едут, плывут тысячи людей, русских, китайских, американских, всяких, чтобы намыгть золотого песка и нарыть самородков и что золото там всё не кончается, — всё это я знал, но в те времена золото находили во многих местах, и каждый раз все кидались к новому месторождению, однако другие места меня не интересовали, а леса вдоль Мохэ — дело иное, про них мне было известно, что где-то там есть одна очень мне нужная вещь, но слепшу в одиночку так далеко забраться трудно, а тут многие китайцы потянулись к северу, и пристроиться к артели старателей мне было легко, ведь у нас в Китае к слепым относятся с почтением, особенно если они умеют делать что-то полезное, а я к тому времени уже много чему научился.

(Рассказ Ивана Ивановича воскресает во мне, сопровождаемый мерным перестуком колес.)

Мы едем в вагоне поезда, идущего от Харбина до станции Маньчжурия, что на советской границе. Я вижу отрешенное морщинистое лицо с полуприкрытыми глазами и мягкую улыбку, будто подтрунивающую над собственным прошлым. Слышу голос: спокойный, тихий. О чем бы ни говорил рассказчик, все эмоции приглушены. Не смех, а тень смеха. Не страх, а слабое удивление пережитому страху. Не горе, а легкая горечь. Иногда я отвожу взгляд и смотрю в окно. Североманьчжурский пейзаж так же монотонен и непритязателен, как повествование моего спутника: выжженная солнцем желтая степь, череда плавных сопков, темная кайма леса на горизонте.

(Со временем я полюблю и рассказы Ивана Ивановича, и саму его манеру говорить, но пока Сандре всё это вновь, ее раздражает неторопливость текучей речи, она хо-

чет поскорее узнать главное.)

— „От одного мудрого человека я знал, в каком примерно месте может находиться то, что мне нужно, и, хоть это «примерно» охватывало территорию в несколько десятков ли, я надеялся, что мне поможет обослух, ведь с тех пор, как я ослеп, уже миновало больше тридцати лет, и я умел обослышать почти так же хорошо, как теперь.

— А как вы ослепли? — спрашиваю я.

(Ну можно ли быть такой дубиной! Снова пропустила мимо ушей непонятный «обослух», да еще прервала вопросом историю в самом ее начале. В подобных случаях рассказ Ивана Ивановича, словно ручей, встретивший препятствие, обыкновенно поворачивал в сторону и в прежнее русло возвращался нескоро.)

— Во время самой кровавой войны в человеческой истории. Ведь ты, Маленькая Тигрица, конечно же знаешь, какая война в истории была самой кровавой? — спрашивает Иван Иванович.

— Ну как? Мировая, разумеется. Двадцать миллионов человек погибло! Другой такой войны уже не будет, — уверенно заявляю я (в блаженном неведении своего тридцать второго года).

Иван Иванович печально улыбается:

— Ну, война-то будет, много кровавей той, и, наверное, будет скоро, потому что мы сейчас переживаем эпоху Твердых Истин, которые вряд ли смогут друг с дружкой ужиться, а это всегда заканчивается большой кровью, вот отчего лучше жить в эпоху Мягких Истин, ибо они всегда между собой договорятся. — Он качает головой с видом человека, который сожалеет, что ему не под силу изменить ход вещей. — Да, будет очень большая война, погибнет ужасно много людей, но все равно жертв будет меньше, чем в войне, которая случилась семьдесят лет назад.

Я удивлена:

— Простите, но я не знаю, о какой войне вы говорите.

— Нет, ты знаешь, но для тебя это не настоящая война, потому что люди Запада придают значение только своим несчастьям и оплакивают только своих мертвых. — Укоризненное покачивание головой. — Самая кровавая в истории человечества резня началась с того, что одному деревенскому учителю (звали его Хун Сюцюань) приснился сон, будто он — Сын Божий и Брат Иисусов, посланный, чтобы спасти от гибели Главный Народ Земли, четырехста миллионов душ, а поскольку Хун Сюцюань был человек великой силы духа, он умел зажечь своей верой много людей, и они пошли за китайским Братом Иисуса и спасали китайский народ целых восемнадцать лет, после чего душ в Китае стало на сто миллионов меньше. Сто миллионов погибли! А ты говоришь «мировая война».

— А-а, вы про восстание тайпинов, — киваю я. — Да, конечно. Мы проходили в институте. Постойте, но не могли же вы лишиться зрения во время тайпинской войны? Насколько я помню, она закончилась в восьмое лето правления императора Тунцжи, то есть в 1868 году.

— Для меня она завершилась много раньше, вскоре после своего начала. — Иван Иванович беззвучно смеется, и я замечаю, что зубы у него белые, крепкие, здоровые. — Я старше, чем кажусь, Маленькая Тигрица, ибо по западному исчислению я родился в 1833 году от рождества Иисуса, старшего брата Хун Сюцюаня, и, стало быть, мне уже сравнялось девяносто девять лет.

(Слава богу, тут Сандра разинула рот и наконец заткнулась. Какое-то время я могу внимать рассказу Ивана Ивановича беспрепятственно.)

— Мне было восемнадцать лет, когда я поверил в Хун Сюцюаня и пошел за ним, то есть не за самим Хун Сюцюанем (он был большой человек, и я никогда его не видел),

а за его соратниками, потому что они говорили свежие слова, никого не боялись и верили в победу Добра над Злом, а самое главное, что, когда я их слышал, мне становилось совершенно ясно, что такое Добро, и еще яснее, что такое Зло — ну, то есть, не «что», а «кто», люди ведь никогда не воюют с самим Злом, только с его воплощениями, найти которые очень легко: это были жадные чиновники, жирные помещики, жестокие стражники, и я пошел с ними говорить на языке Стали, я хотел овладеть этим наречием, и у меня очень хорошо получалось, ибо я был ловкий, сильный, не ведал страха, так что вскоре наш тысячный начальник Ман Сы, который потом стал князем, ставил меня остальным в пример, и я был очень горд.

Я слушаю вначале недоверчиво, мне трудно поверить, что Ивану Ивановичу с его упругими движениями и морщинистой, но совсем не увядшей кожей, считай, целых сто лет. Но я знаю: каждое слово — правда.

— ...Первой большой победой нашего отряда было взятие уездного города — там, на юге. — Иван Иванович машет рукой в окно, и я соображаю, что он действительно показал в сторону юга. — Служителей Зла, кого не убили во время боя и кто не успел сбежать, всех заперли в рисовом складе, чтобы завтра на площади судить народным судом за все их преступления, а вместе со служителями Зла схватили их жен, детей и родителей, потому что в Китае сын за отца всегда ответчик и если кого-то карают за злодеяние, то вместе со всей семьей. Вечером, празднуя победу со своими товарищами и слушая их разговоры, я понял, что суда никакого не будет, никто не станет разбираться, кто виноват больше, кто виноват меньше, а кто, может быть, совсем не виноват, — всех арестантов предадут смерти вместе с домочадцами, и тогда я пошел к тысячному начальнику Ман Сы, который потом стал князем, и

спросил: «А как же христианская заповедь «не убий»? Ведь одно дело сразить врага сгоряча, в бою, и совсем другое — убивать его связанного, да еще с женой и детьми?» Ман Сы ответил мне: «Мы китайцы, у нас свое христианство, построенное на нашей мудрости. А мудрость учит: убив змею, раздави и змееныша, иначе он вырастет и ужалит тебя. Запомни это, Ван Ин. Ты молод и неопытен, тебе нужно многому научиться». Но я потому и стал тайпином, что не хотел учиться такой мудрости, ее у нас и до тайпинов хватало, поэтому я напросился в караул, охранявший пленников, и ночью потихоньку выпнул из стены две доски, чтобы арестанты могли убежать, и они все убежали, а утром Ман Сы построил нас, одиннадцать человек, и спросил: «Кто это сделал? Пусть признается и объяснит, зачем он это сделал. Я не убью виновника, даю обещание. Вы меня знаете, слово у меня железное. Если это сделал скрытый враг нашего дела, я позволю ему уйти — пусть лучше сражается с нами в открытую, а не жалит исподтишка. Если же это сделал свой товарищ, я хочу понять, почему он так поступил». Еще Ман Сы сказал, что, если никто не признается, ему придется предать смерти нас всех ради собственного душевного спокойствия, потому что он отвечает за безопасность своего отряда и не может позволить предателю разгуливать на свободе, и после этих слов я, конечно, вышел, потому что терять мне было нечего, ну а кроме того мне действительно хотелось объяснить всем, не только начальнику, почему я отпустил пленников, именно поэтому я не ушел с арестантами, хотя, конечно, догадывался, чем всё закончится.

Иван Иванович улыбается тенью улыбки, в которой нет сожаления о сделанной когда-то глупости — лишь тень сожаления.

— Я вышел и сказал, что нельзя победить Зло, если воюешь с ним по его же законам, то есть я не совсем так ска-

зал, потому что я был очень молод и еще не умел находить точных слов, и я не знаю, поняли ли меня мои товарищи, ведь они были невежественные крестьяне, не имевшие привычки мыслить отвлеченными понятиями, но Ман Сы был человек образованный и умный, он меня понял. «Мне следовало догадаться, Ван Ин, что это сделал ты, — сказал он мне с отеческой укоризной в голосе и злым блеском в глазах. — Ты не просто юн, ты еще и слеп. Ты не просто ничего не понимаешь, ты и не хочешь понимать. Прямо не знаю, что же мне с тобой делать?» Мне бы промолчать, но я был глуп и упрям, я сказал: «Ничего я не слеп! Нельзя проповедовать так, а поступать этак. Люди перестанут нам верить!» Но Ман Сы не внял предостережению юнца, а обрадовался, потому что я сам подсказал ему, как со мною поступить, чтобы это не выглядело нарушением данного слова. «Ты хочешь сказать, что я солгал, назвав тебя слепым? Но я никогда не лгу, и все это знают. Выколи-те ему глаза». Через несколько минут я ослеп, но Ман Сы проявил великодушие, он велел не вырезать и не выколоть мои глаза, а пронзить их иглой, чтобы они не вытекли, потому что, ты ведь знаешь, у китайцев считается большим несчастьем, если после смерти тело предают погребению неполным, и поэтому калека бережно засушивает утраченную конечность, а евнух — свою мужскую принадлежность, чтобы лечь в гроб таким же целыми, каким он появился на свет, но вытекший глаз засушить невозможно, вот Ман Сы и пожалел меня — и бойцам отряда его милосердие очень понравилось...

Я содрогаюсь, а Ивану Ивановичу смешно. Он издает легкий, вкочущий звук — тень хохота.

— Ну и всё случилось, как я говорил: тайпины проповедовали свободу и Добро, но заставляли людей быть хорошими насильно, а кто не соглашался или спорил, убивали, они убивали очень много, и их все боялись, а они одерживали всё но-

вые и новые победы, но потом их начальники стали спорить между собой, кто из них самый справедливый и добрый, и начали убивать друг друга, и те, кто побеждал, объявляли себя князьями. Так продолжалось восемнадцать лет, пока все люди не отвернулись от тайпинов, и тогда старое Зло взяло верх над новым Злом, самая кровопролитная из войн закончилась, и всё в Китае сделалось, как раньше, до вешего сна Хун Сюцюаня, только китайцев стало на сто миллионов человек меньше, однако ничего этого я не видел — не потому что ослеп, а потому что много лет прожил в горной глуши, где меня научили видеть без глаз. Знаешь, Маленькая Тигрица, я благодарен Ман Сы, что он велел выколоть мне глаза, потому что, если бы я остался зрячим, я никогда не научился бы обослышать, то есть видеть по-настоящему, ведь от глаз больше вреда, чем помощи, так как они лишь скрывают истинную суть. Лишь ослепнув, я прозрел, и случилось это благодаря одному счастливому случаю.

— Вы начали рассказывать про золото, — напоминаю я, испугавшись, что рассказ опять свернет в сторону с темы, которая меня больше всего интересовала. *(Вот этого я никогда себе не прощу. Так я и не узнаю, что за счастливый случай свел Ван Ина с человеком или людьми, которые приютили юного слепца в «горной глуши» и научили его «видеть без глаз».)* Мне нужно убедиться, что золото существует на самом деле, а не только в фантазиях старика и что я тащусь на край света не впустую. — Вы сказали, что отправились на реку Мохэ с артелью старателей. Что было дальше?

Мой визави добродушно кивает. «Наверное, ему все равно, о чем рассказывать, — думаю я. — Лишь бы плыть себе по течению памяти». *(А вот это не так глупо. Что, если Иван Иванович тоже обладал ключом к тайнику эдипической памяти? Это меня бы не удивило.)*

— Реку Мохэ русские называли Желтугой, и скоро все

стали ее так называть, потому что до русского берега Амура оттуда рукой подать и большую часть старателей составляли русские, они шли туда со всей Сибири, они умели искать золото лучше, чем подданные нашего богдыхана, потому что в империи Цин искатели золота приравнивались к разбойникам и карались смертной казнью — правительство не хотело выпускать добычу драгоценного металла из своих рук, но правительство ничего не могло поделать с пришельцами. Хэйлунцзянский генерал-губернатор несколько раз посылал из Цицикара солдат, но путь был долгий и опасный, а русские и американцы (туда понаехало много людей из Калифорнии и Дакоты, где к тому времени золото уже закончилось) встречали стрельбой китайских солдат, и те разбегались, а многие сами становились старателями. Когда я пришел на Желтугу, а было это по западному счету осенью 1885 года, там жило десять, а то и пятнадцать тысяч человек, и называли они себя «Республика Амурская Калифорния»...

Он на некоторое время умолкает, на губах появляется недоверчивая улыбка, будто Иван Иванович сомневается, не вздумала ли собственная память с ним шутки шутить. Рассказ его и вправду звучит фантастически.

— Понимаешь, сначала там все жили, как хотели, радовались отсутствию всякой власти, и не было совсем никакого порядка, потому что сильные отнимали золото у слабых и отбирали богатые участки, и все ходили пьяные, и палили почем зря, но потом людям надоел хаос, и они поняли, что свободу нужно ограничить какими-то законами, иначе будет невозможно жить — это очень интересно, как за три года своего существования желтугинская республика прошла путь, на который человечеству понадобилось три тысячелетия. Первый закон, который они ввели, был законом управления, и это правильно, ибо без мозга управлять телом никак нельзя, а поскольку американцы

единственные из всех знали, как превращать сброд бродяг в организованное общество, то поступили по-американски: разделили приисковую зону на пять «штатов», в каждом штате выбрали по два старосты или сенатора, и из них получилось Правление, а во главе республики поставили выборного правителя, которого русские называли «старшина», американцы «президент», а китайцы и корейцы «ван», сам же он говорил про себя «канцлер», потому что был родом из Австрийской империи, горный инженер по профессии, а по имени Карл Фоссе, человек очень суровый, но справедливый.

Второй закон был о налогах, то есть о кровоснабжении, без которого мозг не сможет существовать и руководить телом: каждый старатель должен был платить в общую казну за право разработки участка, каждый приплытый торговец вносить десятую часть стоимости своего товара, каждый постоянный торговец — десятину с оборота, и эти деньги шли на жалование правлению, на содержание стражи в сто пятьдесят человек и на общинную больницу, которая лечила бесплатно.

Третий закон был закон о собственности, потому что человек должен твердо знать, что в этом мире его, а что чужое, и главный золотиносный разрез, тянувшийся вдоль реки на шесть верст, поделили на шестисаженные участки, каждый из которых принадлежал одному собственнику или артели, а в окрестных лесах всяк мог рыть и мыть золото, где захочет, и там никакого права собственности не было, но отнимать добытое запрещалось под страхом кары, и для этого был принят четвертый закон — закон о наказаниях, потому что неразвитый человек подобен неумышленному ребенку, и если он не будет бояться наказания, то станет вести себя плохо и опасно. Президент Фоссе, который также был судьей, в один из первых же дней приказал повесить тридцать убийц, воров и насильников,

и после этого на Желтуге перестали убивать, грабить и учинять плотское насилие над женщинами — правда, еще и потому, что приводить в республику женщин объявлялось тяжким преступлением...

— Но почему? — восклицаю я. До сего момента я слушала с одобрением и интересом, а тут возмущилась. — Что ж это у мужчин всегда и во всем женщины виноваты?

— Так же, как у женщин мужчины, — посмеивается Иван Иванович, — но президент Фоссе поступил разумно, и вовсе не из соображений нравственности — просто женщин в тех диких краях было так мало, что появление каждой вызывало непрекращающуюся череду ссор, скандалов и убийств, вот правление и постановило: кому охота потешиться — езжайте на тот берег Амура, в станицу Игнашино, там и кабаки, и продажные девки, а на Желтуге чтоб ни собачьих свадеб, ни пьянства не было, и спиртное тоже объявлялось под запретом, хотя, конечно, за это карали не смертью, а всего лишь розгами, но по водке мужчины сохнут больше, чем по бабам, и поэтому в окрестных лесах, рискуя жизнью, бродили «спиртоносы», тайком продавали за большие деньги «сулю», самогон из гаоляна, и «ханшин», самогон из пшеницы, и были эти спиртоносы, если им удавалось уцелеть, богаче любого старателя, но лучше всех, конечно, устроились жители станицы Игнашинской, потому что именно там желтугинцы прогуливали свою немалую добычу, а даже самый неопытный поденщик, наемная скотинка, намывал за смену не меньше 5-6 золотников песка, и каждый золотник выкупался артельщиком по три рубля с полтиной — в России, как я потом узнал, деревенский батрак столько получал за месяц работы. Зато и цены в Желтуге были, как нигде, так что фунт хлеба стоил впятеро против обычного, фабричное же вино продавали из-под полы за стократную цену, и достать его было трудно, а платили за всё не деньгами (пото-

му что где ж было взять столько бумажек и монет) — считали на «штуки», и одна «штука» равнялась золотнику песка, либо четырем игральным картам, спрос на которые был очень велик, либо девяносто шести серным спичкам, которых тоже вечно не хватало, вот какая там ходила валюта...

Снова улыбка, похожая на воспоминание о смехе, раздвигает тонкие, почти бесцветные губы.

— Амурская Калифорния являла собою мир, каким он был бы, если бы на земле жили только мужчины без женщин: в одно и то же время очень страшный и очень смешной, как будто дети устроили свою жизнь без взрослых, договорились между собой жить по собственным правилам, и получилась вольница с некоторым количеством строгих запретов, как это бывает у детей — почему-то вдруг ни в коем случае нельзя делать какие-то вещи под страхом наказания, и наказания все ужасные, ведь дети существа жестокие. Дети любят яркие безделушки, громкие названия, неприязательные зрелища, любят объедаться лакомствами до расстройств желудка, играть в цветные стеклышки и фантики — было всё это и на Желтуте: главная улица пышно называлась Миллионная, хоть состояла из грубо сколоченных изб и фанз-временок, где вместо стекол была промасленная бумага; постоялые дворы все назывались «отелями», и на каждом клоповнике красовалась вывеска «Марсель», «Калифорния», «Тайга», а еще было казино «Монте-Карло», где играл выписанный с запада оркестр и бородатые старатели кружились парами под венские вальсы, а еще там был цирк с фокусниками, акробатами и жонглерами, даже зверинец с диковинными животными, которых распорядился доставить чуть ли не из Америки один новоиспеченный миллионер, и там я впервые узнал льва, тигра, слона...

— Постойте, но как вы могли всё это видеть? — (встре-

пенулась глупая Сандра, вообразив, что поймала рассказчика на противоречии.) — Вот всё это: дома, вывески, зверей? Вы же были слепым?

— Я не говорил, что я это видел, я всё это обослышал, а кое-что мне объясняли товарищи, среди которых я жил, и я, например, знаю по собственным ощущениям, что лев тяжелый, бесстрашный, лениво-медлительный со стальной пружиной внутри и еще такой... не сумею хорошо объяснить... *безразличный*, а от людей я знаю, что он грязно-желтый и на голове у него длинная шерсть, как распущенные волосы.

Вспыхнувшее было подозрение исчезает, я хочу слушать дальше.

— Ночевал я на прииске, среди людей, с которыми пришел на Мохэ, это всё были китайцы, мы жили в одном из пяти «штатов», который весь был китайским, русские нас звали «манзами» и дразнили за косу «девками», но это были храбрые и сильные мужчины, охотники за пантами и соболем, искатели женьшеня, беглые солдаты — всякие люди, в том числе и плохие, однако меня никто не обижал, а наоборот, почитали и хорошо кормили, потому что я мог вылечить больного или облегчить страдания раненого, я тогда уже кое-что умел, а жил я при лавке, торгующей тигровым жиром для заживления ран, тигриной желчью для храбрости и порошком из костей тигра — тоже для храбрости, но весь день я бродил по тайге — искал то, что нужно было найти, и, знаешь, Маленькая Тигрица, вскоре я обнаружил, что слепому в тайге гораздо удобнее и безопаснее, чем, скажем, в большом городе, потому что лес гораздо предсказуемее и яснее, все таящиеся в нем угрозы человеку опытному не страшны, особенно если он может *обослышать масть*, а со временем я начал ходить по тайге ночью, и тогда стало совсем легко, ведь дневной свет мне не был нужен, и в темноте любой разбойник (а раз-

бойников вокруг приисков было много) ничего не видит.

— Так что же вы искали в тайге? — спрашиваю я. (Ну *нахонца* то!) — Тоже золото?

— Нет, золото я не искал, но я повсюду на него натыкался, потому что его там было много, причем если в реке и по ее берегам преобладал золотой песок, то в тайге я несколько раз натыкался на россыпи самородков, они лежали совсем близко к поверхности, и я чувствовал эти места, потому что хоть золото и неживое, но масть у него очень сильная, такая сильная, что ее обослышишь издали, и это иногда мне очень мешало, ибо забивало масть вещи, которую мне нужно было найти, поэтому я начал убирать самые крупные самородки из этих скоплений, чтоб они меня не сбивали, и я складывал их в яму на берегу речки, и через несколько месяцев их там накопилось много, а найти мой тайник никто не смог бы, поэтому золото на-верняка и сейчас там.

Всё, теперь я знаю главное: золото — не выдумка, оно существует на самом деле. Или существовало сорок с лишним лет назад... Мало ли что могло с ним случиться? Меня распирает от вопросов, но я уже поняла, что задавать их нужно осторожно, спрашивать только про самое существенное, иначе увязнешь в многоречивом ответе. Сначала — про непонятное.

— Почему же вы не унесли золото с собой?

Иван Иванович жмурится — вспомнил что-то приятное.

— Зимой, когда многие старатели перебрались на русский берег ждать весны и прогуливать золото, пришло известие, что цзяньцзюнь послал из Цицикара на Мохэ большое войско и всех подданных империи ждет смертная казнь, поэтому одни люди начали разбегаться, а другие, наоборот, кинулись мыть золото на опустевших участках, и таких было много, я же стал искать то, что требовалось найти, и днем, и ночью, я научился ходить на лыжах, спать

в снегу, я уже знал, в каком углу тайги масть обослышится сильнее, и с каждым днем сужал круг, и в конце концов мне повезло: я нашел то, что искал, всего за день до того, как на Мохэ пришли каратели. Они пришли, а я ушел — на русскую сторону, потому что, если б я остался в Китае, мне отрубили бы голову, как всем остальным китайцам и маньчжурам, которых поймали, русским же и прочим иностранцам солдаты дали уйти за Амур. Ты спросила, почему я не взял с собой золото? Потому что по всей тайге нас подстерегали лихие люди — китайцы-хунхузы и русские-варнаки — нападали на бегущих с Желтуги, грабили их и убивали, и мало кому из старателей удалось вынести с собой добытое, а со слепого что возьмешь? Несколько раз общарили да отпустили, а главное мое сокровище их не заинтересовало, потому что они искали только золото, и благодаря этому я остался жив, ушел в Россию, выучил русский язык и много лет прожил среди русских, потому что привык к ним, и хоть я иногда ездил странствовать по миру и подолгу жил в других краях, я всегда возвращался в Россию, а когда русские построили в Маньчжурии свой город, я стал жить здесь, где обе мои родины слились вместе.

— А вдруг все-таки ваш тайник обнаружен и золото украдено?

(Поразительно, она опять пропустила мимо ушей самое главное!)

— Это было бы плохо. Очень плохо, — с непривычной лаконичностью отвечает Иван Иванович, его лицо будто застывает.

— Но если золото пропало, мы зря потратим время! Давид погибнет! — вскрикиваю я.

Он тихо и опять очень коротко роняет:

— Не в золоте дело. Золото я тебе найду другое, его там много.

(Даже теперь я ничего не поняла, а ведь считала себя

умной.)

— Ну да, конечно... — бормочу я упавшим голосом.

Мысли мои сумбурны и тревожны. Хуже то, что и лицо Ивана Ивановича, всегда безмятежное, тоже мрачно.

Только после рассказа Ивана Ивановича я узнала, куда именно мы направляемся. Накануне он лишь велел мне взять два билета до станции Якеши и продиктовал список вещей, которые понадобятся в дороге. Перечень был странный, но я безропотно всё исполнила. Хотя встреча с обитателем трущоб произвела на меня не слишком обнадеживающее впечатление, никакого другого шанса спасти Давида я не видела. Броситься хоть на край света, с кем уютно, только не сидеть без дела, не сходить с ума от беспомощности!

Я купила: крупу, бульонный концентрат, один накомарник, два комплекта охотничьей одежды, две пары сапог, спички в водонепроницаемой упаковке, кирку с лопатой, ведро и котелок, набор походной посуды, палатку и множество других вещей, так что пришлось доплачивать железной дороге за провоз багажа.

Итак, мы отправляемся в самый дальний угол Маньчжурии, в дикие и безлюдные места, далеко отстоящие от дорог и селений. Во время пятиминутной остановки поезда в Цицикаре я купила на станции карту северных провинций и справочник «Мань-жоу-го», только что выпущенный синьцзунским издательством.

Маршрут стал более или менее ясен. Наш путь лежал на территорию, принадлежащую Фын-Юаньской золотопромышленной компании, но справочник сообщал, что период добычи начинается только в конце августа, когда сузятся и обмелеют таежные реки, а до того времени на

приисках Мохэ пустынно. Это известие было отрадным.

Зато дорога, которую предстояло проделать, оказалась еще длинней и трудней, чем я думала, отправляясь в путь.

В прежние времена добраться до Мохэ можно было в какие-нибудь два дня: доехать по КВЖД до пересечения с Транссибом, потом от станции Карымской до Ерофея Павловича, оттуда переправиться через Амур — и километрах в двадцати от российско-китайской границы уже начинался район приисков. Однако о проезде через советскую территорию нечего было и думать. Нам предстояло сойти с поезда в Якеши, а оттуда двинуться на север. Судя по справочнику и карте, дорог там нет, придется пятьсот километров идти через долины и горы Северного Хингана. Разве это под силу городской жительнице и слепому старику?

Нет, я не боялась трудностей и опасностей. Но я хотела быть уверенной, что всё это не бессмысленная авантюра.

Способ существовал лишь один: *разъяснить* моего спутника — понять, что он все-таки за человек и стоит ли ему доверять.

Бережно и с удовольствием раскрываю я страницу, где Сандра, пытаясь «разъяснить» Ивана Ивановича, задает ему вопросы и всё глубже погружается в туман.

Я вспоминаю кое-что из университетского факультатива по психологии, которой интересовалась как наукой, необходимой для будущей общественно-политической деятельности. Чтобы человек раскрылся, лучше на время отойти от темы разговора, особенно если собеседнику хорошо понятна направленность вашего интереса и он может заранее предугадывать ваши вопросы.

Милым девичьим голосом спрашиваю:

— Послушайте, почему вы все время величаете меня Маленькой Тигрицей? Ну, про тигрицу вы объяснили, но какая же я маленькая? Я выше вас, метр семьдесят с хво-

стиком.

— Тигрица и должна быть с хвостиком. — Он смеется. Оказывается, на события, происходящие не в прошлом, а в данный момент, Иван Иванович может реагировать и настоящим смехом, а не тенью смеха. — Я называю тебя маленькой, потому что ты пока еще растешь.

— До каких же лет я буду расти?

— Если будешь правильно жить, лет до сорока или до пятидесяти.

Я делаю гримасу.

— Тогда уже и жить останется всего ничего. Не успеешь оглянуться — старость.

— Нет, Маленькая Тигрица, ты ошибаешься, — говорит он и больше не улыбается, — настоящая жизнь начнется только после того, как ты станешь совсем взрослой, и, если у тебя это получится (а стать взрослым мало у кого получается), ты будешь жить в полную силу еще лет семьдесят или даже сто, пока в тебе не иссякнет Жизнесплет, который китайцы называют «энергией ци», индийцы «праной», а европейцы никак не называют, потому что ошибочно верят в существование некоей личной души, а душа не личная, она всеобщая, и каждому из нас при рождении дается во временное пользование ее малая частица, а уж от человека зависит, сделать эту кроху большой и яркой или уморить.

Слушаю, снисходительно улыбаясь, благо он не может видеть моей улыбки. Магия, длившаяся во время его рассказа, ослабела, и я уже снова не очень-то верю, что этому говоруну девяносто девять лет. И это бы еще ладно, но не выдумал ли он и про золото?

— Ты недоверчиво улыбаешься, я знаю. — Иван Иванович тоже улыбается. Кажется, я его забавляю. — Ничего, я научу тебя, как стать из маленькой тигрицы большой и оставаться ею много-много лет, если ты, конечно, захочешь

учиться.

— А как можно этому научиться?

— Как в школе — слушая учителя и делая домашние задания. Чем прилежней будешь учиться, тем быстрее и лучше всё усвоишь, ведь я только объясню тебе упражнения, как телу и духу увеличивать и долго сохранять силу, но сможешь ли ты эту науку усвоить и насколько хорошо ею воспользуешься, зависит только от тебя, и учти, пожалуйста, что сам я — не лучший образец правильно сохраненного Жизнеспета, потому что я не настоящий даос, прошедший полный курс обучения, я почти до всего доходил своим рассудком, а это одновременно хорошо и плохо, ибо, с одной стороны, развивает ум и позволяет придумывать новое, но с другой, вынуждает тратить много времени на открытия, которые давно уже кем-то сделаны.

— Что за упражнения? — перебиваю его я. Философствования мне неинтересны, а вот если Иван Иванович действительно владеет какими-то даосскими практиками, это может оказаться любопытным. Я много читала о невероятных способностях, которые развивают в себе горные отшельники и просветленные старцы.

— Суть их проста, — начинает объяснять Иван Иванович, — как просты все основные вещи, потому что сложными бывают только необязательные второстепенности...

(Слушай внимательно, бестолочь! Что ты пялишься в окно? Потом будешь жалеть, что половины не запомнила!)

— ...Если хочешь жить долго, сохраняя внутреннюю силу, нужно научиться управлять своим кровотоком, ибо с ним по телу круговращается Жизнеспет, и потребность в нем не одинакова, она меняется в зависимости от того, что ты делаешь в данный миг: мыслишь, бежишь, работаешь, любишь или спишь, поэтому движение крови нужно ускорять или замедлять, направлять в некий участок тела

или, наоборот, выводить оттуда — например, если ты ранен и хочешь остановить кровотечение или требуется унять острую боль... — Он вдруг делает паузу, вытягивает руку и с удивительной для слепца точностью щелкает меня по кончику носа. — Но ты слушаешь про Жизнесплет без интереса, поэтому я про него сейчас говорить не стану, и в любом случае ты еще слишком молода, чтобы это понять, тебе придется подождать осени...

(Я вздрагиваю — не тогда, а сейчас. Сандра слов про осень не поняла, сочла очередной восточной цветистостью. Но я-то знаю, что он имел в виду.)

— Поэтому делай упражнения, которым я тебя научу, и ни о чем не задумывайся, лишь бы только они вошли у тебя в привычку и стали естественной частью твоего дня, а к учебе можем приступить прямо сейчас, и если всю долгую дорогу через леса и горы до реки Мохэ, а потом обратно ты тоже будешь упражняться, то, я думаю, для основы этого хватит и дальше ты сможешь двигаться сама.

— Я готова. Мне записывать?

Я потянулась за блокнотом, но Иван Иванович меня остановил.

— Знаешь, из-за того, что в юности я не любил учиться, а потом ослеп, я не прочитал за всю жизнь ни одной книги и от этого не привык полагаться на письменное слово. Если ты один раз понял суть, потом уже не забудешь, она сама запишется вот здесь. — Он показал себе на голову. *(Интересно! Сандра о строении мозга имела самое смутное представление и не обратила внимания, куда именно ткнул своим сухим пальцем Иван Иванович, но я-то теперь вижу: он показал не просто на голову, а на височные доли, ответственные за накопление памяти.)* — Так что довольно, если ты усвоишь главное: кровь в тебе должна перекачиваться, подобно океанским приливам и отливам, что повинуется силе Луны, а Луной будет твой мозг, это он станет решать,

какой части тела сейчас требуется приток крови: слуху, если ты прислушиваешься; зрению, если вглядываешься вдаль; сердцу, если нужно убыстрить движения, а со временем можно и усиливать либо ослаблять даже собственные чувства, если, конечно, ты захочешь ими управлять, потому что человек, хорошо владеющий своими чувствами, избавляется от душевной муки, но зато и лишает себя радости...

(Это он про осень, опять про осень!)

«Из-за того, что он не прочитал ни одной книги, в его рассуждениях столько тривиальных, даже банальных мыслей, — думаю я, не забывая вежливо поддакивать, — такова участь всякого домотканого философа, даже если это ум глубокий и незаурядный». *(Что ж, по крайней мере Сандра уже сообразила, что имеет дело с человеком глубокого и незаурядного ума.)*

— Многие даосы придают большое значение строгой диете, но мой опыт всех этих ограничений не подтверждает, и я всегда ел то, что мне нравится, следя лишь за тем, чтобы не брать в рот ничего недозрелого или умерщвленного, потому что Жизнесплет есть во всяком животном или растении, и он превращается в отраву, если его рост прерывается насильно.

— Но ведь не падалью же питаться!

— Вредно есть мясо, но можно молоко и всё молочное; нельзя есть курицу, но можно неоплодотворенные яйца, а плоды лучше есть те, что уже упали с дерева, — цикл Жизнесплет в них завершился. Думаю, что точно так же питательно и полезно было бы мясо даоса, умершего после долгой и здоровой жизни, которая завершилась естественным путем, но только о даоса зубы ломаешь.

Я хихикаю, но не очень уверенно, потому что лицо Ивана Ивановича невозмутимо и я не сразу понимаю, что он пошутил. Или не пошутил?

— Упражнения и диета необходимы, однако есть еще

одно мощное средство, способствующее развитию в человеке Жизнелета, и я придумал для этого средства очень хорошее название — Точилка, ибо оно оттачивает мастерство управления кровотоком, как точилка заостряет кончик карандаша, — говорит Иван Иванович, явно гордясь своими словесными изобретениями, — а термин «Жизнелет», кстати, тоже придумал я.

(Лингвистическая глухость Ивана Ивановича я уже поминала. Эта его дурацкая «Точилка», да и «Жизнелет», — типичные примеры.)

— Начать нужно с самого легкого — с дыхания, и дышать я научу тебя быстро.

Теперь я смеюсь охотнее, штука дошла до меня сразу.

— Я умею дышать, все умеют дышать. Кто разучивается — умирает, — демонстрирую я, что у меня тоже есть чувство юмора.

— Нет, Маленькая Тигрица, дышать умеют очень немногие, а все остальные только надуваются и сдуваются, как лягушки, совершенно не понимая, что воздух — это не кислород и не топливо для легких, расходовать воздух попусту глупо, и чем скорей ты от этой дурной привычки отучишься, тем для тебя будет лучше. Во-первых, всегда следи, чтобы ритм твоего дыхания соответствовал твоему занятию: шагу, работе, пережевыванию, любви... — здесь я, кажется, от смущения моргаю, но он слепой, не замечает, — даже темпу мысли, но не один в один, конечно, шаг-вдох, шаг-выдох, а кратно движениям, например, во время еды сделал три жевательных движения — вдох, еще три жевательных — выдох, и это должно стать для тебя чем-то естественным, происходящим не по приказу сознания, а самопроизвольно...

Сандра слушает очень внимательно, для нее эта азбука цигуна внове, и неудивительно — лишь в шестидесятые

годы миллионы западных людей открыли для себя науку правильного дыхания. Я помню, что лекция Ивана Ивановича была долгой, прерываемой демонстрациями, но всё это сейчас мне не слишком интересно.

Учение продлится всю дорогу до Якеши, с несколькими перерывами, продолжится оно и потом.

Я сколжу по страницам, не задерживаясь. Там, в двухместном купе первого класса, был разговор еще на одну тему, и я хочу до него добраться.

Вот старик и Сандра сидят напротив, сложив ноги крест-накрест, и дышат сначала грудью, потом животом. Вот Иван Иванович показывает задержку дыхания, а Сандра, вытаращив глаза, следит за циферблатом. Еще картинка: он тычет себе иглой под ноготь и улыбается — кроветок в палец остановлен, совсем небольно. Сандра сострадающе морщится.

Не то, не то.

Стоп — вот оно.

Я покачиваюсь в такт покачиванию вагона, стараюсь дышать так, как мне показал Иван Иванович: глубокий медленный вдох на раз-два-три-четыре-пять-шесть, задержать воздух, который не воздух а энергия Вселенной в легких на раз-два-три, снова медленно выдохнуть на шесть тактов, и так всё время, при этом еще подлаживаясь под стук колес (что легко) и стараясь не думать о дыхании (что не получается). Снаружи темно. Мы вернулись в купе после ужина. Я хочу есть, потому что из всего меню «жизнеспасительной» диеты соответствовали только сырники со сметаной, а чаю мне брать было не велено, потому что он из молодых листочков и пить можно какой-то другой, особенный, которого у буфетчика не оказалось.

Электричества я не зажигаю. Ивану Ивановичу свет не

нужен, мне тоже. Я смотрю в черный квадрат окна и думаю о Давиде. Как он там сейчас? Понятно, что ужасно, но все-таки *как?* Ему голодно, страшно, его мучают бандиты, он не понимает, почему до сих пор не внесен выкуп, или, наоборот, знает про болезнь отца и впал в отчаяние? Я не могу себе представить принца израильского в унижении и ничтожестве. И не хочу этого представлять. Я тороплю колеса, чтобы они быстрее, еще быстрее мчали меня к цели. От этого дыхание мое учащается, сбивается с такта.

Неспешную речь своего спутника я почти не слушаю, меня даже немного раздражает говорливость Ивана Ивановича.

(Не мешай, глупая девчонка! Не заглушай его голос своими плаксивыми мыслями!)

— То, что называют «старостью», на самом деле является зрелостью, и это самая лучшая, самая долгая пора жизни, но люди этого не понимают, они боятся стареть, потому что для них старость — это болезни, телесная слабость и угасание ума, но такую старость бывает только у людей, неправильно проживших свою жизнь. Ты скажешь, что все старики таковы, и будешь почти права — но лишь в том смысле, что почти все люди проживают жизнь неправильно. Болезни с возрастом развиваются от дурного обращения с собственным телом; дряхлость происходит оттого, что человек ослабляет, а не возвращает свой Жизнелет; ум угасает у тех, кто мало пользовался мозгом и дурно с ним обходился. Всего этого можно избежать... — Он поворачивает ко мне голову, словно пытаясь понять, не уснула ли я.

— В самом деле? — рассеянно говорю я. — До старости еще надо дожить, пока у меня и в молодости проблем хватает.

— Безусловно! Старость не обязательно сопровожда-

ется немощами — посмотри на меня, я совершенно здоров и никогда не болею. То, что называют «старческой слабостью», на самом деле — замедление круговращения Жизнеспета, его постепенное созревание, и это не беда, а благо, потому что зрелому телу требуется меньше движения, оно меньше дергается и суетится, и от этого, если ты здоров, всё существо наполняется покоем и довольством. А против угасания разума есть свои средства — особые упражнения, которым я тебя со временем научу, и если ты будешь прилежно учиться, то когда-нибудь вырастешь из маленькой тигрицы в большую, и проживешь долго-долго, и уйдешь лишь тогда, когда будешь знать, что прожила свою жизнь счастливо и сполна, выпила ее сок до последней капли...

В этом месте я вынуждена остановить воспоминание, потому что в мою палату кто-то входит. Два человека, пожилых. Я их не знаю, эманации мне незнакомы.

Досадно, что я не дослушала речь Ивана Ивановича, адресованную не двадцатисемилетней девочке, а мне, мне!

Но, включив «обослух» и прочувствовав «масть» разговаривающей пары (словечки из лексикона Ивана Ивановича выскакивают, потому что во мне еще не затих его голос), я ощущаю уже не раздражение, а давно забытое чувство: зависть.

Вот отличная иллюстрация к панегирику старости, который Иван Иванович произнес перед своей невнимательной слушательницей.

Мои биорецепторы улавливают волну настоящего, беспримесного счастья, и я не успеваю вовремя остановить царापнувшую сердце мысль: «Если б я не побежала на звук трамвая, а оглянулась бы и остановилась... Если б я вернулась, мы могли бы стать такими же».

КЛИМ И ЖАБА

Есть тут, конечно, доля комичности. Прямо Герцен с Огаревым на Воробьевых горах. Но бояться комичности комично — цитата из самого себя. Мы давно уже по ту сторону этих смешных страхов, а скоро вообще будем *по ту сторону* — всего на свете, и надо отнестись к этому спокойно. Ну не спокойно, так ответственно, как ты привык относиться ко всему серьезному.

Он нарочно шел на несколько шагов впереди Жабы, чтоб она не видела его взгляда. На лестничной площадке перед третьим этажом пришлось остановиться, чтобы перевести дух, слишком быстро поднимались, но Клим закрыл глаза и таким образом уклонился от ее детектора лжи.

— Сердце? — сразу спросила Жанна. Она, естественно, была встревожена. — Дать жалюлю?

Это они так между собой называли пилюли, по-французски *gélule*.

— Нормально всё. Можем двигаться дальше.

И снова занял позицию в авангарде.

На томографию он ездил один, хоть Жаба упрашивала взять ее с собой, даже требовала и пробовала скандалить, но, когда поняла, что он не уступит, смирилась. Она всегда чувствовала границы возможного, потому что умница и спутница жизни.

Того, чего он боялся, исследование не обнаружило, но выяснилось другое, пожалуй, что и похуже. Определенно хуже. Клим поморщился на холодок страха в груди. Ладно, всё такое вкусное, одно слаще другого. Не чума, так холера. Когда-нибудь всё заканчивается, и лучше идти к концу не вслепую, а зная расклад карт.

На обратном пути из клиники он думал не о своих кислых перспективах, а о том, как сказать Жабе. Не говорить было нельзя. Врать ей он никогда не умел.

Задача...

Так и не придумав оптимального решения, он пошел не в главное здание, где жена в это время занималась французским. Полчаса, остававшиеся до ее возвращения, он решил провести дома, чтобы продумать сценарий непростой беседы.

Чудная штука — чувство дома. Он всю жизнь любил переезжать с места на место, путешествовать и не понимал, почему жене не терпится вернуться восвояси. А теперь понял. Дом — расширение твоего внутреннего пространства, вторая кожа с собственной системой дыхания.

Два года назад, приняв решение «удалиться от мира» (его шутка, которую она охотно подхватила), супруги с удовольствием взялись обставлять и декорировать свою квартиру в резиденции «Времена года». Не высказанную вслух, но витавшую в воздухе идею следовало бы сформулировать так: «Наше последнее жилище должно быть идеальным». Поэтому ничего лишнего, случайного, раздражающего, и чтоб ни один квадратный сантиметр не пропал зря. Это было, как увлекательная игра — разместиться на шестидесяти пяти метрах после российских хором. Будто на старости лет кукольный домик обустраивали.

Московская квартира и загородный дом были проданы, деньги переведены на счет, завещанный Фонду поддержки молодых ученых. Перед тем, как «удалиться от мира», Клим аккуратно завершил земные дела, сделал все нужные распоряжения. Себе оставил небольшой портфель — для развлечения, чтоб мозги не скучали. Но и эти акции были завещаны Фонду. Сыну с дочерью (они были двойняшки) после смерти родителей достанутся только личные вещи, на память.

Удачные получились дети. Умные, сильные, самостоятельные. Как-то, в самоедскую минуту, Жаба сказала: «Дети чаще всего вырастают хорошими, если мать их недостаточно любит». Ну, насчет «недостаточно» — вопрос спорный, но что правда, то правда: больше всего на свете она любила мужа, а о сыне с дочерью просто заботилась. С точки зрения Клима, угрызаться тут было не из-за чего. Потому что дети — дорогие, но временные гости, повзрослеют и уйдут, а муж и жена — это до конца.

У него была собственная теория воспитания. Детей нужно дрессировать, как породистых щенят, для самостоятельной жизни — вот в чем главный долг отца и матери, а вовсе не в том, чтоб тешить родительские инстинкты. Свою функцию Клим счел исполненной, когда Сашка с Машкой закончили аспирантуру и защитились. Такой у него с ними был уговор: получите полное образование, а потом живите, как угодно, — но не раньше, чем пройдете весь положенный курс ученичества. В качестве базы для взрослой жизни сын и дочь получили по квартире, а в качестве «подъемных» по сто тысяч долларов (очень неплохие деньги по российским меркам 1995 года). При этом наследникам было объявлено, что это всё и никакого наследства не будет. Вперед, ребята. Вся жизнь ваша.

И ничего, оба отлично устроились. Сашка пошел дальше по научной линии, у него в Калифорнии своя лаборатория. Машка занялась бизнесом, она всегда была немножко авантюристкой. Несколько первых блинов у девочки встали комом, один раз даже пришлось ее выручать с просроченным кредитом. Клим сделал это очень неохотно, потому что у предпринимателя не должно быть папочки с толстой мошной, это расслабляет. Но Машка молодец. Встала на ноги и долг вернула, даже настояла на выплате процентов, как за банковскую ссуду.

Нет, за детей опасаться нечего. Они люди взрослые, живут своей жизнью. Другое дело Жаба.

Вскоре после распределения, на самой первой своей работе, Клим закрутил роман с худенькой лаборанткой. Думал, легкое приключение, а получилась семья. Пятьдесят девять лет вместе прожили. И как жили! Никто им не нужен был. Дети, и те появились по недогаду, поздно. Только из-за того, что врач сказал: в таком критическом возрасте и на таком сроке рискованней делать аборт, чем рожать. У советских медиков той поры тридцать восемь лет для первородящей считались «критическим возрастом». А про то, что двойня, в те патриархальные времена выяснилось, когда живот уже на глаза лез. Клим настоял на кесаревом и сказал твердо: если что — спасайте мать. Начитался всяких акушерских ужасов, натерпелся страху! Слава богу, тогда всё обошлось.

Теперь, увы, не обойдется. Вопрос времени. Недолгого.

Как ей сказать, чтоб без напускной бравады и в то же время без трагизма? Нельзя же допустить, чтобы повисла черная туча, которая отравит и испортит им обоим радость оставшихся дней? Нужно полноценно жить столько, сколько получится, и не цепенеть от неизбежного. Как найти правильные слова, правильный тон?

Клим считал себя человеком обстоятельным, особенно в важных вопросах. А более важного вопроса, чем этот, в жизни, пожалуй, уже не будет.

Получаса не хватило. Через заднюю дверь он вышел наружу, пошел вдоль ухоженных цветников в сторону парка.

Навстречу гуляющей походкой шествовал Валерий Николаевич Ухватов. Увидел Клима — обрадовался. Видимо, скучно было полковнику.

Иногда они говорили об интересном. Спорили. Ухватов был человек нетолстый и непухлый, хотя, конечно, абсолютно противоположной группы крови.

— День-то сегодня какой, помните? — сказал Валерий Николаевич, приблизившись.

Сейчас эта встреча была исключительно некстати. В подобных случаях Клим отлично умел спроваживать докучного собеседника необидным, но решительным образом. Однако не стал. Потому что знал по опыту: иногда, если задача не поддается, лучше отвлечь мозг какой-то иной гимнастикой. Глядишь, решение появится само. У него много раз так выходило — и в науке, и в бизнесе.

— День? Вторник, кажется.

— Я не по то. Сегодня 22 июня. Годовщина. Я-то плохо помню, маленький совсем был. Только как мать плакала, отец ее утешал, ну и я, сопливый, заодно разревелся. А вы, Клим Аркадьевич, постарше моего. Наверное, запомнили. Вы какого года?

— Двадцать восьмого. Помню, разве забудешь? Речь Молотова я, правда, не слышал, в пионерском лагере был. А как Сталин по радио к «братьям и сестрам» зывал, собственными ушами слышал, вот этими. — Клим тронул пальцем ухо. — Родители меня к тому времени уже в Москву вывезли.

Полковник нахмурился, ему не понравился тон, которым Клим говорил о речи Сталина.

— Не любите Иосифа Виссарионовича, — не столько спросил, сколько констатировал Ухватов.

— Мягко говоря, не люблю.

— Зря. Если б не этот человек, нашей страны бы не существовало. Черной благодарностью платят ему потомки за труды великие. Нет пророка в своем отечестве. А Сталин обладал великим даром видеть будущее. Великим мужеством — брать на себя ответственность. И математиче-

ским умом, который умел выстраивать приоритеты. Самый первый из них для вождя — спасти государство, которым руководишь.

«Очень мне сейчас нужна эта дискуссия», — подумал Клим Аркадьевич, но разговора почему-то не прервал. А полковник был только рад, что есть перед кем высказаться.

— Еще в тридцать первом году Иосиф Виссарионович сказал, что у нашей страны есть не более десяти лет, чтобы подготовиться к невиданно тяжелой войне с мировым империализмом. Какая точность прогноза! Еще и Гитлер к власти не пришел, а Сталин уже видел, к чему идет дело. Он один понимал, что стране предстоит невиданное испытание на выживаемость. Шанс выстоять в войне с враждебным миром был только один: преодолеть нашу русскую разболтанность, превратить СССР в боеспособный организм. А для этого пришлось пожертвовать крестьянским укладом ради индустриализации страны. Уничтожить в армии ростки бонапартизма и анархии. Выстроить по струнке госаппарат. Жертвовать буквально всем ради укрепления обороноспособности. Это Сталин создал тяжелую промышленность. Наладил производство собственных самолетов и танков. Выжиг каленым железом разгильдяйство. И то ведь еле-еле в сорок первом продержались. Но все-таки победили! В первую мировую, имея союзников, не смогли с немцами сладить, а при Сталине одни против индустриальной мощи всей Европы сразились и выстояли. К сорок пятому стали первой державой континента! Сама Америка, в десять раз мощнее нас, много лет потом перед нами тряслась. Вот что такое Иосиф Виссарионович! Да, многих посадил и расстрелял. Да, не жалел солдат. Но иначе нельзя было. Коли не умеешь хорошо воевать, компенсируешь непрофессионализм кровью. Ради победы никакая жертва не бывает чрезмерной. А прояви Сталин мягкость, страна бы погибла. И вы лично тоже. Вы ведь еврей?

— Нет, с чего вы взяли?

Валерий Николаевич чуть смутился:

— Извините. Во всех интеллигентах есть что-то еврейское.

— А почему «извините»?

Ухватов засмеялся, махнул рукой: ладно, проехали, не цепляйтесь.

Но Клим завелся от страстной речи бывшего полковника и не цепляться уже не мог.

— Ваш кумир превратил страну в военный лагерь, используя один из двух двигателей, возможных в такой ситуации: страх. — Горячиться Клим совсем не умел. Он всегда говорил размеренно и спокойно, даже в раздражении. — Однако истории человечества известен и другой мотор, не менее эффективный. Это поощрение личной инициативы, использование силы человеческого духа. Темпы сталинских пятилеток безусловно впечатляют. Но, во-первых, экономический прирост капиталистических стран в периоды бума бывает ничуть не меньше. Возьмите Японию шестидесятых или любое другое «экономическое чудо» — тайваньское, сингапурское, ирландское. Прирост ВВП порядка 10% — в порядке вещей, а это выше, чем у нас во время первых пятилеток. То есть, можно было достичь не меньших результатов, не разрушая сельское хозяйство, не превращая население в рабов, не наваливая горы трупов. Ну, а уж о долгосрочных экономических интересах вообще говорить нечего. Страх — стимул сильный, но кратковременный. Ничего прочного на этом тряском фундаменте не построишь. Потому Советский Союз и обанкротился, что страх помаленьку иссяк, а нового двигателя так и не появилось. Знаете, в чем главное преступление вашего Иосифа Виссарионовича? В том, что он презирал своих соотечественников и не верил в них. А раз так — нечего было лезть по головам в национальные лидеры.

— Эх, умные вы люди, интеллигенция, а человеческой природы не знаете. — Ухватов печально покачал головой. — Достоевский — тот знал. А вы, современные, не знаете.

Климу стало даже смешно.

— Зато вы, гэбэшники, людскую природу постигли насквозь?

— Мы — постигли. Работа такая, — со спокойным достоинством ответил полковник. — Человек в принципе — еще то дрянцо. И наше население пребывает на среднемировом уровне паршивости, посередке между Угандой и Норвегией. Однако мы надежды не теряем, носа не воротим. Работаем с тем материалом, какой имеем, и теми средствами, каких этот материал заслуживает. Вот в чем состоит высшая мудрость государственной власти.

И тогда Клим не выдержал, совершил чудовищную бестактность. Потому что слышал этот поганый аргумент много раз — в качестве оправдания всяких мерзостей.

— Ну что ж, Валерий Николаевич, — медленно и отчетливо сказал он. — Давайте посмотрим на результаты. Я прожил жизнь по своей правде, вы — по своей. Возьмем меня. Я никогда никого не обманывал, не эксплуатировал, не давил, не дожимал, обращался с подчиненными уважительно, как с равными. Расстался со всеми по-доброму, дело после меня осталось и развивается дальше. На исходе жизни имею достаток, чистую совесть, покойную старость. А теперь возьмем вас. Вы всю жизнь существовали, воюя с выдуманнными врагами, и беспрестанно прибегали к некрасивым средствам во имя великой цели, которая в итоге оказалась, извините, кучей дерьма. На старости лет вы существуете за счет сына, которого презираете и на каждом углу называете коррупционером. Так кто из нас лучше знает правду жизни?

Говорил он очень вежливо, но что ни слово — удар ниже пояса. Ветеран КГБ даже отвечать на стал. Потемнел лицом, повернулся и побрел прочь, сторбившись.

Однако торжество Клиим ощущал недолго. Почти сразу же стало стыдно и противно. Переход на личности — это способ раздавить оппонента, но не опровергнуть его точку зрения. Притом способ нечестный. А нечестная победа хуже честного поражения — он сам всегда так говорил.

Очень недовольный собой, Клиим пошел через парк, такой же ссутулившийся, как посрамленный противник.

По инерции еще некоторое время думал про полковника, Сталина и прочую ерунду, потом спохватился: Господи, о чем это я.

Вдруг почувствовал сильную усталость, будто карабкался на гору, — был вынужден опуститься на скамейку у балюстрады, на краю обрыва.

Думал: возраст определяется не годами, а внутренним ощущением — поднимаешься ты к перевалу или уже преодолел его и спускаешься в долину. Ощущение подъема держится до тех пор, пока у человека больше сил, чем требуется, чтоб просто плыть по течению жизни. Избыток внутренней силы тратишь на движение вверх. Но наступает момент, после которого жизнь берет у тебя больше энергии, чем ты можешь потратить, и тогда начинается скольжение вниз. Это, собственно, и есть старость. Как во всяком плавном спуске, тут есть своя приятность.

Он смотрел на долину Сень: зеленое пространство с желтыми прямоугольниками рапсовых полей, парчовый пояс сверкающей на солнце реки, высокий небосвод. Какое спокойное, мирное, возвышающееся зрелище. Самый сильный аргумент в пользу существования Бога (если бы в этом вопросе аргументы имели смысл) — это вид пресловутого звездного неба, или заката над морем, или такой вот долины. Божественность мира воспринимается не через логику, а физиологически. Не через голову, а через поры кожи.

И стоило ему об этом подумать, как рисунок предстоящего разговора сложился сам собой.

Слова, конечно, важны, но еще важнее атмосфера и антураж. Где состоится беседа, не менее важно, нежели конкретное ее содержание. Нужно отвести Жабу в палату к Мадам. Это передаст главный мессидж лучше, чем любые объяснения, и можно будет обойтись без пафоса.

— Где ты пропадал? Я видела машину на стоянке. Что они тебе сказали? Я так волнуюсь! Почему ты не зашел за мной?

Она накинулась на него с тысячью вопросов, а он сказал лишь:

— Пойдем. Поговорим в другом месте.

— Почему не дома? Не пугай меня!

— Пойдем, этот разговор требует особенных декораций.

Он улыбнулся, глядя в сторону. Лучший способ отвлечь и успокоить женщину — разжечь в ней любопытство.

— Каких еще декораций? Куда «пойдем»? Что ты задумал?

Видя, что он улыбается, Жаба немного успокоилась. Она любила, когда ее интриговали.

— Ну хорошо, сейчас.

Поправила перед зеркалом прическу, накинула одну шаль, потом передумала — взяла другую. Клим смотрел и любовался: женщина, настоящая женщина.

До палаты Мадам они шли молча: он впереди, она сзади.

Внутри, по счастью, никого не было — кроме недвижимой фигуры на кровати.

Жаба поежилась, покосившись на обтянутый кожей череп, и поскорей отвернулась.

— Ужас какой. Зачем ты меня сюда привел? Вечные твои фокусы! Что показало обследование?

Он заговорил тихим, задумчивым тоном, каким всегда делился с нею самыми сокровенными мыслями. Знал, что жена сразу умолкнет и станет внимательно слушать.

— Посмотри на этот саркофаг. История цивилизации — всё большее и большее отдаление от Природы, противопоставление ей. Особенно это заметно в главном вопросе бытия — вопросе о ценности жизни. Природа всеми своими повадками и законами ежеминутно внушает нам, что жизнь никакой ценности не имеет, а смерть — ерунда, повседневное незначительное событие. Всё живое вокруг беспрестанно погибает, и нарождается новая жизнь, и тоже исчезает, бессмысленно и бесследно. А наша цивилизация безмерно раздувает значение человеческой жизни, которая объявляется сверхценностью. Даже если от жизни остается крошечная искорка, в цивилизованных странах ее берегут, не дают угаснуть. Хотя надо ли так уж лелеять огонек биологического существования, когда личность уже мертва, это вопрос весьма и весьма спорный...

Жанна очень любила, когда Клим пускался в монологи на отвлеченные темы. Внимать, как рассуждает вслух умный мужчина, — одно из самых приятных занятий на свете. Но сейчас он ее явно забалтывал, подводил к чему-то. Нужно немного подождать. Ему так привычнее, легче: вступление, завязка, кульминация, развязка. Не нужно его сбивать, сейчас он сам всё расскажет.

Господи, что же там все-таки обнаружилось? Неужели рак? Но в его возрасте это не самое страшное. После восьмидесяти онкологические процессы развиваются медленно, люди живут годами.

Клим говорил об истинном милосердии, смысл которого сегодня искажен и даже утрачен, — иначе медицина не стала бы столько лет глумиться над бедным телом этой

коматозной женщины, а Жанна уже еле сдерживалась, чтоб не схватить его за плечи и не крикнуть: «Да говори же про дело! Хватит топтаться вокруг да около!» Но она видела, что ему и так трудно. А на кошмарную мумию Жанна старалась не смотреть. Это Клим всё не сводил с нее глаз.

— Я это всё к чему... Ну, ты, наверное, уже сама догадалась.

Глаза у нее мгновенно наполнились слезами.

— Рак? Сердце?

— Нет. Мне сделали снимок сосудов головного мозга. Есть основания опасаться инсульта.

Жанна знала, они как-то говорили об этом, что инфаркта он не боится, потому что, как он выразился, «чик — и готово», но перед инсультом испытывает настоящий ужас.

Бедный, бедный...

— Не плачь, перестань. Это случится не сию минуту. Может, вообще не скоро. Но раз уж таковы мои... хм... перспективы, хочу с тобой договориться. Раз и навсегда, чтобы больше никогда к этому не возвращаться. Пожалуйста, Жабка, не позволяй им оставлять меня в таком вот состоянии. — Он кивнул на кровать. — Мы с тобой никогда об этом не говорим, и правильно делаем, потому что незачем каркать и портить себе радость жизни, но когда-то нужно. Давай один раз проговорим всё до конца, решим и будем спокойно жить дальше. Поговорим, как зрелые люди — без соплей. Хорошо?

Она кивнула и вытерла слезы.

— Хорошо.

— Когда со мной это случится, не давай им подключать меня к системе принудительного жизнеобеспечения. Я оставляю на этот счет юридически оформленное распоряжение, а ты проследи, чтобы оно было исполнено.

— Прекрасно, ты всё продумал. — Жанна старалась говорить спокойно. — Узнаю мастера планирования. А что будет со мной? Если ты, в каком угодно состоянии, живой и дышишь, это одна история. Если тебя нет — вообще нет, совсем другая.

Спокойно не получилось, голос сорвался.

— Я и о тебе подумал, — сказал он быстро, чтоб она не успела разреваться. — Всё под контролем, Жабка, капитан на мостике. Смерти ты не боишься, я знаю. Ты боишься того же, чего я: остаться одному. Предлагаю решение.

— Ну?

Она смотрела на него наполовину недоверчиво, наполовину с надеждой.

— Решение применимо для обеих договаривающихся сторон. В конце концов, нельзя быть стопроцентно уверенным, что первым чебулыткнулся именно я. — Клим подмигнул. Самое страшное было позади, и настроение у него поднялось. — У тебя, знаешь, такое давление, что еще вопрос, на какую лошадку ставить.

Но Жанна перехода на легкий тон не поддержала.

— Что ты придумал? Говори.

— Ты меня знаешь. Если я сообщаю плохую новость, то за нею обязательно последует хорошая. На книжной полке за сорок пятым томом «Брокгауза» я устроил секретик.

— Видела я твой дурацкий «секретик». Ты там прячешь от меня мерзавчик с коньяком.

Он удивился, но не очень. Привык за пятьдесят девять лет, что от Жанны спрятать что-либо трудно.

— Это не коньяк. Я бутылочку еще в Москве раздобыл.

А Жанна уже обо всем догадалась, и слезы сразу высохли.

— Ты у меня умничка, — сказала она. — Всё продумал, обо всем позаботился. За это и люблю.

Клим вопросительно глядел на нее. Неужто вправду моментально понял?

Жанна вздохнула: все-таки он не слишком лестного мнения о ее умственных способностях.

— Как принимать эту дрянь? — деловито спросила она. — На язык, что ли, капать? Или разбавлять? Не хотелось бы ошибиться, если что.

— Там уже всё, как надо, разбавлено. В рюмку — и залпом. Можно под лимончик.

Лицо мужа осветилось улыбкой. Он был счастлив, что неприятный разговор можно сворачивать. И все же Клим не был бы собой, если б не завершил тему теоретическим резюме.

— Хорошо быть нерелигиозным, правда?

— Не знаю.

— Окей, всё решено и сказано. Больше об этом не будем. Ни говорить, ни думать. Покаялись друг дружке, как Герцен с Огаревым, и вперед, заре навстречу.

— Ладно, Герцен. Идем отсюда, жуть берет.

Жанна совершенно успокоилась. Ей только хотелось побыстрее уйти из нехорошего места. Еще и старуха вдруг шумно завздыхала, будто где-то вдали запыхтел паровоз.

САНДРА СТАНОВИТСЯ ТИГРИЦЕЙ

Мне не нужно вызывать из памяти путь от железной дороги на север, я и так очень хорошо запомнила эти десять дней — вероятно, потому что ничего похожего со мной ни прежде, ни потом не случалось. Весь этот кусок лета представляет собою маленькую жизнь с началом, развитием, кульминацией и развязкой. Отдельное пространство, свое измерение времени, ни на что не похожий мир. Такое не забудешь.

Мы выгрузились на станции Якеши. Это был поселок, который вырос вокруг путейских мастерских, и, за исклю-

чением десятка домов, принадлежащих железнодорожному управлению, совершенно туземный. Здесь шла бойкая торговля скотом, пушминой, оленьими шкурами, рогами и всем прочим, что могли дать монгольские степи и хинганские леса. Товар пригоняли, привозили и приносили, подчас из дальних мест, маньчжуры, монголы, даже орочены и гольды, а покупали его или меняли на винтовки, консервы, соль, сахар, мануфактуру и другую городскую продукцию китайские торговцы.

В поселке пахло конским потом, навозом и пылью. Стоило чуть отойти от станции, и казалось, будто ты провалился в иную эпоху. Вряд ли здесь многое изменилось со времен желтугинской золотой лихорадки, думала я, когда мы с Иваном Ивановичем входили на постоялый двор, где скрипели несмазанные колеса, ревели верблюды, ржали лошади.

Это Иван Иванович велел отвести его «туда, где кричат верблюды». На мои многочисленные вопросы («Как мы доберемся до Мохэ?» «Что делать с багажом?» «Знаете ли вы тут кого-нибудь?» «У вас есть хоть какой-то план действий?») старик лишь добродушно улыбался.

Мы вошли в длинный барак с низким потолком. Сели за грубо сколоченный стол, попросили чаю, пить который не стали. Я не видела вокруг ни одного европейского лица, ни одного по-городскому одетого человека. На меня отовсюду пялились, и я ежилась под взглядами диких, оборванных людей, от которых, как мне казалось, исходит пугающий звериный запах. «Что тут делает круглоглазая девка?» — громко спросил кто-то по-китайски за моей спиной. «Наверное, шлюха. Видишь, с ней клиент». «Кто он? Купец?»

Иван Иванович с улыбкой обернулся, ничего не сказал, но, видно, было в его спокойном лице с полуприкрытыми глазами что-то такое, от чего соседи смолкли.

— Кто эти люди? — шепотом спросила я.

Всё с той же благодушной улыбкой Иван Иванович ответил: тут собираются перекупщики и оптовые торговцы, охотники и перегонщики скота, чтобы заключать сделки и собирать караваны, так как по нынешним временам маленькими группами передвигаться опасно — хунхузы. Есть тут, конечно, и агенты разбойников, присматривающие добычу.

Я нервно спросила, зачем мы пришли в этот притон и почему теряем драгоценное время.

— Иди в город, купи в лавках то, что тебе понадобится в дороге, потому что — я совсем забыл — женщинам нужны всякие вещи, без которых мужчины легко обходятся: мыло и гребешок, мазь от солнца и не знаю, что там еще, но только смотри, чтобы получилось немного и нетяжело. Ступай, ступай, жди меня на станции. Теперь я знаю дорогу и приду сам.

В этом я не сомневалась. Иван Иванович ходил небыстро, но уверенно и не спотыкаясь, причем безо всякой палки — уж не знаю, как у него это получалось. Иногда у меня возникало подозрение, что кроме «обослуха» он обладал еще каким-то удивительным органом чувств вроде эхолокатора, который помогает летучей мыши избежать столкновения с препятствиями. Бэтмен Иван Иванович — смешно. Но не более фантастично, чем прочее.

— Во сколько мы встретимся? Сейчас половина девятого.

Он засмеялся и ответил, что «во сколько» и «когда» — это городской способ мышления и что об этом мне нужно забыть, а свои часики убрать подальше. В тайге говорят: встретимся там-то и времени не назначают. Кто прибывает первым, просто ждет.

С тем я и ушла, поняв, что мешаю ему и что он хочет меня спровадить.

«Мыло и гребешок» у меня были, кремом от солнечных ожогов и мазью от комаров я запаслась еще в Харбине, но имелось одно очень важное дело, которое следовало исполнить прежде, чем мы покинем пределы цивилизации.

Я отправила со станции телеграмму до востребования на имя «Чао Фэн». Текст был тщательно продуман: «Товар будет оплачен, но прошу одну неделю отсрочки. Жду подтверждения. Сандра».

Пока не получу ответа, с места не тронусь, решила я.

Ответная депеша пришла с поразившей меня быстротой — всего через час. У Слова на центральном телеграфе наверняка был свой человек.

«Хорошо. Последний срок оплаты 29 августа. Чао Фэн», — прочитала я.

У меня было ровно тридцать дней. Достаточно, чтобы преодолеть дорогу в 500 километров и вернуться с золотом. Если оно там есть.

О том, что делать, если золота не будет, я себе думать запретила.

Теперь оставалось только ждать Ивана Ивановича. Он не пришел ни в течение дня, ни вечером. Несколько раз я порывалась идти на постоялый двор, но сумела одолеть нетерпение. Я понимала, что должна научиться доверять своему спутнику и слушаться его. Другого выхода нет: судьба Давида, а значит, и моя собственная, в руках старого китайца.

В полночь я кротко, как овечка, прилегла на деревянную скамейку, запретила себе спать и, разумеется, немедленно уснула.

Иван Иванович разбудил меня ночью, без единого слова. Тронув за плечо, я вскинулась. Не сразу сообразила, где я и что происходит.

Он сказал:

— Пойдем. Багаж уже вынесли. Пора в путь.

Было зябко. Хотя дни в северной Маньчжурии знойные, но ночью, особенно перед рассветом, всегда холодно. Отлично помню, как я шла в темноте, обхватив себя за плечи, за маленькой, сухой и очень прямой фигурой. Иван Иванович шел мерной легкой походкой, а я несколько раз споткнулась — на улице не горело ни одного фонаря, и, кажется, даже не было фонарных столбов. Нарочно не задам ни одного вопроса, думала я. Так или иначе всё сейчас объяснится.

Объяснилось, но не сразу. И вопросы задавать пришлось.

В темном углу маленькой площади или, может быть, перекрестка ждали три мула: два, судя по седлам, верховые; на третьем был навьючен наш багаж. У забора на корточках сидел какой-то человек, покуривая длинную глиняную трубку.

— Кто это? — спросила я. — Почему не лошади, а мулы, ведь они медленней? Почему не дожидаться утра?

— Это Бао, он хорошо знает дорогу на Мохэ, проведет нас туда и доставит обратно, а за это мы заплатим ему мулами и всем снаряжением, которое останется, это выгодная сделка и для нас, и для него, — сказал Иван Иванович. По тону было слышно, что он очень доволен своей практической сметкой. — Мулы лучше, чем лошади, если только не нужно уходить от погони, а нам уходить от погони не придется, потому что, если нападут хунхузы, мы все равно от них не ускорим: Бао не ездит верхом, из меня наездник тоже плохой, да и ты, городская барышня, вряд ли сможешь оторваться от опытного всадника, а мулы выносливей и никогда не оступятся на горной тропе или в дремучем лесу, к тому же я тщательно выбрал всех троих, послушав их масть. Твой вот этот, — Иван Иванович показал на большеголового и длинноухого уroda, — он очень терпеливый и будет уравнивать твою непоседливость. Мой вон тот, он слеп, как и я... — В самом деле, на одном

глазу у низкого широкозадого мула было бельмо, а другой глаз вообще отсутствовал. — И это для меня хорошо, потому что мы будем лучше понимать друг друга, а третий — тупой и скучный духом, зато очень сильный, в самый раз для тяжелой поклажи. Ты еще спросила, почему мы уходим затемно? Чтобы лихие люди не увидели и не увязались за нами следом — очень уж ты приметна, Маленькая Тигрица, поэтому достань из мешка штаны, куртку и сапоги, женское платье снимай, оно тебе понадобится не скоро.

— Прямо здесь?

Я огляделась на темные дома, на пустые улицы.

— Не стесняйся. Я слепой, а Бао привык жить в тайге и людьми не интересуется, ни женщинами, ни мужчинами.

Отлично помню, какой отчаянно смелой, презревшей все условности я себя чувствовала, раздеваясь при двух мужчинах, хоть один из них не мог меня видеть, а другой хоть и мог, но равнодушно глядел себе под ноги. Когда, уже облаченная в походный наряд, я подошла к Бао, назвалась и поздоровалась, он молча выпрямился и, сонно помаргивая, отошел в сторону. Судя по высокому росту и горбатому носу, он был маньчжуром, но наверняка я этого так и не узнала, потому что за всю дорогу Бао не произнес ни слова.

В конце первого дня я спросила, почему наш проводник не отвечает на вопросы, не глухой ли он.

Иван Иванович безмятежно ответил:

— Бао не глухой, но говорить он не умеет, а на постоялом дворе мне сказали, что он дурачок, и тогда я окончательно убедился, что он нам годится и что обослуж меня не обманул.

— Дурачок? — Я так резко повернулась, что упустила стремя. — Нас поведет пятьсот километров через дикие леса дурачок?!

— Не бойся, Маленькая Тигрица, и будь уверена, что в горах и в тайге Бао в тысячу раз умнее тебя и даже меня, а что он немой — не беда, разве тебе есть о чем с ним разговаривать и разве ты хочешь, чтобы проводник кому-нибудь рассказал, за чем мы с тобой ездили на реку Мохэ?

И все-таки не могу удержаться, вызываю из памяти ощущение пути.

Монотонный скрип седла, шелест сосен под ветром; щекощущий запах хвои и кислый — моего Ушастого; ломота в ягодицах и бедрах; стекающие за воротник струйки пота — всё это осталось во мне, живет, никуда не делось.

Вижу впереди размашисто шагающего Бао. Он ведет под уздцы Гомера (так я назвала слепого мула), Иван Иванович слегка покачивается в седле, седая голова повязана платком. Потом еду я, оттоняя веткой мошкарку. Поминутно оглядываюсь — не отвязался ли Бурлак с вьюками.

Времени здесь действительно не существует. Одна тропинка скрещивается с другой, сопки ничем не отличаются друг от друга, плавный подъем — плавный спуск, плавный подъем — плавный спуск, и кажется, что мы никуда не движемся, а качаемся, будто в гамаке.

Но вечером я проверю по карте и увижу, что за первый день мы преодолели больше семидесяти километров.

Весь этот край, вплоть до золотоносных районов, был незаселенным, но и на севере, где располагались прииски, один поселок от соседнего отделяло километров сто, а то и двести.

Дорога сохранилась в моей памяти будто бы поделенной на две части: дневную, когда я часами смотрела на голову своего мула, лениво подрагивающего ушами, да следила за медленным продвижением солнца по сине-изумрудному небу, в котором словно бы отражалась зеленая

чаща; и ночную — треск сучьев в костре, звон комарья и негромкий голос Ивана Ивановича, под который я проваливаюсь в сон.

Подъем, спуск, ледяные брызги ручья, снова подъем, снова спуск, поиск переправы, и так тысячу раз. Мазь от комаров, видно, была рассчитана на деликатных пригородных насекомых, потому что лесные кровососы ее игнорировали. Не очень-то помогал и накомарник: во-первых, в нем было душно, а кроме того, всегда находились пролазивые твари, умудрявшиеся проникнуть под сетку. Причесываясь по утрам, я перестала смотреться в зеркало, чтоб не видеть своей опухшей от укусов физиономии. А вот Иван Иванович насекомых вниманием не удостаивал. В первый день они облепили ему лицо, а он их даже не сгонял.

— Пусть наедятся досыта, мне не жалко, зато, когда моя кровь пропитается комариным соком, они отстанут, — сказал он нечто с научной точки зрения дикое, однако назавтра облако летучих гадов вилось уже только вокруг меня, а Иван Иванович ехал себе в полном покое и если обмахивался веткой, то исключительно как веером.

На пятый день поверхность земли разгладилась, холмы остались позади, и началась настоящая тайга. Бао вел нас мудреными зигзагами, обходя болота, которых в тех краях видимо-невидимо, и вода в них даже в жару невероятно холодная, потому что дно сковано льдом — вечная мерзлота.

Стоит мне дать памяти волю, и она, будто диаскоп, начинает показывать цветные слайды.

Пара коршунов над верхушками в синем окошке, окаймленном светлой зеленью лиственниц. Стая белых

цапель на берегу черного таежного озера, не помеченного на карте. Поляны какой-то непристойно сочной красоты, луга с преобладанием красных и оранжевых цветов, названия которых я не знаю.

Я гляжу вокруг и думаю: «Что названия цветов? Я здесь вообще ничего не знаю, словно прилетела на незнакомую планету. Двадцать семь лет я прожила в убеждении, что Земля — большой-пребольшой город, густо населенный людьми, а по краям этого мира есть, кажется, какие-то степи, моря и леса, но большого значения они не имеют. А оказывается, Земля — это огромный лес, и люди тут совершенно не важны и не нужны». *(Скоро Сандра поплывет на пароходке через три океана, и тогда она поймет, что Земля — не город и не тайга, а море, по которому разбросаны большие и маленькие острова.)*

Оборачивается Иван Иванович:

— Ты дышишь? Правильно дышишь? Я обослышу, что ты устала, а путь еще долгий. На привале я прибавляю тебе сил.

Привал. Бао повел животных к ручью. Мы с Иваном Ивановичем вдвоем.

— Жизнесплетом можно делиться с другим человеком, — говорит он, — если ты этого хочешь и если человек согласен, но для этого нужно сотворить кольцо.

Он снимает сапоги, чулки и мне тоже велит разуться. Мы садимся друг напротив друга, упираемся подошвами, он берет меня за вытянутые руки, велит изогнуть спину дугой, опустить голову, закрыть глаза и ни о чем не думать. Я очень стараюсь ни о чем не думать, но это трудно, потому что в мою незащищенную шею и голые щиколотки впадают десятки маленьких жал. И все же что-то во мне происходит. Через пять или десять минут (а может, через час, не знаю) мы расцепляемся, и я чувствую себя так, словно крепко выпалась.

Хорошее воспоминание. Оно освежает меня и восемь десятилетий спустя.

Мы прошли пятьсот километров, ни разу не встретив людей, хотя время от времени натыкались на следы их присутствия: кострища, наскоро сколоченные охотничьи балаганы, иногда — пустые консервные банки. Но селений на нашей дороге не попадалось. Сначала я думала, что Бао специально ведет нас в обход человеческого жилья, получив соответствующие инструкции, но наш проводник, пожалуй, был слишком тускл рассудком и вряд ли понял бы подобное указание. Нет, это Иван Иванович всё время был настороже и следил, чтоб никто нас не видел.

Бао отлично знал все тропы, перевалы, удобные для ночевки места, но в некоторых случаях Иван Иванович вдруг окликал его и велел остановиться. Какое-то время сидел в седле неподвижно, чуть откинув назад голову — я уже знала: «обослушивается», — и приказывал свернуть влево или вправо. Немой никогда не выказывал недовольства, просто слушался. Он, пожалуй, был чем-то похож на «скучного духом» Бурлака, замыкавшего наш маленький караван.

Когда такое случилось в первый раз, нам пришлось сделать довольно большой крюк через чащу, и я спросила, чем это вызвано.

— Опасные люди, не знаю кто, — коротко ответил Иван Иванович, — их лучше обойти.

Я напомнила ему, что он не позволил мне купить в дорогу ни карабин, ни хотя бы пистолет, и теперь нам нечем себя защитить ни от лесных хунхузов, ни от медведя.

— Лучшая защита от опасности — избегать ее, — улыбнулся он.

Даже сейчас, когда я и сама обладаю развитыми биоресепционными способностями, мне непонятно, как был устроен его внутренний механизм, помогавший нам не по-

пасть в беду. Ну, эманацию человека или хищного зверя он, допустим, чувствовал на большем, чем я, расстоянии — ладно. Но однажды, еще в горах Хингана, нам нужно было спуститься в ущелье, чтобы пересечь в мелком месте быструю речку. Мы с большим трудом, спешившись, добрались до самого низа и даже уже вошли в холодную воду, как вдруг Иван Иванович остановил нас, молча постоял и сказал, что надо искать другую переправу. Чертыхаясь, я шла по камням, вся вымокшая от клубившейся над берегом водяной пыли. Вдруг сзади раздался оглушительный грохот. Со скалы покатались камни, и их осыпью накрыло тропинку, по которой нам пришлось бы подниматься. Не вызывает сомнения, что рецепция у Ивана Ивановича была исключительной интенсивности и возможно даже не совсем той природы, что у меня. Теперь уж никто этого не разъяснит.

Только один раз Иван Иванович не почувствовал близости поселения. Это было уже в конце нашего пути, на шестой или седьмой день. Тропинка вывела нас из лесу на огромную поляну, надвое разделенную рекой, и я увидела в двухстах или трехстах метрах самую настоящую русскую деревню: избы, околица, деревянная церквушка. Бао шел себе, как ни в чем не бывало, ведя за собою мула, невозмутимо перебиравшего мохнатыми ногами, но и седок Гомера не выказал ни малейшего беспокойства.

— Мы едем в станицу? — поразила я. — Эти люди нам неопасны?

По домам, по восьмиугольной форме приземистой бревенчатой церкви было понятно, что это не деревня, а именно станица. После Гражданской многие казаки, воевавшие против красных, ушли на эту сторону вместе с семьями и расселились вдоль границы, чтобы оставаться как можно ближе к родным местам.

— Ты ошибаешься, там нет никаких людей, — удивился Иван Иванович.

Скоро я поняла, что он прав. Станица была безлюдна и, видно, уже давно.

Улица заросла бурьяном, в избах кое-где щерились осколками разбитые окна — то ли градом поколотило, то ли вороны клювом пробили.

Причина, по которой отсюда ушли жители, объяснилась, когда мы приблизились к колокольне. Немногим выше других домов, крепенькая, добротная, она была больше похожа на сторожевую башенку. Окованный медью крест покривился набок, к нему от земли зачем-то тянулся канат. Я подняла глаза и вскрикнула. На канате, перекинутом через крест, висел скелет в темном, бесцветном балахоне, который когда-то был рясой.

Всё стало ясно.

Три года назад, во время войны Чжан Сюэяня с Советами из-за контроля над КВЖД, Красная Армия нанесла несколько ударов по маньчжурской территории. Одной из задач было уничтожение станиц, откуда казаки совершали партизанские рейды на советскую сторону. То же самое, несомненно, произошло и здесь. Очевидно, все жители ушли заранее, а священник по какой-то причине остался... Непонятно только, почему большевики не сожгли поселок. Может, получили срочный приказ уходить? Во всяком случае, казаки в станицу больше не возвращались, иначе мертвец не висел бы до сих пор на кресте.

Помню, как мы отдалялись от гиблого места, и я ни разу не оглянулась. Нет у меня желания и теперь задерживаться в этой точке воспоминаний. Меня привлекают не события долгого пути на реку Мохэ, ничего особенно значительного там не произошло. Я хочу снова услышать голос Ивана Ивановича.

Днем, в седлах, двигаясь гуськом, мы молчали. Громко говорить не следовало — звуки в тайге разносятся очень далеко, к тому же Иван Иванович всё время был сосре-

точен, «обослушивался». Ночью, после ужина, я от усталости почти сразу отключалась — речи старика действовали на меня, как снотворное. Значит, нужно попасть в какой-нибудь из полуденных привалов.

Например, в этот...

Я лежу на мягкой хвое, жую сочную травинку. Место сухое, возвышенное, обдуваемое легким ветерком, который создает прохладу и относит мошку. Смотрю в небо, немного щурюсь — сияние дня, просеиваясь сквозь качающиеся ветви, слепит меня чередованием света и тени.

— ..Ведь что такое жизнь? — слышу я сквозь полудрему. — Частица Жизнеспета, которая на время поселяется в теле, а потом, когда тело преждевременно гибнет или полностью завершает предписанный ему путь, частица попадает обратно к своему истоку, но от одного человека она возвращается преумноженной, а от другого — еле мерцающей, и когда я это понял, мне стало ясно, в чем состоит цель человеческого существования и в чем разница между Добром и Злом, ибо это очень и очень просто.

— М-м-м? — лениво мычу я. Леню разомкнуть губы, чтобы выговорить: «И в чем же?»

— То, что способствует развитию твоего Жизнеспета, — Добро; всё, что его ослабляет, — Зло, ну а про цель жизни ты, конечно, сама поняла: жить нужно так, чтобы твой Жизнеспет не зачах, а достиг наибольшего расцвета.

— М-м-м? — издаю я глубокомысленный звук.

— Есть действия, которых следует избегать, и есть действия, которых избегать нельзя, а какой из поступков относится к каждой из этих категорий, тебе подскажет внутренний голос, ибо каждый человек, даже самый глупый и самый скверный, в глубине своего «я» всегда знает, какой его поступок на пользу Жизнеспету, а какой — во вред, но скверный человек тем и скверен, что находит оправдания

и отговорки, лишь бы не следовать списку простых и ясных правил, первое из которых гласит...

(Что она делает?! Ты с ума сошла!)

Я затыкаю уши, всё равно Иван Иванович не увидит. Мне хочется уснуть и увидеть во сне Давида, хотя бы разочек.

Но я так устаю, что никаких снов мне не снится...

(Так тебе и надо, свинья, отворачивающая пятак от рассыпанного жемчуга! Из-за твоей дурости «простые и ясные правила» Ивана Ивановича остались мне неизвестны. Бог весть, сколько из-за этого я совершила в своей жизни нелепого и недостойного!)

Мы добрались до заброшенной столицы «Амурской Калифорнии» за девять дней — прекрасный результат, свидетельствующий о том, что Иван Иванович не ошибся в «масти» нашего проводника.

Обширная вырубка, где когда-то стояли сотни домов, успела зарасти разнолесьем, и кроме ям да гнилых остатков бревенчатых срубов ничто не напоминало о недолгой и бурной истории золотой республики.

Сначала, когда Иван Иванович остановился на вершине низкого, покрытого ельником холма и объявил: «Вот центр поселка, здесь было Правление», я подумала, не заблудился ли он. Но потом заметила торчащий из мха ржавый угол, не без труда вытянула жестяную вывеску и прочла на ней трудно различимые буквы: «Управление Желтугинскими приисками».

Иван Иванович машет вниз на заросли:

— Этот пустырь назывался Орлиное поле, там были гуляния и сборища, а тут, наверху, стояли две пушки, из них палили, когда президент хотел держать речь или когда объявляли смертные приговоры. Прямо рядом с Правлением, вот здесь, — показал он на буйные кусты, — был дом

самого диктатора, с гладкими круглыми колоннами, — (руки рассказчика сделали поглаживающее движение), — и деревянной башней, откуда он обращался к собравшимся, а еще он поставил там большой телескоп и по ночам смотрел из него на звезды — так мне говорили наши китайцы, которые не знали, что такое телескоп, и думали, что правитель по большой трубе читает волю небес, я ведь и сам-то лишь много позднее понял, чем занимался на башне грозный и справедливый повелитель Желтути, которого, кстати сказать, несколько лет спустя я повстречал в Екатеринбурге, где он служил младшим маркшейдером на шахте и ни у кого не вызывал интереса, потому что про «Амурскую Калифорнию» в тех краях не слыхивали, а человек — такое существо, что в одних обстоятельствах он может быть великаном, в других же — карликом, и бывший распорядитель жизни и смерти пятнадцати тысяч подданных влачил в Екатеринбурге существование мелкой сошки, по субботам пил в трактире дешевое пиво и мечтал накопить деньги на драповое пальто...

(На этот раз я и не заметила, как память утащила меня в свои недра, но я уже не в палате, верней, не только в палате, но еще и на холме. Верчу головой, тяну шею — не могу поверить, что мы наконец у цели.)

— Где тайник? — прерываю я разглагольствования Ивана Ивановича. — Далеко отсюда?

Он поворачивается лицом к солнцу, которое начинает клониться к закату, однако до верхушек деревьев ему еще ползти и ползти. «Что, если всё разрешится сегодня, прямо сейчас?» — думаю я и задыхаюсь от волнения.

— Мы сегодня туда попадем?

— Видишь ли ты водяную мельницу, до нее примерно треть одного ли?

Его рука показывает прямо на сплошную зеленую массу тайги.

— Хотя ее, наверное, давно снесло весенними паводками. Неважно, нужно пройти два ли на запад.

И он идет первым, уверенно огибая стволы деревьев и перешагивая через коряги. Два ли — это всего километр. Так близко?

Бао связал мулов вереницей и ведет ее по нашим следам; сзади доносится треск, хруст, фыркание.

— А от того места, где была мельница, далеко? — нетерпеливо спрашиваю я, но Иван Иванович слишком сосредоточен, он не отвечает и не оборачивается.

Я сдергиваю накомарник. Плевать на кровососов, мне от возбуждения не хватает воздуха.

Что это? Кажется, шум воды.

Мы выходим на берег неширокой и неглубокой, но быстрой реки, русло которой испещрено большими камнями.

— Мельница была здесь.

Беру Ивана Ивановича за рукав, подвожу к куче черных бревен. Несколько обрубков торчат и из воды.

— Теперь нужно пройти семьсот пятьдесят шагов вниз по течению, к валунам, я покажу где, я уже чувствую это место, я обослышу масть. — И вдруг его лицо, всегда такое спокойное, озаряется улыбкой несказанного блаженства. — О, как мне не хватало этой масти!

Теперь он идет очень быстро, я едва за ним поспеваю и боюсь, не споткнется ли он о камни. Иван Иванович действительно чуть не падает, но я успеваю его подхватить.

— Слепцам бегать нельзя. — Он смущенно улыбается. — Ты лучше возьми меня под руку и веди.

Бао далеко отстал со своими мулами, но нам не до него. Не знаю, кто больше взволнован — я или Иван Иванович.

— Сколько уже шагов? Вы не сбились? — спрашиваю я.

— Я не считаю, это теперь не нужно. Справа от реки должно быть несколько больших камней, один размером

с буйвола, с восточной стороны он шершавый, а с западной гладкий.

Я вижу гряду серых валунов, но они не на берегу, а в стороне от реки. Говорю об этом Ивану Ивановичу.

Он:

— Это ничего. Река могла за столько лет поменять русло, а мой буйвол никуда не денется. Ты видишь его?

По мне все камни напоминают лежащих буйволов. Я срываюсь, бегу вперед, чтобы попробовать их на ощупь.

Старик, оставшись один, не замедляет шага. Споткнулся, упал на четвереньки, но сразу выпрямился и перешел на странный, семенящий бег. Я вижу, что он движется к самому большому из валунов, и тоже несусь туда.

— Этот? Этот?

Иван Иванович опускается на колени, проводит ладонью по серому боку камня. Я делаю то же самое. Действительно, освещенная закатным солнцем поверхность удивительно гладка — вероятно, в какие-то давние времена ее отполировало потоком.

— Какая сильная масть, — шепчет Иван Иванович, — какая сильная!

Меня всю трясет.

— У золота? Оно здесь? Вы его чувствуете?

— Нет, золота я не чувствую, его масть гораздо слабее.

— О чем же вы тогда говорите! Нам нужно золото! Где был тайник?

Как же меня бесит его идиотски-блаженная улыбка, это сонное выражение лица!

— Что? А, тайник. Понадобится кирка и лопата. Подождем, пока подойдет Бао.

Нет, ждать я не могу. Я мчусь назад, навстречу мулам. Вынимаю из тюка инструменты, снова бегу к валунам.

— Сначала нужно снять вот эти плиты.

Он показывает на плоские камни, сваленные у подножия «буйвола». Я смотрю на них с сомнением: кажется, одной мне не справиться, придется все-таки ждать Бао.

Но Иван Иванович наклоняется, легко берет верхний камень и снимает его — оказывается, это узкая плита. Вторую мы убираем вместе, за ней третью, четвертую, пятую.

В толще базальта зияет щель.

— Хорошее место, — говорит старик, опуская ее края. — Там внизу галька, и во время сильного дождя или таяния снегов вода не застаивается, уходит под землю. Он не мог испортиться.

— Золото не боится воды, — говорю я удивленно.

Я уже вижу сквозь зазор: в яме что-то лежит, но щель слишком узка.

— Теперь нужно упереться киркой вот сюда, а когда край отодвинется, подпереть его лопатой.

Я так и делаю. Базальт подается — он не монолитен, как мне показалось вначале. Теперь я вижу, что когда-то Иван Иванович вполне мог управляться с этим природным кладохранилищем в одиночку.

— Как вы нашли это место? — спрашиваю я сиплым от натути голосом.

— Искал и нашел, — отрывисто говорит Иван Иванович. — Ну, что ты там видишь?

— Мешки из плетеной коры. Они как-то странно блестят, — докладываю я, заглядывая в каменистую яму.

— Я хорошо смазал их жиром тигра. Не знаю, помогает ли он обрести храбрость, но от прения и плесени это средство очень хорошее и к тому же долговечное. А сколько там мешков?

— Кажется, три. Сейчас погляжу вблизи. — Я спрыгиваю вниз. — Нет, четыре.

— Ну, значит, всё на месте.

Дрожащими руками я пробую развязать кожаные ремешки, но они слиплись. Достая нож, взрезаю лоснящийся бок мешка. Острие с глухим стуком ударяется о металл, из прорехи высыпается несколько тускло-желтых комков со странно зазубренными краями. Я никогда не видела настоящих самородков, но сразу понимаю: это золото.

Хочу подвинуть мешок — еле получается. В нем веса столько же, сколько во мне. Если не больше.

Спасен! Спасен!

Я сажусь наземь, прижимаюсь лбом к бугристой поверхности мешка и плачу навзрыд.

— Золото странно действует на людей, я еще тогда это заметил. — Голос, звучащий над моей головой, раздумчив. — Одни начинают кричать и танцевать, другие плакать. Третьего не бывает.

— Я плачу не из-за золота. От облегчения.

Вытерев рукавом слезы, я начинаю ворожать мешки, пытаюсь прикинуть, сколько всё это может стоить. На триста тысяч наберется?

Перед отъездом я успела собрать всю информацию о курсе золота и его разновидностях, даже выписала в блокнот цифры. Так, мне известно, что средняя цена за грамм самородного золота составляет около одного американского доллара, то есть чуть больше трех юаней. В принципе хватит ста килограммов, а здесь минимум в два раза больше, притом, насколько можно судить по содержимому первого мешка, самородки всё нитевидные и очень крупные, а такие могут стоить в несколько раз дороже. Ценность определяется размером, формой и цветом: чем гуще оттенок желтого или оранжевого, тем дороже. Я взрезаю остальные кули. Перебираю колючие кусочки металла. Самый маленький с ноготь на моем большом пальце, а попадаются и величиной с кулак. На выкуп более чем достаточно!

Я снова реву.

— Помоги-ка мне спуститься...

Бережно придерживая, спускаю я своего спасителя в яму.

— Здесь золото, очень много золота, — всхлипывая, сообщаю я ему то, что он и без меня знает. — Вот, пощупайте!

Сую ему крупный самородок, но Иван Иванович отталкивает мою руку.

Он встает на четвереньки, с силой толкает один мешок, другой — те заваливаются, а старик пальцами разгребает гальку.

— Золото... Что золото, — бормочет он, — золота в земле много, а яншэнь один на тысячу ли...

Вдруг Иван Иванович вскрикивает — пронзительно. Я и не думала, что он способен издавать подобные звуки. В руках у него маленький кожаный мешочек.

— Что это? — спрашиваю я.

— То, за чем я сюда пришел сорок семь лет назад, и то, за чем я сюда пришел сейчас, я ведь тебе рассказывал. Мой яншэнь...

— Что?

— Это его я искал здесь, когда все искали золото.

Трясущими пальцами он достает ладанку алого шелка, а оттуда какой-то корешок, сухой, сморщенный, покрытый седыми волосками.

— Я искал его в тайге несколько месяцев, постепенно сужал круги, следуя «обослуху», и, в конце концов, нашел и отрезал ровно половину, а половину оставил в земле расти дальше, потому что выдергивать его весь было бы страшным злодеянием, а того, что я отрезал, мне вполне хватит и еще останется, даже если я проживу двести лет...

Он бережно сует свое непрезентабельное сокровище обратно в ладанку, вешает ее себе на шею.

Мне, конечно, любопытно, но я оставляю расспросы на потом. «Золото! Чудесное, славное золото! Ты спасешь нас с Давидом!» — шепчу я умильно.

Не думаю, чтоб Иван Иванович объяснил мне про «мужской корень» за один раз и уж во всяком случае не там, в яме, когда я была сама не своя от счастья, да и он тоже пребывал в слишком сильном возбуждении.

Он начал свой рассказ вечером, когда мы сидели у костра, а потом что-то дополнял и пояснял уже на обратном пути в Якеши. Постепенно фрагменты сложились в ту историю, которую я запомнила.

Еще в первой молодости, «живя в уединении и учась быть собой», бывший мятежник по имени Ван Ин узнал о том, что где-то в далеких северных лесах, к югу от великой реки Черного Дракона, растет корень, обладающий мощным «Жизнесветом». Поведал об этом юному слепцу некто, про кого Иван Иванович сказал: «Один мудрый человек, которого мне повезло встретить на своем пути — как тебе повезло встретить меня, а кому-то через много лет, может быть, посчастливится встретить тебя, если ты, конечно, вырастешь из маленькой тигрицы в большую». Его слова о моем везении прозвучали не похвалой, а констатацией факта, и я с благодарностью кивнула. Кто был учителем Ивана Ивановича, я так и не узнала — не хватило времени расспросить. Мне, увы, не суждено узнать, от кого получил Иван Иванович свое знание, и, что куда горше, я лишена возможности передать эту эстафету дальше.

Все знают про чудесные свойства женшенья, однако мало кому известно, что этот корень имеет две разновидности: женскую и мужскую. Первая (Иван Иванович называл ее «иньшень») хоть и редко, но встречается в десять тысяч раз чаще, чем вторая, а вот яншень, мужской ко-

рень, таежные собиратели даже не ищут, ибо и не слышали о его существовании, да если б и слышали, не нашли бы. На всю область произрастания дикого женшенья — а на Земле их всего несколько — приходится только один яншень, оплодотворяющий своей аурой женскую популяцию. Таким образом, на территории обитания дальневосточного женшенья есть лишь один мужской корень, и молодому Ван Ину было известно, что искать его следует где-то близ реки Мохэ.

Помню, что я внимала этому рассказу, словно волшебной сказке, и слушала ее так, как слушает маленький ребенок, — то есть верила каждому слову. Как было не верить после всех чудес, что произошли после моей встречи с Иваном Ивановичем?

Благодаря Желтугинской золотой лихорадке слепец смог попасть в заветное место. «Мудрый человек» некогда давал ему попробовать снадобья, изготавливаемого из корня, поэтому Иван Иванович умел отличить «масть» яншеня — такую сильную, что она была ощутима за много ли. Оставалось только найти драгоценное растение.

— Я искал четыре месяца, а понадобилось бы — искал бы четыре года или сорок четыре года, но все равно нашел бы или умер в поисках, — рассказывал Иван Иванович, — однако мой «обослух» был силен, упорство неиссякаемо и удача крепка. Последний день, полупьяный от близости яншеня, я много часов без остановки растирал руками и разгребал каждый вершок земли, пока не нащупал в ней источник «масти», и я взял половину, а половину оставил, потому что больше не нужно и нельзя...

Я спросила, где это место, но Иван Иванович сказал, что не помнит, что приказал себе забыть это, потому что и так взял слишком много. Из того, что взял, он прихватил с собой совсем чуть-чуть, остальное же спрятал в тайнике под валуном, похожим на лежащего буйвола. Иван Ивано-

вич боялся, что лесные грабители, охотившиеся на желтугинских старателей, отберут корень, приняв его за обычный женшень. Дважды слепца останавливали лихие люди, обыскивали с головы до ног, но крошечный кусочек яншеня, запрятанный в глазнице, под веком, так и не нашли.

— Почти тридцать лет пользовался я силой яншеня, но однажды, когда я был в Англии, в городе Лондоне, какой-то ловкий воришка срезал с моей шеи ладанку, наверно подумав, что я храню там какую-нибудь невероятную ценность, и это действительно было мое главное сокровище, только вору оно ни к чему... — Иван Иванович говорил это, грустно качая головой. — И найти свою ладанку я не сумел, потому что кусочек был очень маленький, а Лондон очень большой, и там столько разных «мастей», что они перемешиваются и заглушают друг друга... Я перебрался в Харбин, я ждал случая, который поможет мне вновь попасть на Мохэ, но ждать пришлось дольше, чем я думал. Если тебе, Маленькая Тигрица, посчастливилось встретить меня, то и мне посчастливилось встретить тебя. Шестнадцать с половиной лет прожил я без Хрустальной Радуги, зато теперь я наконец снова смогу ее вкусить.

...Хрустальная Радуга. Еще одно название, придуманное Иваном Ивановичем, но, пожалуй, более удачное, чем другие.

Первая ночевка на обратном пути. Не под открытым небом, а в заброшенной охотничьей фанзе, к которой вывел нас Бао. Сам он под крышей спать не любил и ушел к мулам. Мы сидим возле очага вдвоем с Иваном Ивановичем.

Во время дневного привала он не отдыхал, а принялся бродить по тайге, странно ссутулившись, будто принюхивался к земле. Мне стало любопытно, я пошла за ним и

увидела, как в зарослях папоротника старик садится на корточки и роется в земле.

— Что это? — спросила я.

— Иншень. Я уловил его «масть».

Он держал в руке грязный корешок, напоминающий формой человеческую фигурку. Женьшень! Я, разумеется, видела их в китайских лавках и удивилась только одному: как легко и быстро Иван Иванович нашел таежную драгоценность, в поисках которой бывалые старатели рыщут по лесам неделями.

— Вечером можно сделать Хрустальную Радугу, — полупроговорил-полупропел счастливый Иван Иванович, и на все мои расспросы ответил только: «Сама всё увидишь».

И вот я сижу, смотрю во все глаза.

Перед ужином он налил в бутылку из-под спирта немного родниковой воды, положил чисто вымытый иншень, потом с благоговением вынул из ладанки засохший корешок, поцеловал его и опустил туда же.

— Сейчас яншень оплодотворит свою женскую половину, нужно дать ему немного времени, а чтоб не мешал свет, я накрою бутылку.

— Стесняются они, что ли? — хихикнула я, но Иван Иванович сдвинул брови и строго поднял палец.

Я притихла...

— Пора, — говорит он примерно через час после того, как вечерняя трапеза закончена. — Смотри.

Показывает мне бутылку. Вода в ней приобрела серебристо-перламутровый оттенок. Иншень странно сжался, зато яншень разбух, стал втрое длинней и толще, морщинки и складки на нем разгладились.

— Женский корень отдал всю свою силу, теперь он ни на что не годен... — Иван Иванович вытряхнул иншень и небрежно швырнул на тлеющие угли. — А сила яншеня неиссякаема, вот почему его одного достаточно

на тысячу ли, и каждый раз для Хрустальной Радуги можно брать один и тот же, да не так много, а десятую часть, и этого хватит, только нужно соединять его с новой женской половиной — обычный женшень можно купить где угодно...

Он с трудом вынимает распрямившийся яншень. Зажмурившись, высасывает из него влагу и снова заворачивает в шелк. Потом медленно, с наслаждением выпивает из бутылки раствор.

Сидит неподвижно, слегка раскачивается. Я жду, что будет дальше.

Не выдерживаю:

— Что вы ощущаете?

— Мое тело стало вдвое легче и втрое сильнее, но это еще не то...

Молчим.

Вдруг Иван Иванович странно звонким голосом спрашивает:

— Маленькая Тигрица, неужели ты ничего не слышишь? Не слышишь хрустального звона? Мудрый человек, которого мне посчастливилось встретить в юности, называл это снадобье по-другому — «Растущее Дерево», потому что Учителю казалось, что, выпив зелье, он превращается в дерево: туловище — ствол, ноги — корни, руки — ветви, кожа — листья, и он чувствовал, как сквозь него текут соки солнца, но, я думаю, Учитель просто никогда не видел хрустальных люстр, потому что он был отшельник и отродясь не бывал во дворцах, а я во время войны один раз попал в губернаторский дворец и увидел, как прекрасна хрустальная люстра, и подул сквозняк из выбитого окна, и люстра закачалась, и в ней заиграла тысяча разноцветных огоньков, а еще раздался волшебный перезвон, и ничего красивее в своей жизни я не видел, потому что вскоре после этого лишился зрения... Сейчас я чувствую себя, как

хрустальная люстра на сквозняке или хрустальная радуга под дуновением ветра.

Сравнение с люстрой не показалось мне особенно романтичным, но радуга — дело иное.

— Я тоже хочу попробовать! Там на донышке осталось немножко. Можно я выпью?

— Правда, осталось? — Иван Иванович схватил бутылку и вытряс из нее на язык последние капли. — Тебе этого нельзя, ты еще не готова и не скоро будешь готова. Чтоб Хрустальная Радуга причинила не вред, а пользу, человек должен достичь духовной зрелости, иначе закончится бедой. Ощущение слишком сильное, оно во много раз сильнее опиумного дурмана, неготовый человек захочет испытать его вновь и вновь, а от этого может лопнуть голова, но про то, как неготовому человеку стать готовым, я расскажу тебе потом, потому что сейчас мне слишком хорошо и путаются мысли, давай просто помолчим и послушаем звук Жизнесвета, даже если он слышен только одному из нас...

И довольно. На следующую страницу я не заглядывала очень давно, не стану и сегодня.

Незачем.

Я долго допытывалась у Ивана Ивановича, что же все-таки дает ему Хрустальная Радуга кроме чувственного удовольствия? Объяснения показались мне путанными и невнятными. Раствор мужского и женского женьшеня «просветляет голову, словно радуга, озаряющая небо после грозы», притом «подножье радуги» можно и нужно перемещать с места на место — уж этого я вовсе не поняла. Прошло очень много лет, прежде чем в результате сложных исследований и экспериментов я более или менее разобралась в механизме воздействия яншенъ-иншеневого препарата на человеческий мозг.

«Когда ты будешь готова к Хрустальной Радуге и научишься двигать ее по своему небу, не оставляй во тьме ни одного закоулка, пусть все они один за другим озаряются ее светом, и тогда твой ум никогда не одряхлеет, а значит, никогда не одряхлеешь и ты», — объяснял Иван Иванович, но у Сандры в одно ухо влетало, в другое вылетало. Тайны гемоциркуляционных практик ее не интересовали, она думала лишь о том, чтобы скорее вернуться в город и освободить своего любимого. Нет, к Хрустальной Радуге она была определенно не готова.

Согласно учению Ивана Ивановича, сначала нужно подготовить свой дух, то есть «преодолеть страхи и избавиться от вожделений». Человек, подверженный суетным желаниям, подобен ребенку. Кто же дает младенцу в руки острое орудие, которым можно пораниться? А еще нужно подготовить тело: научиться управлять дыханием и на этой основе усвоить начатки регуляции кровотока. Лишь после этого можно приступать к самостоятельному употреблению препарата.

Весь этот путь я прошла и убедилась в его правильности, подтвердив каждый этап исследованиями и анализами, но сколько же времени было потеряно зря!

Обратная дорога всегда кажется короче, это известно, и у меня действительно о возвращении с Мохэ в Якеши осталось воспоминание как о недолгой и не слишком тягостной прогулке. К насекомым я то ли привыкла, то ли их стало меньше, а может быть, моя кровь, по выражению Ивана Ивановича, «разбавилась комариной слюной» и перестала казаться им вкусной.

Вероятно, сказывается и наслоение одних воспоминаний на другие, ведь путь на север мало чем отличался от пути на юг. Пожалуй, только одним: на привалах я сортировала самородки, перекладывала их из мешка в

мешок. В один — самые мелкие (на выкуп), в другой — покрупнее, в третий — еще крупнее, а самые отборные и яркие — в четвертый. Особенной необходимости в этом не было, но меня завораживал сам процесс и ощущение маслянистой тяжести природного золота. Однажды вечером к костру подошел Бао, устался на груду посверкивающих камешков, взял один и сунул в рот, но тут же выплюнул.

Что еще мне запомнилось?

Я пробую заглянуть в те дни, но там всё одно и то же.

Покачиваюсь в седле. Тропинка вывела нас к перевалу, открывается вид на долину, это тысяча оттенков зеленого цвета, а посередине сверкающим пунктиром полоска очередной полувывсохшей речки, но красоты природы мне приелись, и вниз я не смотрю. Я воображаю, как всё произойдет. Хунхузы выпустят Давида, он кинется меня разыскивать, чтобы выразить безграничную благодарность, скажет, что хочет быть со мною до конца своих дней, а я мудро и печально отвечу, что не верю в любовь из благодарности, что не хочу пользоваться его порывом и что любовь — не более чем наваждение. Я спасу Давида, а потом навсегда уйду из его жизни. Буду преодолевать страхи и вожделения, правильно дышать и превращусь из маленькой тигрицы в большую. А если очень уж защемит сердце, Иван Иванович научит меня отгонять от него кровь в менее чувствительные области тела.

И все же — лишнее доказательство того, насколько обманчива память, — обратная дорога заняла существенно больше времени, потому что в предгорьях Иван Иванович почуял близость тигра, которые в те края забредают очень редко, и мы были вынуждены обойти ущелье, через которое лежал самый короткий путь.

К железнодорожной станции мы вернулись ровно через три недели после того, как наш маленький караван ее покинул.

Всё было хорошо. До истечения назначенного срока оставалось достаточно времени.

Правда, мы опоздали к поезду, и пришлось взять билет на следующий день, но мне было чем заняться. В местном отделении «Русско-азиатского банка» я продала один самородок, самый маленький.

— Какой красавец! — сказал мне оценщик. — Целых десять граммов, такое не часто увидишь. Могу предложить сто юаней.

Наверняка в Харбине дали бы больше, но я все равно была очень довольна: самородное золото Мохэ ценилось дороже, чем я полагала.

В гостиничном номере на безмене я отвесила двадцать килограммов из первого мешка и сложила их в саквояж, купленный в пристанционном магазине. На выкуп этого хватит. Остальное золото еле поместилось в четыре больших чемодана, приобретенных там же. Это была доля Ивана Ивановича.

С Бао мы распрощались, если это можно назвать прощанием. Расчувствовавшись и даже прослезившись (у меня в тот день вообще глаза были на мокром месте), я обняла его и даже поцеловала, но проводник отвернул лицо и вытер щеку рукавом, а смотрел при этом только на мулов, которые отныне стали его собственностью. Достались ему и сапоги, котелки, остатки провизии, инструменты. Вероятно, Бао чувствовал себя богачом.

Вот он вперевалку уходит по улице, тянет за собою Ушастого, к Ушастому привязан Гомер, сзади плетется Бурлак, который, кажется, даже не заметил, что его ноша стала на двести килограммов легче. Оборачивается только

Гомер, мотает башкой и негромко ржет. Я машу ему рукой, но мул слеп.

От Якеши до Харбина семьсот километров. Поезд шел, кажется, часов двенадцать. Купе первого класса были все заняты, и мы ехали в четырехместном, с двумя молчаливыми железнодорожниками. Мы тоже молчали. Это была моя последняя возможность поговорить с Иваном Ивановичем, а я ею не воспользовалась. Мои мысли витали далеко, я вся была, так сказать, во власти вожделений и наваждений.

Когда наши соседи вышли покурить, Иван Иванович сказал, чтобы я не беспокоилась: переговоры со Словом он берет на себя. Я коротко поблагодарила, чтобы не тратить время на ненужные споры.

И всё же один важный разговор был, я это точно помню. Когда? Должно быть, в вагоне-ресторане.

Сейчас, сейчас...

На столе графин с минеральной водой, тарелка с овощами, омлет, но я не притрагиваюсь к еде, хоть и голодна. Я слушаю, как Иван Иванович рассказывает про свой «счастливы́й корабль».

— Мир, в котором мы живем, несовершенен, и я ничего с этим поделать не могу, потому что людям нужно пройти еще очень большой путь и преодолеть много крутых ступенек, прежде чем они окажутся наверху лестницы, оглядятся вокруг и наконец поймут, что решение всех проблем не снаружи, а внутри, и ответы на все вопросы тоже внутри, но это случится еще очень и очень нескоро, моей жизни не хватит, а мне, Маленькая Тигрица, хочется пожить в покое и гармонии. — Впервые я вижу Ивана Ивановича усталым, даже странно. И в горах, и в тайге он был неутомим. — Но такого места нигде на земле нет, и эта мысль долгие годы наполняла меня печалью, пока однажды на меня не снизо-

шло озарение: если такого места нет на земле, его можно создать на воде и, когда приближается Хаос, взять, да и уплыть в другую точку планеты. Как это говорят: всё гениальное просто, да? — Он засмеялся. — Всего-то и нужно, что много денег, а это пустяки, потому что золото у меня было припрятано и теперь оно со мной, и знаешь, что я с ним сделаю? — Я качаю головой. Мне очень интересно. — Я куплю корабль, небольшой, на десять или двенадцать кают, приглашу туда самых лучших людей, мужчин и женщин, которые тоже ищут покоя, и мы будем плавать на нашем счастливом корабле по всем океанам. Для слепого корабль — это очень удобно, потому что со временем можно весь его изучить, и потом, ведь на хорошем корабле всегда идеальный порядок, все вещи остаются на одних и тех же местах, я буду чувствовать судно, как собственное тело.

— Но где вы найдете таких людей? Как подберете команду? И потом, когда люди долго находятся в тесном общении, они всегда начинают конфликтовать и ссориться.

Он доволен моими вопросами. Ему нравится на них отвечать.

— Я всё продумал, Маленькая Тигрица. Подобрать правильных спутников поможет «обослух», он никогда меня не подводил, и я позабочусь о том, чтобы «масти» моих друзей хорошо сочетались между собой, поэтому никаких ссор не будет. Что ж касается команды, то мы все будем командой, просто я позабочусь о том, чтобы в число моих спутников попали хороший навигатор, хороший механик и хороший врач, а матросами станут все остальные, и служба будет нам в радость. Мы будем плавать по пустым морям, будем заходить в гавани, чтобы уйти от бури или просто посмотреть на других людей, будем разговаривать, будем заботиться друг о друге, и каждый станет заниматься тем, что любит, и никто никогда не будет одинок — если только сам не пожелает

единиться. А тебя я не забуду, я буду диктовать тебе письма, и ты мне обязательно отвечай, я хочу знать, как ты растешь, и если когда-нибудь ты захочешь к нам присоединиться одна или с тем, кого ты любишь, мы все будем тебе рады, и твоим детям тоже. У нас на корабле детям будет очень хорошо: потому что вокруг море с его хаосом, а внутри уют и гармония, и лучше этого сочетания ничего нет и быть не может.

Я улыбаюсь, мне нравится эта сказка, хоть она, конечно, из области фантастического.

— Кораблю нужно топливо, нужен ремонт, нужно плавать за стоянку в порту, покупать продукты, да мало ли? На какие деньги вы будете существовать?

Но у Ивана Ивановича и на это есть ответ:

— У меня много золота, Маленькая Тигрица, а корабль, как я уже сказал, будет не очень большой, поэтому половину денег я положу в банк, и деньги станут приносить проценты, так что нам не придется тревожиться о средствах. О, я очень хорошо всё продумал и подготовил, и теперь мой план осуществится очень быстро. Сначала я найду человека, который хорошо разбирается в кораблях, и мы поедем с ним в Шанхай, где можно купить или заказать любое судно, и пока его подбирают или строят, я стану ходить по разным местам, где собираются люди, и обослушиваться.

Речь льется и льется, ее звук утешителен, но я перестаю слушать. «Завтра, завтра!» — думаю я.

Затон — последняя станция перед Харбинским вокзалом, не пассажирская, а сортировочная, поэтому поезд стоит целых пять минут, хотя никто, кроме меня, здесь не выходит.

Когда состав начал замедлять ход — это произошло, наконец, секунд тридцать назад, — я наклоняюсь к самому уху Ивана Ивановича.

— Здесь я выйду. Спасибо. Вы самый лучший человек на свете.

Он дернулся.

— Выходишь? Зачем? Этого не нужно! Нельзя! Я чувствую опасность!

Соседи устали на нас, мы выходим в коридор.

Стоим друг напротив друга, скрежещут колеса, за окном выплывает перрон, наползают красно-серые корпуса депо, складов, мастерских. Лицо Ивана Ивановича встревожено, он шарит рукой в воздухе, хочет меня удержать, но я делаю шаг назад. У меня нет времени на препирательства. Сейчас мне понадобятся все мои силы без остатка, вся воля, вся выдержка.

— Не беспокойтесь, — говорю я. — Вечером я к вам приду.

Немного кружится голова, и сердце бьется быстрее обычного. В остальном я удивительно спокойна.

Вагон встал. Меня качнуло.

Возвращаюсь в купе, беру из-под сиденья тяжеленный саквояж, вежливо прощаюсь с попутчиками.

Иван Иванович загораживает выход.

— Если ты выходишь, я с тобой. Мы должны быть вместе!

Согнувшись, я ловко проскальзываю под его рукой.

— Тигрица отправляется на охоту, — шепчу я. — До вечера.

Из Якеши я отправила телеграмму: «Груз получен, жду подтверждения договоренности и инструкций. Сандра». Через час, как и в тот раз, пришел ответ: «Вас встретят в Затоне. Никаких отклонений от маршрута и посторонних контактов. При нарушении сделка отменяется с штрафными санкциями. Чао Фэн». Судя по тексту, в шайке должен быть кто-то русский или в совершенстве владеющий русским языком. Скорее всего, человек Лаецкого, если не

он сам. Но Лазецкий — это потом. Сначала нужно освободить Давида.

(Почему я ничего не сказала Ивану Ивановичу? Это было решено сразу, безо всяких колебаний. Сандра наврала себе, что не желает подвергать слепого старика опасности, он и так слишком много для нее сделал. На самом деле — это мне совершенно ясно — причина в другом: Сандра хотела, чтобы Давида спасла только она, она одна.)

Стою на пустой платформе. Поезд трогается.

— Так мы договорились?

Сую проводнику купюру. Он обещал помочь Ивану Ивановичу с багажом.

— Не извольте беспокоиться, барышня. Позабочусь, как о собственном папаше.

Вижу в окне Ивана Ивановича, слепо водящего руками по стеклу. Его губы беззвучно шевелятся, лоб пересечен глубокой складкой.

Я думаю: «Некрасиво. Нехорошо. Но ничего, вечером объясню, и он поймет. Мы будем долго говорить, обо всём. Когда Давид окажется в безопасности, на меня после целого месяца лихорадочной активности обрушится пуста, пусть Иван Иванович объяснит мне, как жить дальше».

(Он тебе ничего больше не объяснит, никогда. Это и пытались сказать тебе через стекло беззвучно шевелящиеся губы, да ты не поняла.)

Радует, что мне совсем не страшно. Даже весело. Я нетерпеливо оглядываю перрон. Ну же, разбойники, где вы? Саквояж стоит у меня между ног.

Через минуту после того, как уехал состав, от телеграфного столба отделяется фигура. Китаец в синей куртке и шляпе-канотье неторопливо движется в мою сторону, держа руки в карманах. «Похож на гондольера», — думаю я, гордясь своей беспашашностью. Прав Иван Иванович: я — тигрица.

Задорно машу рукой:

— Чао, Фэн!

Прищуренный быстрый взгляд пробегает по мне, останавливается на саквояже.

— Где выкуп? Пливезла?

Выговор нечистый. Телеграмму отправлял не этот тип.

— Сначала я должна убедиться, что пленник жив. Потом поедем за выкупом.

Хунхуз сразу теряет интерес к саквояжу.

— Холосо. Едем.

Двадцатикилограммовую ношу нужно взять так, словно там тряпки, дорожные принадлежности, всякие дамские глупости — ничего тяжелого. Ничего, руки у меня сильные. По счастью, китайцы не джентльмены, и «гондольеру» не приходит в голову предложить даме помощь.

Возле станции ждет коляска. Никогда не видывала такого здоровенного рикшу — не человек, а вол. Садимся на скрипучее сиденье, и рикша, ни разу на меня не посмотревший, разгоняется до ровной и спорой трусцы.

Столько лет прожив в Харбине, я впервые пользуюсь этим средством передвижения. Оно дешевле извозчика и тем более таксомотора, но интеллигентные люди на рикшах не ездят, это считается неприличным — как можно поощрять эксплуатацию унижительного, тяжкого труда?

Судя по плечищам богатыря-китайца и по легкости, с которой он тянет коляску, труд совсем не кажется ему тяжким. Я вижу впереди мост через Сунтари, а потом не вижу уже ничего. Мой молчаливый провожатый закрывает мне глаза повязкой.

От лихого настроения, с которым я шла на встречу, не остается и следа. Делаю для себя открытие: оказывается, незрячесть плохо сочетается с отвагой. Нужно быть Ива-

ном Ивановичем, чтобы, лишившись зрения, стать не слабее, а сильнее.

(Это закон выживания, деточка. Чем большего человек лишается, тем сильнее он должен становиться — у него просто нет иного выхода!)

Мы едем долго, очень долго. Полагаю, около часа. После моста несколько раз поворачиваем, и я теряю ориентацию. Судя по звукам (кляксоны, лязг трамвая, свисток регулировщика), наш путь лежит по оживленным улицам. Потом асфальт сменяется бульварником, бульварник — немощенной дорогой. Машин почти не слышно. Несколько раз я спрашиваю, далеко ли еще, но ответа нет.

Запахло жареным чесноком — вероятно, рикша миновал корейскую харчевню. Слышу крики китайских ребятшек. Мы в одном из азиатских районов или пригородов, но что это: Фуцзянь, Чжэньянхэ или Синьфаунь?

Гулкое эхо — мы въехали в подворотню.

Остановились. Рука соседа удерживает меня на месте. Выждав минуту, сдергивает повязку.

Я щурюсь от света, хотя мы находимся не на солнце, а в каком-то темном, тенистом дворе. Кирпичные стены с заколоченными окнами. Каре двухэтажных, тесно сомкнувшихся домов. Сзади — яма подворотни. Рикша исчез.

— Ходи туда.

Сопровождающий показывает на вход в полуподвал.

Дверь кривая, с нее свисают лохмотья краски. «Может быть, мне не выйти отсюда живой», — думаю я.

Но как только ко мне вернулась способность видеть, страх пропал.

«Давид где-то здесь! Я сейчас его увижу!» От этой мысли я забываю обо всех опасностях.

— Туда так туда.

Как можно небрежной подхватываю саквояж (о, Господи, ну и тяжесть!), вхожу внутрь.

Останавливаюсь. Нужно привыкнуть к полумраку, не то свернешь себе шею — под ногами какие-то ступеньки.

Осторожно спускаюсь, зачем-то их пересчитывая. Тринадцать.

Полутемный коридор, на стене керосиновая лампа, огонек в ней еле горит.

Что здесь еще?

Зеркало в деревянной резной раме, увенчанной полированным драконом. Белеет какой-то продолговатый свиток, но прочесть иероглифы я не могу, они написаны сложной скорописью.

За моей спиной наверху хлопнула дверь. Скрежетнуло что-то металлическое — то ли засов, то ли ключ в замочной скважине.

Я одна. Что дальше?

Очевидно, нужно идти вперед. Коридор упирается в две белые створки, меж ними полоска света.

Саквояж, благо никого рядом нет, я ставлю в самый темный угол.

Иду вперед налегке, стучу.

— Господин Слово? Можно?

Вялый голос отвечает что-то невнятное. Будем считать, что это приглашение войти.

Вхожу.

Большая комната с низким потолком, без окон, ярко освещенная электричеством. Непонятно, почему его нет в коридоре и на лестнице. Я прикрываю ладонью глаза, чтобы лучше рассмотреть человека, который сидит за столом.

Это не человек из лодки, который тряс передо мной «маузером». Я вижу бритый череп, сверкающий бликами. Дорогой пиджак, галстук, на манжете сверкнула золотая запонка.

— Милости прошу, мадемуазель Казначеева, — всё с той же вялой протяжкой говорит голос без акцента. — Подходите, присаживайтесь.

Несмотря на чистоту выговора, это все-таки китаец. Он не только лыс, но вообще безволос, абсолютно! ни усов, ни бровей, ни ресниц. Узенькие глазки смотрят из-под припухших голых век насмешливо. Лицо, не имеющее ни примет, ни возраста, да и расу выдает лишь раскосость.

— А что ж вы золотишко в прихожей оставили? — спрашивает Слово с жирным смешком.

Я собиралась сесть на стул, но от неожиданности выпрямляюсь.

Вновь, как давеча в коляске, исчезает вся лихость. Откуда он знает? Я себя выдала? Нельзя было сразу приезжать с золотом!

— Я привезла выкуп, потому что у вас репутация человека, который держит слово, — говорю я как можно спокойней, но дыхание сбивается. — Вы... правы... Сейчас принесу.

— Ну зачем утруждаться?

Пухлый палец жмет кнопку на столе.

Дверь за моей спиной приоткрывается. Оборачиваюсь — но вижу только темную щель.

— Сумку сюда, на стол, — говорит Слово на китайском. Выговор выдает уроженца Ляодуна.

Какое странное у него лицо. Будто ком пластилина, из которого можно вылепить что хочешь. Я вспоминаю слухи о том, что главарь городских хунхузов умеет менять внешность до неузнаваемости. В это легко поверить: в парике, с приклеенными бровями и ресницами этот человек, вероятно, может выдать себя за кого угодно. И все же мне кажется, что где-то я его уже видела. Но я сейчас не в том состоянии, чтоб рыться в памяти.

Входит кто-то во френче, несет мой саквояж. Вот он — мой знакомец из лодки. Как почтительно кланяется он бритому, ставя сумку на стол! И выходит со всем китайским пиететом, пятится до самой двери.

Не обращая на него внимания, Слово роется в саквояже, зачерпывает в горсть самородки. Толстый красный язык облизывает губы. Ко мне начинает возвращаться присутствие духа. «Он похож на щекастого младенца, который накинута на коробку с конфетами», — думаю я.

— Здесь двадцать килограммов чистейшего самородного золота, — объявляю я. — Это больше, чем триста тысяч китайских долларов. Велите привести сюда господина Каннегисера. Выкуп внесен.

Слово роется в саквояже, улыбаясь всё шире, всё масляней.

— Где Давид? С ним всё в порядке? — Я леденю. — Что вы молчите?!

Бандит садится. Его круглая голова торчит над сумкой, как будто он залез в нее и весело оттуда мне скалится.

— Я вас спрашиваю, где Давид?!

— Тебе не о нем, о себе подумать надо. — Лоснящийся шар подмигивает одной из щелочек. — Где чемоданы с остальным золотом? У слепого Ван Ина?

Спокойно. Никакой мистики нет. Просто в Якеши или в поезде у них был свой человек, шпионил.

— Какая вам разница? Вы получили то, чего хотели. Сполна. Вы же человек слова!

— У всякого слова есть своя цена. За четыре чемодана самородков я, так и быть, согласен немножко подмочить свою репутацию...

Он откровенно издевается надо мной. Знает, что я у него в руках и управы искать негде.

— Вы же дали слово, — жалобно лепечу я.

Трель звонка. Оказывается, на боковом столике телефонный аппарат. Я его не заметила.

Сняв трубку, Слово молча слушает. Сдвигает свои голые брови.

Отрывисто приказывает.

— Сюньчао! (Искать!)

И с грохотом швыряет трубку.

Телефон у него самой новой конструкции, в едином корпусе и без рычажка. У нас в газете такой есть только у главного редактора.

Больше никаких улыбок, и голос не ленивый, а яростный:

— Где Ван Ин? На вокзале он исчез. Домой не вернулся. Куда он отвез чемоданы? Не играй со Словом, Сандра Казначеева!

«Получился каламбур», — думаю я, истерически хихикая, — от ужаса и какого-то оцепенения мысли.

— Ах, ты смеешься? — Страшный человек без усилия, одной рукой, отшвыривает тяжелый саквояж. Тот с утробным стуком падает на пол. — Я кажусь тебе шутом? Опереточным злодеем? Что ж, в молодости я выступал в оперетке. Имел успех. И в цирке выступал, во Владивостоке. Пилил ассистентку пополам. Я на все руки мастер.

Он выходит из-за стола, останавливается надо мной. Я вжимаюсь в спинку стула. Обычно люди от ужаса теряют дар речи, я знаю, но со мной происходит обратное: я делаюсь болтлива, несу чушь.

— Вот почему вы так хорошо говорите по-русски... Я сначала даже подумала, что вы русский. Вы правда пели в оперетте? Как интересно!

(Зачем я несу этот бред? Цепляюсь за территорию цивилизованной жизни, где существует оперетта, цирк, где с дамой нельзя сделать ничего ужасного?)

— Дура, не упрямысь, — спокойно говорит Слово, наклоняясь. Он берет меня мясистыми, но при этом очень твердыми ладонями за щеки и стискивает их. Мое лицо вытягивается в огурец, я мычу от страха, боли и отвращения. Переливающиеся огоньками щелки смотрят мне в глаза с расстояния в несколько сантиметров. — Мне нуж-

но всё золото, и я в любом случае его получу. Ты мне обязательно скажешь, куда спрятался старик. Так сделай это сразу, не обрекай себя на муки, которых ты все равно не вынесешь.

Он выпрямляется, вытирает руки о пиджак, будто они чем-то испачканы. Я хватаюсь за лицо — оказывается, оно всё в испарине.

— Но я правда не знаю, где он! Клянусь вам! Мы расстались!

— Ну да, конечно. — Короткий замах — я вскрикиваю, но кулак останавливается в дюйме от моей скулы. — Нет, бить тебя не будут. Здесь тебе не русская кутузка. Хочешь я расскажу, что я с тобой сделаю?

— Вы... будете... пилить меня... пополам?

Слово смеется.

— Нет, это было бы слишком быстро. К тому же распиленный человек уже ничего не расскажет. Нет, мадемуазель, я подвергну вас старинной китайской казни, хуже которой нет ничего на свете. — Он садится на край стола, складывает руки на груди. Посмеивается. Говорит неторопливо, со вкусом. — За двадцать три года моей деятельности это средство меня ни разу не подводило — ни во Владивостоке, ни в Благовещенске, ни здесь в Харбине. Оно немножко медленное, зато безотказное. Человека раздевают догола, сковывают по рукам и ногам, кладут на землю... Берут немножко тупой и немножко грязный нож... — Прыскает, видя, что я дрожу. — Нет-нет, вас не зарежут, а слегка поцарапают в двенадцати разных особенно чувствительных местах. Сделают надрезы — такие, знаете, длинные, но не глубокие, чтобы вы, не дай бог, не истекли кровью. И всё, больше ничего. Вас просто оставят лежать в теплом, сыром подвале. На третий день в ранах появятся черви. С каждым часом их будет становиться всё больше. Черви копошатся, едят вас заживо. Вам больно.

Причем боль не очень острая, но зато не прекращается ни на секунду. Больно всё время: день, два, три. Когда раны совсем загниют, мы их очистим, потому что заражение крови убивает слишком быстро. Сделаем новые надрезы, и всё начнется сначала. На моей практике больше недели никто не выдерживал, хотя в принципе мы с вами во времени не ограничены. Не думаю, что слепой старик откажется высунуться из норы, в которую он забился. Он наверняка ждет, пока вы за ним явитесь...

— Вы ошибаетесь! — кричу я, стуча зубами. — Я — не — знаю — где он!

— Не перебивайте, мадемуазель. Я еще не закончил. Чтоб вы не умерли от голода и жажды, в вас будут вливать питательный бульон. Так и будешь гнить заживо, упрямая идиотка, и тебя будут жрать жирные белые черви!

Переход от вкрадчивости к грубости стремителен, от неожиданности я откидываюсь назад и падаю вместе со стулом. Хочу подняться — и не могу. Ушиблась затылком — и почти не чувствую.

— Когда твоя мука станет сильнее твоей жадности, ты всё расскажешь, и я тебя отпущу. Это я тебе обещаю, и слова не нарушу. Я никогда не нарушаю слова, разве что в совершенно особенном случае. — Он опять не кричит, а улыбочиво мурлыкает. — Но должен вас предупредить: в местах, где вас покушали черви, навсегда останутся широкие безобразные шрамы. Ну что, мадемуазель, будем затевать этот цирковой номер или сразу всё честно скажете?

— Клянусь всем... Клянусь Богом...

У меня пропал голос. Каждое слово я произношу с огромным усилием — губы не слушаются.

— В церковь вы не ходите, в бога не верите. Я всё про вас знаю... Что ж, как хотите. — Слово перегибается через стол, нажимает на кнопку. — Я хорошо знаю людей. И мужчин, и женщин. Если женщина заупрямилась, нужно дать

ей немного времени, чтобы она хорошенько представила себе дальнейшее. Всё, что я вам описал, начнется завтра утром. А пока отдыхайте. Думайте про червей и про шрамы.

(Неужели это происходило со мной на самом деле? Даже сейчас, через столько лет, я лежу, вся покрытая холодным липким потом. Заметила это — и самой стало смешно. То, что происходит со мной сейчас, во много раз хуже пытки, ожидавшей Сандру. Слово стращал ее недель страданий? Я лежу пластом пятнадцать лет, и искуссительная мысль о том, что свою муку я могу прекратить в любое мгновение, гложет меня мучительней каких-то там червей...)

Я корчусь в темноте и вою от ужаса. Сейчас, вероятно, ночь, потому что затекло всё тело. Не знаю, сколько часов прошло с тех пор, как меня бросили на земляной пол и пристегнули к четырем торчащим снизу скобам. Я сопротивлялась и кричала, но трое бандитов — человек из лодки, человек со станции и здоровенный рикша — как-то очень ловко заломили мне руки, а всякий раз, когда я пыталась вырваться, железный палец тыкал меж ребер, и от жгучей боли перед глазами расплывались огненные круги.

У меня саднят запястья и щиколотки — не нужно было так неистово извиваться, но я ничего не могла поделать, меня корчило в панической истерике.

Время тянется нескончаемо медленно, но я хочу, чтобы оно вообще остановилось. Когда наступит утро, Слово исполнит свою угрозу, меня будут кромсать тупым грязным ножом, и никто не поверит, что я действительно ничего не знаю!

То, как я себя веду, унижительно, постыдно, совсем не похоже на меня. Это не я. В меня вселился ужас всех не-



счастливых пленников, которых держали в этом гнусном подземелье.

Стоит мне про это подумать, и я вдруг снова становлюсь собой, Сандрой Казначеевой. Очень возможно, что именно сюда поместили Давида. Ему было так же плохо, как мне.

Страх больше нет, одно отвращение. К себе. Как я могла всё испортить? Почему я такая непроходимая дура! Нужно было не торопить встречу с хунхузами, а спокойно вернуться в Харбин и обратиться за помощью к Сабурову. Наверняка он давно уже в городе. Сабуров всё устроил бы лучшим образом. Но нет, я непременно должна была собственноручно отворить двери темницы и объявить Давиду: «Вот я, твоя единственная спасительница!» Наломала дров, теперь пеняй на себя. Опереточный злодей с клоунским шаром вместо головы заживо скормит тебя червям.

Где же я все-таки видела эти колючие глазенки, эти припухшие веки?

Вспомнила!

Я так дергаюсь, что на внутренней стороне запястья, кажется, лопается кожа. Больно!

Но физическая боль ерунда по сравнению с осознанием, что я еще большая идиотка, чем думала.

Тарас Бульба! Ну конечно! Тот карикатурный запорожец с соломенными усами, в расшитой рубашке, которого я видела в номере у Сабурова!

И всё встало на свои места. Всё разъяснилось.

Отчего Сабуров так смутился из-за моего внезапного прихода и почему быстро сплавил визитера.

Отчего Сабуров, не попрощавшись, уехал в срочную и долгую командировку.

Отчего Лаецкий вел себя так нагло и не испугался моей угрозы всё рассказать японцу. Лаецкий выполнял задание Сабурова!

Ясна и причина, по которой произошло похищение. Это кара за то, что Давид отверг «План Фугу».

Я горько плачу. Больше мне ничего не остается. Что толку от моего знания? Если б я могла выдать Слову место, куда Иван Иванович спрятал чемоданы, я бы это сделала. И тогда...

Хотя что «тогда»? Разве у меня есть какие-то возможности поквитаться с офицером японского генерального штаба? Кто-то поверит моим разоблачениям? Кого-то они поразят, кому-то они интересны?

Зачем вообще об этом думать? Никуда я отсюда не выйду. Впереди невыносимые муки, а потом неизбежная смерть, потому что у меня нет ответа на вопрос, который задают палачи.

Слово — отличный психолог. После такой ночи я выдала бы ему любую тайну.

Ах, если б я могла покончить с собой! Но я не могу даже пошевелиться. Я беспомощна...

(Это ты-то не можешь пошевелиться? Ты способна двигать пальцами, даже немного ворочаться, меняя положение тела. Ты можешь кричать, плакать, ругаться последними словами, произносить молитвы, звать тюремщиков. Ты даже не представляешь себе, как баснословно ты богата.)

На вскрипе, даже не закрыв рта, я засыпаю. Сон обрушивается внезапно, будто упавший нож гильотины. И снится мне, как моя голова, отсеченная тяжелым косым лезвием, падает в корзину, а сверху льется моя собственная горячая кровь. Захлопывается плетеная крышка.

Я — отрубленная голова. Я лежу в тесном полутемном пространстве, но я жива, я всё вижу и слышу. Разеваю рот, вращаю глазами. Вдруг вижу, что подо мной другие головы, отрезанные раньше. Они тоже на меня смотрят, шеве-

лят губами, хотят мне что-то сообщить, но я их не понимаю, а они не понимают меня.

Льется нестерпимый свет. Кто-то поднял крышку. Огромная пятерня тянется сверху, хватается меня за волосы, тянет. Я понимаю: сейчас меня будут показывать толпе. Но я не хочу, чтобы люди меня видели вот такой — истерзанной, уродливой, окровавленной.

— Не надо! — кричу я беззвучно.

Рука палача хлестко бьет по моей щеке.

Еще одна пощечина. Открываю глаза. Я проснулась.

Но пробуждение еще страшнее сна. Надо мной склоняется человек из лодки. Губы плотно сжаты, глаза холодны, в руке нож.

— Плосыпайся, — слышу я.

— Не...

Хотела крикнуть «Не надо! Не режьте меня!» — да задохнулась.

Выгнула спину, отвернула голову, вообразив, что первый надрез он сделает прямо по лицу.

Нет, он нагибается над моим плечом. Шуршание. Рука свободна! Он разрезал путы!

Освобождает вторую руку, ноги.

— Вставай, ходи! Впелёд ходи!

Рывком хунхуз поднимает меня, толкает в спину, чтобы я шла к выходу.

Я ничего не понимаю, но иду. Развязанная, я уже почти не боюсь. Второй раз я им не дам! Если снова начнут связывать, выцарапаю глаза, выгрызу зубами горло! Я тигрица, а не овца!

Меня ведут в ту же комнату, где я вчера разговаривала со Словом. По свету, сочащемуся со стороны лестницы, понятно, что уже утро.

Через порог я перелетаю, едва удержавшись на ногах. Меня с силой пихнули в спину, а дверь захлопнули.

— Вот она, — слышу я жирный голос Слова. Он говорит по-китайски. — Видите, почтенный, мы ее пальцем не тронули?

Лампы горят, как и накануне. Со стула поднимается Иван Иванович, поворачивается ко мне. Брови сдвинуты, веки сомкнуты.

Я бросаюсь к нему с криком:

— Это не я, честное слово! Я вас не выдавала! Я не знаю, как они вас нашли! Ведь я даже не знала, где вы!

Он быстро ощупывает мое лицо, руки, туловище. Проверяет, цела ли.

Это ужасно, что они его схватили, и всё же я испытываю неимоверное облегчение. Он со мной, мы вместе! Я больше не одна!

— Я пришел сам, — говорит он очень тихо, чтоб слышала только я. — Мне сказали, что ты не вернулась домой, и я понял, где тебя нужно искать. Прости меня, что я тебя ни о чем не расспросил и дал тебе уйти, я должен был сообразить, что ты поспешишь встретиться с этим человеком, и я должен был догадаться, что он тебя обманет. Я кругом виноват. Сам не понимаю людей, в которых искра Жизнеспета совсем угасла, и тебя этому не научил...

(Увы, учитель. Этому не научила меня и последующая жизнь. Иначе я не стала бы легкой добычей ничтожного Мангуста.)

— Ну, вы договорились между собой? — Слово перешел на русский. — Я человек терпеливый, но мое терпение не бесконечно. Мне все равно, одного пытаться или двоих.

Иван Иванович шепчет: «Молчи и не мешай ходу вещей». Я не поняла, но киваю. Легким толчком он велит мне отойти подальше, а сам идет к столу.

(Так вот какими были последние слова, с которыми обратился ко мне Иван Иванович? Молчи и не мешай ходу вещей. Именно этим я и занимаюсь весь остаток своих лет...)

— Она тебе не нужна, — обращается Иван Иванович к хункузу по-китайски, употребляя выражения, которыми старший разговаривает с младшим. — Где остальное золото, знаю только я. Отпусти ее, и мы договоримся. Длительной пыткой можно сломить любое сопротивление, и я не сомневаюсь, что ты хорошо знаешь свое палаческое дело, но я могу терпеть долго, я этому учился, к тому же мучить стариков — это не пойдет на пользу твоей репутации, твоим людям такое не понравится, они ведь китайцы.

Слово встает, учтиво кланяется:

— Вы говорите разумно, почтенный, и я буду счастлив, если мы сумеем договориться. Лишь крайняя нужда в золоте побудила меня искать с вами встречи. Зачем мудрецу этот грязный металл? Он создан для таких негодяев, как я. Женщина может уходить, она мне не нужна.

Он коротко бросает мне по-русски:

— Иди куда хочешь. Ты свободна.

— Я без Давида никуда не уйду! — выкрикиваю я, сжав кулаки. — Золото ваше, а Давид — мой!

Бандиту ужасно весело. Он так хохочет, что вынужден рукавом утирать слезы.

Так я и знала! Боже, Боже...

Кричу:

— Иван Иванович, они убили его! Давид мертв!

Не оборачиваясь, он отвечает:

— Иди, не оглядывайся и ни о чем не беспокойся. Всё будет хорошо, я тебе это обещаю.

(Нет, вот его последние слова, обращенные ко мне! Надо их запомнить. Сейчас я выйду и больше никогда его не увижу.)

Анна Борисова VREMEŃA—GODA

— Вы его правда отпустите? — спрашиваю я.

Уже не смеясь, а с раздражением Слово машет на меня рукой:

— Иди, иди! На что мне слепой старик? Если уж я отпускаю тебя, которая может меня опознать. Но ты ведь будешь умницей, Сандра Казначеева? Харбин — маленький город. А кто может мне повредить, те и так всё про меня знают.

Я понимаю, что он прав.

— Иван Иванович, я буду вас ждать!

Молчание.

(Она выходит. Бежит по ступенькам. Двор, подворотня, улица. Свежий воздух, солнечный свет. «Всё будет хорошо, я тебе это обещаю».)

На пыльной улочке неопрятной загородной Ханшиновки (логово хункузов находилось там) я остановила *ма-че*, китайскую двуколку, самый дешевый после рикши вид транспорта. Лошади чаще всего были слепые, им нарочно выкалывали глаза, чтоб не дурили и лучше слушались возницы. Ходька в соломенной шляпе заломил невиданную цену — два доллара, приготовился долго торговаться и был сильно разочарован, когда я сразу согласилась. Щелкнул вожжами, крикнул: *Тё-тё! Посыла!* Низкорослая монгольская кляча нечесаной башкой повела в мою сторону — совсем как Иван Иванович, «обослышавший масть», и помню, как я подумала, что у животных это странное чутье, наверное, хорошо развито, недаром они к кому-то тянутся, а от кого-то шарахаются.

Не знаю, зачем я взгромодилась на эту небыструю колымагу. Пешком я добралась бы до дому примерно за то же время. Но на меня после всего, что я перенесла, после ужасной ночи накатила полусонная апатия. Я тряслась на жестком сиденье, почти не глядя по сторонам, клевала носом. Мне хотелось добраться домой, упасть на кровать и забыться, а всё остальное потом, потом.

Но выехав из-за угла Тибетской на нашу Михайловскую. Вот с этого места.

Трясая коляска огибаёт бакалейную лавку, где мама всегда покупает продукты. Поворачиваем на Михайловскую, и я вижу крышу нашего дома, палисадник, кусты шиповника.

Но что это?

У калитки стоит сверкающий лаком открытый автомобиль, двухместный. На нашей скромной улице он смотрится пришельцем из иного мира.

С меня слетает вялость. Нервическое оцепенение исчезает. Я на ходу выскакиваю из повозки, охваченная недобрým предчувствием. Шикарное авто здесь неспроста. Сейчас я что-то узнаю. После событий последнего дня в хорошие новости я не верю.

В окне качнулась занавеска. Слышу слабый вскрик — мамин голос.

Распахиваю калитку — и в эту же секунду, синхронно, открывается входная дверь. На крыльцо выскакивает Давид. Он в легком кремовом костюме, похудевший, но свежий. Лоб, на который свисает черная прядь, нахмурен, глаза злые.

— Черт бы тебя побрал, Сандра! — кричит Давид и показывает мне кулак. — Черт бы тебя побрал!

Я не могу понять, почему крыльцо вместе с Давидом кренится вбок и почему Давид при этом не падает.

Зато падаю я, вижу прямо перед собой желтый песок дорожки, и всё, темно.

(Первый и последний раз в своей жизни упала в обморок. Понятно: стресс, усталость, шоковый эффект.)

Мне не следовало так спешить на встречу с похитителями, тем более что до объявленного ими срока оставалась еще неделя. Ах, нетерпеливая Сандра, злосчастная тигрица! Как все самоуверенные, сильные личности, она при-

выкла полагаться только на себя и совсем не надеялась на милостивые повороты судьбы, а они случаются, и не столь редко.

Почему ты не спросила себя, отчего в ответной телеграмме Чао Фэна специально оговаривалось: «Никаких отклонений от маршрута и посторонних контактов»? Почему, дожидаясь харбинского поезда, ты не сделала самую естественную вещь для человека, три недели разлученного с цивилизацией, тем более профессионального журналиста? Если б ты купила в киоске газету, все равно какую, обязательно наткнулась бы на упоминание о главной новости последних дней. «Сын миллионера на свободе!» «Похитителям заплачен выкуп!» «Отец и сын снова вместе!». А в иллюстрированном «Вестнике Маньчжурии» или «Харбинском глашатае», он же «Harbin Herald», были помещены фоторепортажи: банкир Каннегисер в окружении спасших его врачей; банкир Каннегисер у телеграфного аппарата; небритый и помятый, но все равно элегантный пленник на свободе — улыбается; он же, но уже нарядный, в новом гоночном «бугатти»; трогательная сцена — исхудавший отец обнимает исхудавшего сына.

Я сижу на скамейке, в носу противное покалывающее воспоминание о напатыре. Поглаживаю по плечу всхлипывающую маму. Хмуро слушаю рассказ Давида.

Он наведывался сюда каждый день после своего освобождения. Узнал от мамы, в какую я пустилась авантюру, и жутко волновался. Как я могла совершить такой идиотский поступок! Он, конечно, всегда знал, что я полоумная, но не до такой же степени! Это ж надо удумать — отправиться черт знает куда с каким-то шарлатаном за химерой! Меня нужно запереть в психиатрическую лечебницу, но сначала как следует выпороть!

«Всё было зря, — думаю я. — Столько испытаний — и всё ни к чему. Дурацкий героизм горе-спасительницы, которая никого не спасла, а только опростоволосилась. Слава богу, он жив, но теперь никакой надежды».

Оказывается, надежда у меня все-таки была. Что он ответит на мое чувство — не из благодарности, а потому что поймет, как сильно я его люблю.

Я размазываю по лицу слезы.

— Они держали тебя в подвале? — спрашиваю я. — Они сильно тебя мучили?

— Никто меня не мучил. Я сразу сказал этому лысому клоуну: «Будете хамить или плохо кормить — объявляю сухую голодовку и окочурюсь. У меня слабое сердце, оно этого не выдержит, и плакали ваши триста тысяч». Насчет сердца я наврал, но как они проверят? Это же не Американский госпиталь, электрокардиографа у хунхузов нет. Так что не переживай за меня. Господин Слово обращаясь со мной, как с принцем маньчжурской династии. Приносили еду из ресторана и каждый день постельное белье меняли.

Реву еще пуще. Мир отлично спасется и без меня, я слишком много о себе воображала. Дура, дура, дура! Всё, чего добилась, — привезла китайскому прохиндею второй выкуп, а теперь еще Иван Иванович лишится своего «счастливое корабля»!

И тут же даю себе клятву: снова отправиться с Иваном Ивановичем на Мохэ и не возвращаться до тех пор, пока он не насобирает достаточно самородков для осуществления своей мечты.

— Не плачь, мама. Всё позади, — гнусаво говорю я. — Не ругайся, Давид. Хорошо, что всё так закончилось. Я очень рада. И спасибо, что тревожился обо мне. Знаешь, ты езжай. Мне нужно отдохнуть.

О моем визите к хунхузам ему знать незачем, а то раскричится еще пуще.

— Господи! Ты, наверно, голодная! — вскакивает мама. — Я поила Давида Сауловича чаем, но у меня есть щи. Сейчас разогрею!

Есть я не хочу и не могу, от одной мысли тошнота, но я маму не останавливаю. Хочу попрощаться со своей несбыточной мечтой наедине. Ничего значительного или хотя бы красивого не придумывается.

— Ладно, — говорю, — прощай. Я правда очень рада.

— В каком смысле «прощай»? — Прекрасные синие-зеленые глаза озадаченно меня изучают. — До свидания. До завтра.

— Ну до свидания.

До завтра? Нет уж. Завтра мы с Иваном Ивановичем отправимся обратно, за золотом. В Харбине я не усужу. Снова ехать в поезде, качаться в седле, слушать неспешные рассказы моего чудесного спутника. Может быть, мы еще застанем в Якеша нашего Бао.

— Ага... Только я хотел тебе рассказать... — Давид — что за новости? — выглядит смущенным. — Про то, что со мной произошло...

— Завтра расскажешь. Представляю себе, сколько ты вынес.

Как хорошо я это сказала — спокойно, с вежливым участием. Браво, Сандра!

— Нет, я не про хунхузов. Ну их к черту, и вспоминать не хочу. Я про другое. Тут две вещи. Две важные перемены. Во-первых, у меня изменились художественные предпочтения.

— Да?

Я немного удивлена. Не тем, что у Давида изменились художественные предпочтения, а тем, что для него это важно, и тем, что он всё больше волнуется. Совсем на него не похоже.

— Да. Я пришел к выводу, что женщины Арт-деко мне нравятся больше, чем женщины Арт-нуво. Невозможно представить, чтобы какая-нибудь изломанная Ида Рубин-

шттейн или эта, как ее, «сжала руки под темной вуалью», отправилась в тайгу, к лешему в задницу, чтобы кого-то спасти.

— Что толку? Спасла-то тебя не я.

Он меня не слышит.

— Но не это главное. Еще я вдруг понял, пока ждал тебя и боялся, что ты не вернешься... — И здесь Давид произносит те самые слова, которые мечтает однажды услышать всякая женщина, страдающая от неразделенной любви. — Я понял, каким же я был слепым идиотом...

Я зажмуриваюсь. Это мгновение нужно запомнить навсегда — полностью, до мельчайшей детали.

(И я его очень хорошо помнила, всегда — даже в ту эпоху, когда еще не добралась до видеотеки эйдетической памяти. Тепло солнца на разгоряченной коже, запах жухлой травы. И то, как у Давида билась жилка на виске.)

— Что ты молчишь? Я опоздал? Ты меня больше... не любишь? — боязливо спрашивает он. Честное слово, он трусит! Как мне нравится, что он трусит! — Скажи что-нибудь, Сандра! Я сделаю всё, чтобы ты меня простила. Что мне сделать?

С чего я взяла, что устала и хочу спать? Какие глупости!

Я легонько щелкаю Давида по длинному носу.

— Две вещи, — передразниваю я его. — Во-первых, больше никаких вопросов. Во-вторых, отвези меня в отель «Токио».

— В отель «Токио»? Что ты там забыл...

Он шлепает себя по губам.

— Молчу. Никаких вопросов. Ландо у подъезда, ваше высочество.

Отлично! Сабуров у себя.

Я взбегаю на второй этаж очень быстро, чтобы портье, как и в тот раз, не успел его предупредить. Давиду велено дожидаться в машине, спорить он не посмел.

Вхожу без стука. Я знаю, что дверь никогда не запирается, — кто посмеет сюда сунуться незваным?

Сабуров (он стоит у стены, я вижу дверцу приоткрытого потайного сейфа) резко поворачивается, бросив руку к подмышке. Он без пиджака, и видно ремешок кобуры.

— Сандра? — бормочет Сабуров, опуская руку. — Вы? Господи, я не знал, где вас искать! Куда вы пропали? Я поставил на ноги всю полицию! Ваш след затерялся в Якеши, три недели назад!

— Разве Слово вам не рассказал, где я?

Он поджимает губы, лицо делается каменным.

— Думаю, не сказал. Зачем ему делиться с вами вторым выкупом? Я всё знаю. И про Лаецкого, и про вашу внезапную «командировку». Какая бы доля вам ни причиталась, вы всё равно прогадали, господин Ооз. Слово вас надул.

— Меня не интересуют деньги. Вы довольно меня знаете, — говорит он надменно. — Деньги — это для Лаецкого и для бандитов. Моя задача была другая. Евреи должны понять: если они не станут сотрудничать с Японской империей, никто их не защитит. Никто. А с головы вашего обожаемого Давида и волос не упал. Это было просто вежливое предупреждение.

Сабуров не стал выкручиваться, для этого он слишком высокого о себе мнения. Но ничего, это мы сейчас подкорректируем.

— Нет, господин капитан. Дело тут не в интересах империи, а в уязвленном мужском самолюбии. Вы воображали себя кукольником, который может дергать мою душу за ниточки. А я предпочла другого. Вы посмотрели на него вблизи, увидели, что он лучше вас, и от этого взбесились. И знаете, что я еще вам скажу? Не соберет ваша империя «восемь углов мира под одной крышей». Потому что вы недостаточно сильны. По-настоящему силен тот, кто любит Дело больше, чем себя, а вы любите себя и любуетесь собой,

поэтому проиграете. Нет в вас никакого самурайского духа! Да и кто вообще такие самураи? Прислуга. Я посмотрела в словаре, «самурай» происходит от глагола «прислуживать»!

Сабуров бел от беспенства, но слишком ошарашен, что бы произнести хоть слово.

Очень довольная собой, я выхожу, оставив дверь нараспашку.

Прыгаю на мягкое кожаное сиденье — Давид раскрыл передо мной дверцу, склонившись в угодливом поклоне.

— Каковы дальнейшие распоряжения, повелительница?

— Теперь решаешь ты.

Выражение моего лица и тембр голоса таковы, что Давид перестает скалиться. Делается очень серьезен, быстро садиться на шоферское место и вжимает в пол педаль газа.

Всю дорогу до его квартиры мы мчимся на предельной скорости, сопровождаемые сердитыми клаксонами и полицейскими свистками.

Так и не обменявшись ни единым словом, ни разу не встретившись взглядами, мы поднимаемся наверх и прямо в прихожей, едва захлопнув дверь, с тигриным рычанием накидываемся друг на друга.

Я прожила очень длинную жизнь, но мой любовный опыт не обширен. Всего двое мужчин. Один был настоящим виртуозом наслаждения, мастером из мастеров. Другого я любила. И вот что я сказала бы молодым женщинам, если бы могла говорить.

Самый лучший любовник — не тот, кто играет на твоём теле, как на фортепиано. Самый лучший любовник всегда — тот, кого ты любишь. Если твоя любовь сильна, остальное неважно, потому что всё самое главное в тебе происходит не от действий партнера, а от внутреннего пламени. Самый силь-

ный оргазм — тот, который взорвался в тебе изнутри, как огненная магла, которой сделалась тесна земная кора.

Давид был самым лучшим любовником — для меня (а что мне за дело до других женщин?). Каждый миг, с самого первого прикосновения и до послелюбовного полубоморока я словно находилась под током. Ни о чем не помнила, ни о чем не думала, не разбирала, где я, а где он. Но при этом мое тело, видимо, исполняло свое предназначение помимо моего контроля, потому что, едва отдышавшись, Давид прошептал: «Ну и ну. Выходит, я идиот вдвойне и даже в квадрате. Кто тебя всему этому научил? Расскажешь мне потом про своих бывших?»

— Р-р-р. Никогда и ни за что, — лениво урчу я. — И ты не вздумай мне про своих сучек откровенничать.

— Это были не сучки, а очень милые и достойные жен...

Приподнявшись, я свирепо бью его по ребрам. Давид изображает ужас, закрывает лицо руками. У него длинные, очень красивые пальцы. Мне тысячу лет хотелось их поцеловать, и теперь я могу себе это позволить.

Сказка продолжается, это еще не кульминация.

— Слушай, а раз нам так хорошо вместе, давай поженимся, — вдруг говорит он. Это звучит как неопровержимая аксиома: если мужчине и женщине вместе хорошо, следовательно, им надлежит пожениться, как же иначе?

Я медлю с ответом. Тяну волшебное мгновение. Но оно не может длиться до бесконечности.

— Нет, не давай. Лучше останемся любовниками. Во-первых, не стоит добивать твоего бедного папочку свадьбой, он и так после инсульта. Брак любимого сыночка с гойкой он не переживет...

Давид меня перебивает:

— А ты станешь еврейкой. Я заплачу раввинам, чтоб не слишком тебя мучили экзаменомкой. Шпаргалку напишем. В гимназии ты, что ли, не училась?

Закрываю ему рот ладонью, чтоб не мешал. Мне и так трудно быть твердой.

— Во-вторых, я не Золушка, чтоб выходить замуж за принца-миллионера.

Давид кусает меня за пальцы, я отдергиваю руку.

— А я устрою так, что на твой счет от неизвестного благодетеля поступит миллион, и ты тоже станешь миллионершей.

— В-третьих, если мне изменит любовник — а ты мне конечно же когда-нибудь изменишь, я просто от тебя уйду. Но если мне изменит муж, я его разорву на части.

— Тигрица! — восхищенно шепчет Давид и начинает поглаживать мое бедро, но я перекатываюсь подальше.

— Если ты такой предрый, лучше переведи свой миллион одному человеку. Это китаец, который из-за меня лишился своей мечты. А не дашь ему миллион — я уеду с ним на север, искать золото. Не трогай меня! Скажи, ты дашь ему миллион?

— Мэйши, лаобань, — смиренно отвечает он с ужасным акцентом. По-китайски это значит: «Без проблем, босс».

Тогда я сама притягиваю его к себе, и...

(Ну и достаточно. Нечего себя разнеживать. Минуту гемоциркуляции — и сразу в следующее утро.)

Я блаженствую. Такой завтрак я раньше видела только в кино. Полулежу-полусижу, откинувшись на подушки, завтракаю. Дворецкий Давида поставил прямо на постель коротконогий длинный столик. На нем сок, кофе с умопомрачительным ароматом, свежие булочки, джем и утренняя газета. Всё тело восхитительно ноет, губы распухли, голос сел — вероятно, ночью я перенапрягла связки, хотя, ей-богу, не помню, чтоб я кричала.

Давид еще с петроградских времен, я помню, ест очень быстро. Он уже закончил трапезу и пошел в ванную, его

половина кровати пуста. Я слышу плеск душа из-за двери и звуки саксофона — Давид потрясающе изображает голосом любой духовой инструмент.

А мне вставать не хочется. Так и валялась бы целый день. Поэтому я подливаю себе из серебряного кофейника, перевоорачиваю последнюю страницу газеты.

Читаю все заметки, все объявления, даже рекламу. Поэтому что, когда чтение закончится, хочешь не хочешь придется вставать.

Раздел «Городские происшествия». Заголовок «Печальная находка». «На окраине поселка Ханшиновка минувшей ночью найден труп пожилого китайца. Следов насилия на теле не обнаружено. Вскрытием установлено, что смерть произошла в результате остановки сердца. На вид покойному за шестьдесят, невысокого роста, сухоощавого телосложения, волосы коротко стрижены. Судя по состоянию глазных яблок, этот человек был слеп. Полиция рассчитывает, что особая примета поможет установить личность скончавшегося».

(Крики, звон разбитой посуды, плач — это всё мне не нужно. Пропускаю. Я хочу еще раз пережить те страшные минуты в морге. Чтоб попытаться понять, галлюцинация то была или все-таки...)

— Никаких сомнений, сударь, не извольте сомневаться. Наш доктор Сергей Карлович еще при его превосходительстве генерале Хорвате Дмитрие Леонидовиче в полиции служил. Первейший специалист на весь Харбин, — говорит Давиду служитель, потрясенный двадцатидолларовой бумажкой. — Смерть от естественных причин, классический инфарктус, так Сергей Карлович и сказали. Нигде ни ушибов, ни поранений. Да вы сами взгляните, я сейчас их из ледника достану. Только барышне на плечики одеялку накиньте, она вся дрожит. У нас тут холодно.

Я зажмуриваюсь, отворачиваюсь. Слышу грохот металлической двери, лязг колесиков по рельсам. Мне нужно собрать всю волю в кулак. До этого мига я всё цеплялась за надежду: *вдруг не он?* Но я знаю, что это Иван Иванович. Сердцем знаю.

— Сандра, это он? — Давид бережно приближает меня за плечи. — Нужно посмотреть. Сандра! Тебе душно?

Резко поворачиваюсь.

Иван Иванович лежит на тележке такой щуплый, такой маленький, что я не могу, просто не могу. Слезы сами текут по лицу, и нет сил их вытереть.

— Всё, довольно. Теперь отвернись, — говорит Давид, но я не отворачиваюсь.

Мертвец совершенно голый. Против воли мой взгляд задерживается на темном пятне его чресел. Господи, как невыносимо унизителен вид человеческого тела, которое покинула душа, или Жизнелет, или как называется то, что делает мясо, требуху и кости личностью?

— Не смотри, хватит.

Я отвожу руку Давида. Я подхожу к носилкам и смотрю на лицо мертвеца. Оно спокойно. Губы чуть раздвинуты, будто в предвкушении улыбки.

«Почему? — мысленно спрашиваю я. — Почему? Как это могло произойти?»

Сомкнутые ресницы чуть дрогнули. У меня перехватывает дыхание. Наклоняюсь ниже.

Нет, примерещилось.

И вдруг голос. Он такой тихий, что слышен только мне.

«Чему ты удивляешься, Маленькая Тигрица? Я ведь тебе рассказывал, что умею управлять работой своего сердца. А значит, могу и совсем его остановить. Не думала же ты, что я позволю человеку, из которого вытек весь Жизнелет, подвергать меня пыткам?»

(Галлюцинация, несомненно. Ну разумеется, что же еще? Не труп же, в самом деле, разговаривал с Сандрой? Хотя разве кто-то знает, что такое смерть и куда деваются мертвые, особенно такие, как Иван Иванович?)

«Господи, да почему вы просто не сказали ему, где чемоданы? Ведь это всего лишь золото!»

«Дело не в золоте. Когда ты уступаешь Злу, ты наносишь вред своему Жизнелесу. Запомни это».

— Что ты шепчешь? — встревоженно спрашивает Давид. Я его нетерпеливо отгакиваю.

«Неужели можно оборвать жизнь длиной в девяносто девять лет только для того, чтобы лишить мелкого душегуба его копеечного триумфа?!»

«Жизнь имеет высокую цену, лишь если ты готов легко с нею расстаться», — отвечает мне мертвый Иван Иванович.

Больше я не слышу ни слова. Застывшее лицо покойника неподвижно, оно будто вырезано из дерева.

Никакого разговора не было. Мне всё причудилось. Я снова плачу и не мешаю Давиду увести меня из страшной холодной комнаты.

На улице я шарю по карманам. Ищу платок, чтобы вытереться. Я в том же дорожном костюме, в котором приехала из Якеши, лежала на земляном полу, последний раз разговаривала с Иваном Ивановичем. Так и не переоделась. Негде было и некогда.

В левом кармане платка нет, но зато шуршит какая-то бумажка. Откуда она там?

Достаю сложенный плотным квадратиком листок из синеватой полупрозрачной бумаги. На таких обычно выписывают счета или квитанции.

Что это?

Внезапно я вспоминаю, как Иван Иванович ощупывал меня, проверяя, цела ли я после ночи в подвале.



Записка?! Он сунул мне записку?! Нет, невозможно. Он же слепой. Какая записка?

Разворачиваю — и расстраиваюсь. Не записка. В самом деле какая-то квитанция.

Вчитываюсь.

Не какая-то, а из камеры хранения станции «Харбин-Центральная». На четыре места багажа.

ПРИХОДИЛА К МУХЕ БАБУШКА-ПЧЕЛА

Секрет счастья прост. Жаль только, открыла его Долли, Долорес Ивановна, поздновато. Но лучше поздно, чем никогда.

Записывайте, пользуйтесь, не жалко.

В мире всего поровну: радостей-красивостей — вкусно-стей-ебливостей и прочего варенья с одной стороны; свинства-уродства-жлобства-поганства и всякого говна с другой. Что кушать, варенье или говно, выбираешь сам.

Как ни удивительно, на свете полно людей, которым почему-то милей жрать какашки. А мы устроены иначе. Настоящая леди шествует по земле с высоко поднятой головой, не устаивая вниманием навозные лепешки, но в то же время никогда в них не наступая. Против миазмов у леди есть надушенный кружевной платочек. Образ почерпнут из английского фильма, который Долорес Ивановна когда-то видела, но название забылось. Экранизация чего-то классического типа Джейн Остин или Бронте. Выходят из кареты две изысканные леди в шляпках, а у подножки куча навоза. И одна другую, даже не взглянув вниз, предупреждает: «Осторожно, my dear, здесь была лошадь», хотя нормальный человек сказал бы: «Ахтунг-ахтунг, под ногами говно».

Долли взяла себе эту фразу на вооружение. Как что, сразу говорила себе: «Осторожно, my dear, здесь была лошадь» — и

не смотреть вниз, идти себе дальше. Между прочим, так относиться к жизни — это требует больше мужества, чем плакать, хныкать, путаться и себя жалеть. Только дай себе волю раскиснуть. Сразу станет страшно, одиноко, пусто. Начнешь выть — не остановишься. Ай, суставы болят, ой, морщины висят, ах, никому ты, старая брынза, не нужна, ох, скоро на кладбище и тому подобная херня. Но Долорес Ивановна к носу кружевной платочек, спинку держим, подбородочек выше, улыбочка — и танцующей походкой вперед.

Ну вот — по списку жалоб. Чтоб больше этим не заморачиваться.

На кладбище скоро? Успеется, нечего об этом думать. Жизнь хороша тем, что временами бывает веселой и приятной. А как часто и надолго ли, это уж зависит от каждого.

От боли в суставах доктор прописал пилюльки. Велел принимать по половинке, а мы — ам, сразу две, и двойная польза: вместо боли милое головокружение, качает-качает-качает весенний ветер фонари над головой.

Морщины — вообще фигня. В октябре споняем на очередную подтяжку, и будет не мордашка, а жопка младенца. Пока же следует соблюдать простые правила: в комнате штор не раздвигать, на ярком свете в зеркало не смотреться и не жидиться на косметику. Мы — то, чем себе кажемся, а в намазанном виде, да при полумраке Долли казалась себе прямо королевой Марго.

Никому старая брынза не нужна? Так это, my dear, называется свобода. Нам ведь тоже никто на хрен не сдался.

Да, вот еще что важно. Вспоминать из прошлого разрешается только про варенье, хотя говна в жизни (кто бы сомневался) было больше. Оно давно засохло и превратилось в удобрение, а все же ворошить не надо, задохнешься.

Детство у Долорес Ивановны было фу какое. Родители, пламенные большевики, произвели ее на свет в тридцать

седьмом году (нашли время, кретины!) и назвали в честь испанской коммунистки Долорес Ибарури (потом в приюте как только не дразнили за такое имячко). Но про интернат для вражеских сироток мы вспоминать не будем, ничего этого не было. Про золушкино житье у тети Павы тоже.

Юность лучше пролистать. Первый брак забыт, второй тоже. Мордашка и фигурка у дурочки Долли имелись, а мозгов не было. Не голоса рассудка она слушалась, а зова матки. Было нескольких сладких эпизодов, все по гормональной части, и их Долорес Ивановна вспоминала с удовольствием, но в общем и целом первая молодость пропахла фекалиями. Что-то такое панельно-совмещенное, какие-то очереди за сыром пошехонским-полкило-в-одни-руки, стирка засранных пеленок... Короче, не будем вспоминать.

Зато в третий раз вышла замуж удачно. Жорик был мужчина противный, но активный. Про его поганые постельные причуды, про шалав-секретарш и про то, как спяну кулаком под дых, — это всё приснилось, неинтересно, а вот за красивые шмотки, спецзаказы и лимитные путевочки помянем покойника добрым словом. Помянули — и ну его на фиг. Лучшей своей стороной Жорик открылся после кончины. Противность сгорела в крематории, а активность осталась в виде недвижимого и движимого. Сладенький Жорик, земля тебе повидлом.

Квартира и дача, правда, быстренько распылились на жизненные удовольствия, но дочь спасла родную мать от убогой старости. Муж у Виолетки был оборотистый, бывший помощник Жорика. И тоже свинья. Отгородился от Долорес Ивановны железным занавесом. Условие поставил, зараза: будет содержать дорогую тещу лишь в том случае, если она не сунет носу из этой богадельни. На родину ни-ни. Паспорт нормандской узницы зять увез с собой, на всякий случай. Когда раз в год требовалось обновлять в пре-

фектуре вид на жительство, тюремщик привозил документ с собой, а потом снова изымал.

Но Долли не брала в голову, даже шутила, что она новый академик Сахаров, только сослана не в город Горький, а в город Сладкий.

Во «Временах года» было очень даже сладенько, если не фиксироваться на негативе. Жила тут она, как птичка божия, как пчелка на медовом поле, с цветка на цветок порхала.

Первое: на фоне здешних старух (прислугу брать в расчет не станем, чтоб не расстраиваться) была Долли королевой молодости и красоты.

Второе: в этом зоопарке жило столько потешных мартышек — ухочечешься.

Третье: в городке Довиаль есть шикарные бутики и классные салоны красоты.

Четвертое: чем дальше от зятя Влада, гнойного урода, тем лучше. Никто не мешает получать удовольствие от жизни.

Пятый плюс расставания с родиной стал очевиден вчера, когда обнаружилось, что находиться в разлуке с дочкой тоже очень даже неплохо.

На столе, под салфеткой, чтоб не мозолило глаза, лежало письмо, пришедшее с вечерней почтой. От Виолетки. Долорес Ивановна обрадовалась, когда увидела, что там целых четыре страницы, исписанные мелким почерком. Думала — варенье. А там совсем наоборот.

«Мама, у нас большая беда. Долго не решалась тебе написать. И по телефону духу не хватало. И ты же никогда не даешь слова вставить. У Лешеньки острый лейкоз. Влад возил его в Швейцарию на пересадку костного мозга, но прогноз...»

Только до этого места Долли и дочитала, а потом письмо отшвырнула, сверху салфеткой прикрыла.

Лешенька — внук. Медовый-золотой-шелковый, толстенские щечки. Рисунки бабуле слал, смешные, в трубку телефонную славно лепетал. Варенье из райских яблочек, а не внук. То есть, это Доли думала, что варенье, а он вон что.

Ну ладно, ладно.

Во-первых, вылечат. Сейчас такая медицина, что ого-го, и деньги на лечение есть. Во-вторых, еще внучка имеется, Сонечка. В-третьих, Виолетта с ее говнюком молодые, родят себе другого сына. В-четвертых — не желает она про это думать, и всё!

Долорес Ивановна ногой топнула, письмо из-под салфетки двумя пальцами вынула, отнесла в мусорное ведерко. Горь-лихо пропади, счастье-радость приходи.

Когда вернулась в комнату, про плохое уже забыла. Морщила брови, припоминала: что-то она приятное собиралась сделать, да отвлеклась. Чай, что ли, пить?

На столе чудо-чайник, всегда с кипятком, и набор любимых мармеладиков: апельсиновый, ежевичный, клюквенный, вишневый.

Разложила их Доли на блюдечке разноцветными сегментами, залюбовалась. А тут прилетела изящная французская мушка, села на оранжевое, зажужжала.

— Муха села на варенье, вот и всё стихотворенье, — сказала Долорес Ивановна, чтобы посмеяться. И вспомнила, по ассоциации, что у нее на уме было.

Не чай пить. А Эдика Муху зацапать и в пикантном антураже отодрать. Да, да! Вот голова дырявая! Надо же было на какую-то ерунду отвлекаться!

Внутри у Доли всё засосало, заныло от предвкушения.

Женское в ней всегда было очень сильным и с возрастом не усохло — наоборот, еще требовательней стало.

Это мёд, слаще которого не бывает. Пока зять-фашист не отправил Долорес Ивановну в изгнание, она себе ни в

чем не отказывала, любо-дорого вспомнить. А в этой сраной дыре кроме Мухи и потрахаться не с кем.

С мальчиком из сказки о потерянном времени Долли наигралась по-всякому, прямо уже воображение буксовало. Конечно, удобно иметь дело с чудиком, который назавтра ни бельмеса не помнит, но любой, как говорит нынешняя молодежь, приколот рано или поздно приедается. Ну сколько можно придумать вариантов знакомства, кадreja и первого перепиха?

Уж она изображала и неприступную крепость, и нимфоманку, и святошу, и суровую госпожу. Муха наполовину слепой, башка вся дырявая, похож на ходячего зомби, но с этим делом у него всё в порядке. Как в частушке: «Мимо нашего окна пронесли покойника, у покойника стояло выше подоконника». А всё равно осточертел. Последнее время Долорес Ивановна развлекалась тем, что крутила динаму — поманит, распалит, а потом: накоса, выкуси.

Однако нынче ей пришла в голову идея — пальчики оближешь. И не только пальчики.

Познакомилась она сегодня с Мухой по-быстрому, за пять минут. Да, из Москвы. Да, только что приехала. Нет, не замужем. «Роллингов» люблю, жалко, что распались «Битлз». Распили «фирму», покурили «настоящий галуаз», поцеловались-потискались в кустах, и потащила она размазавшегося Эдика в запланированное место.

Дежурной в палате не было, а французский дебил сидел возле кровати, клевал носом. От этого Долли еще пуще распалилась, расхиликалась. Новый аттракцион: порнопредставление в присутствии двух свидетелей, совершенно беспопасных, потому что у обоих мозги на холостом ходу. Умора!

Когда вошли, Долли весело поздоровалась:

— Бонжур, кретин!

Кретин — ноль внимания.

Она к кровати:

— Бонжур, мадам... как вас... мадам Канжизэ. Как это пишется? Никогда не поймешь с французскими фамилиями.

— А вот написано, — сказал Муха, с любопытством разглядывая висящий на стене диплом. Близоруко придвинулся к самому стеклу. — Alexandrine Kannegiser. Что это тут, Долли? Изолятор? Зачем мы сюда пришли? Нет, в натуре? Кто эта гражданка преклонных лет? Старая коминтерновка?

Но Долорес Ивановна не обращала внимания на его дурацкие вопросы. Она еще не наигралась с аудиторией. Посмотрела на затылок аутиста, тупо уставившегося в журнал.

— Чего ты тут всё время пасешься, верный рыцарь? Чем втихаря занимаешься со спящей красавицей? «Нравится — не нравится, спи, моя красавица»?

Подошел Эдик, увидел кошмар в койке.

— Может, пойдём отсюда, а то старушка проснется, кайф поломаёт.

Про аутиста Долорес Ивановна еще по дороге объяснила, что он псих и вроде мебели.

Надо было Муху от публики отвлечь, чтоб не смущался. Сделать это было нетрудно. Долли сняла с героя-любownika темные очки, пощекотала его за подбородок, замурыкала: «Приходила к Мухе бабушка-пчела, Мухе-Цокотухе меду принесла...»

Положила ему руку на зиппер, немножко помяла, потискала, и там стало тесно. Эдик, солнышко, запыхтел, перестал обращать внимание на «спящую старушку».

Долорес Ивановна на него тихонько наступала, растягивая ремень, стягивая джинсы. Наконец прижала к стене. И всё приговаривала:

— Вдруг какой-то старичок-паучок нашу муху в уголок поволок...

Дурацкий стишок не отвязывался всё время, пока они делали дело. Дыхалка у Эдика была ни к черту, прокурил все легкие своим термоядерным «галуазом». Сопел, старая развалина, кряхтел, постанывал. Но старался и в общем был молодцом. Долорес Ивановна изо всех сил сдерживалась, чтоб не орать. Она то кусала губы, то шептала: «Муха криком кричит, надрывается, а злодей молчит, ухмыляется». И двигала задницей в ритм. Получалось очень складно, спасибо Корней Ивановичу.

Вдруг представила, что входит дежурная сестра, селедка слабосоленая, а еще лучше, Верочка-целочка. Пускай, пускай! Будет офигительный скандал. Пожалуй, выпрут к черту в Россию. То-то зятек попрыгает.

Она нарочно заорала. Но притворный крик перешел в настоящий, когда дебил оглянулся и уставился на невиданное диво: дедка с бабкой тянут-потянут.

Давно она так не кончала.

Отпихнула Муху.

— Спрячь предмет. Пригодится.

— Я еще не это...

— Перетопчешься. Тебе вредно,

Уф, устала. Все-таки не шестьдесят лет. Эдик, бедненький, тоже за сердце держался.

Заныл:

— Долли, ну ты чего. Я кончить не успел.

— Хочешь, чтоб я залетела? Потом анкор сделаем, с гондоном, — пообещала ему она, и дурачок сразу успокоился.

Долли села на стул, нога на ногу. Потянулась. Хорошо тут, прямо уходить не хочется. Потрындеть после сексика — самое варенье.

Но сначала она совместила приятное с полезным.

— Зайчик, подкинь своей зайчихе капустки. Что-то я совсем на мели. Завтра получу перевод — верну.

— Мой портмонэ к вашим услугам, звезда души моей!

Эдик широким жестом протянул ей бумажник, и Долли аккуратно собрала оттуда все бумажки, кроме пятерок.

— Чмоки тебе, сладенький. Запомни: сто семьдесят. За-втра отдам как штык.

Как же, запомнит он. Вот еще один плюс от хахаля в маразме. Всегда можно перехватить денюжек, без отдачи.

Хитрожопый зять после некоторых вольностей, кото-рые Долорес Ивановна позволила себе с кредиткой, поса-дил тещу на голодный паек. Дал в банк распоряжение, со-гласно которому к ней на счет ежедневно поступало сто евро, плюс триста перед каждым уикендом, плюс тысячу первого числа каждого месяца. Сквалыга поганый!

Положив голову на плечо своему горе-любовнику и представив, что это не Муха, а Джордж Клауни, Долли сы-то проворковала:

— Ну, кому рассказать сказку?

— Мухе-цокотухе.

Эдик был шикарный слушатель. Всему удивлялся, со всем соглашался.

И стала Долорес Ивановна рассказывать про свою не-спетую песню, неосуществленную бизнес-мечту.

— Вот была бы я не дура и вертихвостка, а деловая жен-щина, открыла бы я в Москве секс-школу. Важнее секса в жизни вещей мало, а может, и вовсе нет. Но никто людей этому искусству не обучает, поэтому почти все трахаются безо всякого вкуса, как животные, а уж сколько на свете одиноких мужиков и баб, кому вообще ни хрена не доста-ется, — не сочтешь. Было бы у меня отделение для подро-стков обоего пола, под названием «Курсы дефлорации». Там подрастающее поколение утили бы с самого начала относиться к сексу с умом и быть классными любовни-ками. У кого диплом моей школы — за тем партнеры пря-мо в очередь бы выстраивались. Еще у меня были бы курсы

повышения квалификации для молодых супругов. Льготные абонементы для одиноких женщин и мужчин. Клуб «Солнечный удар» — для маленьких приключений. Профильные кружки по специальным интересам. Пикантные маскарады. Тематические вечера «По странам и континентам» или там историческое: «Секс в древней Элладе», «Сексуальные техники танского Китая» и прочее. Спецобслуживание для инвалидов, потому что им тоже жить надо. Семинары по развитию сексуальной фантазии. Да мало ли что можно придумать! И не было бы от моей школы ни обществу, ни людям никакого вреда, а одна только польза...

Муха слушал, подхихикивал. Но тихо — не нарушал полета мечты.

САНДРА ПОДНИМАЕТСЯ ПО СТУПЕНЬКАМ

Странный день. То неделями никто ко мне не заглядывает, кроме сестер, массажистки да Пятницы, то вдруг па-ломничество. Хотя это слово вряд ли подходит для сцены, которая только что разыгралась в нескольких шагах от моей кровати.

Я, разумеется, не могу видеть спаривания, но слух и особенно обоняние с лихвой компенсируют отсутствие картинки. Давно, очень давно не обоняла я запаха разгоряченной плоти. Удивительно, что он так взволновал меня, древнюю полумертвую старуху.

Вот Пятнице все равно. Каждое его движение мне понятно — я отлично изучила все шорохи его одежды и могу точно сказать, что он оглянулся на похабников всего один раз, очень коротко, и не заинтересовался. Так же, мельком, оглянулся бы он на двух сладострастно жужжащих мух.

Но я не аутист. Энергетические волны совокупления Инь с Яном, а потом развязная болтовня престарелой развратницы — вот уж сюрприз так сюрприз — меня возбуждают. Как неистребляемо цепка жизненная сила! Неужели меня всё еще можно назвать женщиной?

И сама собой открывается страница, на которую я много лет не заглядывала и которую недавно опять перевернула, не задержавшись.

Книга давно минувшего маньчжурского лета выпала из моих рук и раскрылась там, где ей захотелось.

Я снова в охотничьем балагане, посреди глухого леса. Ночь, тлеет огонь в ямке. Уныло кричит птица.

Иван Иванович ритмично раскачивается, наслаждаясь действием Хрустальной Радуги. Я нетрезва, я только что сделала несколько глотков спирта. Сама не знаю, зачем. Из зависти к его опьянению? Или в надежде подняться к облакам, где витает мой учитель?

Я тоже хочу «слышать звук Жизнеспета», но вместо этого чувствую, что не могу спокойно усидеть на месте. Что-то такое витает в воздухе, что-то озорное, отчего распирает грудь и горячо в низу живота. Мне хочется выкинуть какую-нибудь штуку, которая выведет Ивана Ивановича из его благостной эйфории. Пусть у старика хоть раз отвиснет челюсть. Чем бы его опарашить?

(Ничего не могу поделать с давней прививкой всему давать научное обоснование. Настроение, которому поддавалась охмелевшая Сандра, называется «sacrilege impulse» («коизунственный импульс»), или «табусубверсивная мотивация», то есть неудержимое желание нарушить какое-нибудь табу. Обычно такого рода девиантное поведение свойственно психопатическим и социопатическим личностям, но в моменты нервного возбуждения или алконаркотической интоксикации порыв нарушить табу может ох-

ватить и самого обычного, среднестатистического человека, у которого вследствие химических реакций в сдерживающих центрах мозга нарушается контроль за собственными поступками. Часто бывает, что, протрезвев, мы не можем поверить, что были способны на такие безобразия.

Могу предложить и другое объяснение того, что случилось, — уже не из области нейрохимии, а сугубо бихейвористское. Опьянев, Сандра взбунтовалась против установившейся иерархии «патриарх-ученица». Ну, а с фрейдистской точки зрения всё предельно ясно: синдром дочерей Лота. «Напоим отца нашего вином и перестим с ним».)

— Иван Иванович, а вы когда-нибудь... знали женщин? — спрашиваю я, внутренне хихикнув. Ну-ка, что ответит невозмутимый старец?

Старец так и остается невозмутимым. Ответ его благодатен и, как всегда, обстоятелен:

— Ты имеешь в виду, совокуплялся ли я с женщинами, потому что по-настоящему знать человека, неважно мужчину или женщину, невозможно, ведь мы даже самих себя до конца...

Перебиваю:

— Да, я спрашиваю про совокупление.

Это архаичное слово совсем не из моего лексикона, оно меня смешит. В носу, будто после стакана газировки, щекочут пузырьки. Не могу удержаться — прыскаю.

Смутить Ивана Ивановича мне, однако, не удастся.

— Конечно, Маленькая Тигрица, ведь во мне с рождения живет сила Ян. Я никогда не был ее рабом, но если я чувствовал, что женщине, которая со мной рядом, это необходимо, я никогда не отказывал.

Как любопытно! Вот уж не думала, что с ним можно так свободно говорить о подобных вещах!

— И часто рядом с вами бывали женщины, которым это необходимо? — игриво спрашиваю я.

Он поворачивает ко мне голову, сколько-то времени молчит. И вдруг так же спокойно говорит:

— Тебе это необходимо?

— Что это?

Жар бросается мне в лицо. Сразу исчезает желание дразнить, задирать, провоцировать

— Тебе это необходимо. — кивает он сам себе. — Что ж, нельзя избавиться от страстей, не исчерпав их, а то, что жарче горит, быстрее выгорает, поэтому я помогу тебе стать женщиной, если, конечно, ты этого на самом деле хочешь, а ты, пожалуй, не можешь этого не хотеть, ибо ты девица и тебя гнетет твое девичество.

Хмельное озорство во мне сменяется другим чувством, таким мощным, что, пытаясь подчинить его рассудку, я сама перед собой изображаю цинизм. Какого черта! Потерять невинность со столетним стариком еще чуднее, чем с русскоязычным самураем. По крайней мере, будет что вспомнить.

— А что же, — говорю я развязно. — Я не против. Мне что; раздеться?

Иван Иванович грозит мне пальцем.

— Во-первых, успокойся и не думай, будто ты сейчас перепачкаешься в грязи, потому что в совокуплении нет ничего грязного, если только ты не дала кому-то обет верности.

Он прав, он совершенно прав. Это я, это мое тело, никому, кроме меня, оно не принадлежит, а Давиду оно не нужно.

— Так-то лучше. Сейчас я научу тебя, как отдаваться любви, и ты увидишь, что это совсем не трудно, намного легче, чем правильно дышать, потому что твое тело само знает, что делать, просто не мешай ему. Ты, наверное, любишь танцевать? Все молодые женщины это любят. Просто доверься мне, как доверяешься музыке и танцу, не противься, ни о чем не думай, и всё получится само собой.

— Хорошо, я не буду думать, — обещаю я, но не очень-то получается.

Он велит мне снять всю одежду, расстелить ее на земле и лечь. Я так и делаю, но музыки пока что-то не слышать, и мысли в голове незротические. Зябковато, мурашки по коже, земля холодная. Как бы этот пир сладострастья не закончился простудой. Что за муха меня укусила?

— Помни важное правило: никогда не нужно иметь преимущества перед партнером, а если оно есть, добровольно от него откажись. Инь и Ян должны быть на равных. Поскольку я слеп, откажись от зрения и ты, закрой глаза.

О'кей, закрываю.

Когда от Ивана Ивановича остается только голос, всё меняется. Звуки стали слышнее, запахи явственней, кожа чувствительней. Никогда бы не подумала, что зрение может быть помехой. Я — уже не совсем я, а он — не совсем он. Пропадает ощущение нелепости, иронизировать становится незачем.

— Любовное соединение — это как будто ты поднимаешься по лестнице, а потом прыгаешь вниз, — внушает мне ровный, лишенный возраста голос. — Ступенек всего шестнадцать, я помогу тебе по ним подняться, я буду вести тебя. Лестница эта ведет очень высоко, к самому солнцу, поэтому тебе постепенно делается очень жарко, а когда жар станет невыносим, мы с тобой спрыгнем, и будем лететь, и ты закричишь от сладкого ужаса, а потом упадешь в прохладный и свежий омут и отдышишься, только когда вынырнешь. Ты готова?

— Да.

Потрескивает костер. Моему правому боку тепло, левому холодно. По крыше фанзы с шуршанием пробежал какой-то некрупный зверек — соболь или, может, куница.

Шелест одежды. Иван Иванович тоже раздевается и ложится рядом со мной.

Не могу совладать с любопытством. Поворачиваю голову, подглядываю.

У него странное тело: не молодое и не старое, совершенно безволосое, без морщин и складок. Мужская принадлежность, съезжившаяся и бледная, очень похожа на сухой корешок яншэня. Неужели этот чахлаый безжизненный отросток на что-то годен?

— Закрой глаза, не смотри, — говорит Иван Иванович. — Они тебе мешают.

Мы лежим очень близко, но наши плечи не соприкасаются.

— Начинаем подъем, пока каждый сам по себе. Первая ступенька — то, с чего начинается всякое действие: настрой свое дыхание на нужный лад, я тебя этому учил. Дыхание, с которым поднимаются по лестнице любви, такое: три глубоких судорожных вдоха, потом один резкий выдох, будто гонишь Жизнесвет из верхней части твоего тела в нижнюю. Вверх! Вверх! Вверх! И вниз! Снова, снова, снова — до тех пор, пока твоя голова не станет легкой и книзу не заструится тепло. Положи левую ладонь чуть ниже пупа и слегка надави — это граница холода и жара. Приступай.

Я дышу, как велено, и всё происходит, как он обещал: книзу от ладони жар, голова будто пустеет, и больше я ни о чем не думаю.

— Хорошо, можно подниматься на вторую ступеньку. Я направляю кровь, насыщенную Жизнесветом, себе в Ян, а ты — в Инь. Здесь у мужчины и женщины всё происходит по-разному, потому что Ян — высшая точка рельефа, а Инь — глубокая впадина. Ты женщина городская, тебе легче будет представить, что ты — умывальник, а твой Инь — сливное отверстие, и вся вода, горячая и пузыристая, устремляется туда.

Метафора неромантична, я хихикаю, но это не мешает, а наоборот, помогает мне расслабиться.

— Теперь — это все еще вторая ступенька — представь, что ты стебель, по которому текут жизнотворные соки, а твой Инь — нераскрывшийся бутон, и он наливается Жизнеспетом, лепестки краснеют, набухают, раскрываются... Но ни в коем случае не двигай бедрами.

«Он меня гипнотизирует», — пронесется в голове, но это уже неважно. Что-то во мне происходит, что-то очень сильное. Я с трудом удерживаюсь, чтобы не начать извиваться, плотно стискиваю ноги. Нечто подобное со мной иногда бывало во сне, под утро. И еще в тот миг, когда Давид послушал палец и снял ресничку с моей щеки.

Я готова! Слов больше не нужно! Хватит болтать!

Приоткрываю глаз, кохусь на Ивана Ивановича. Он все так же неподвижен, но та часть тела, что недавно показалась мне безжизненной, воспряла и преобразилась — как яншень, напавшийся соками иншени.

— Хорошо. Поднимемся на третью ступеньку, но только помни, что восхождение впереди еще долгое, ни в коем случае не спеши. Возьми мою руку и положи ее туда, где тебе жарче всего...

(Удивительно, но потом, с Давидом, наука о «любвонной леснице» мне ни разу не приходилась. Я не настраивала дыхание, не заставляла «Жизнеспет» стекать в сливное отверстие моего умывальника. «Жизнеспет» устремлялся туда сам. О, как он устремлялся!)

Я захлопываю книгу. Хватит с меня и второй «ступеньки».

Всякому чтению свой возраст. В шестьдесят лет не стоит перечитывать «Детей капитана Гранта», а в сто пять не зачем листать «Камасутру».



СТАС БЕРЗИН

Окружающие понимали Стаса Берзина неправильно. Одни, с кем приходилось конфликтовать, говорили, что он изворотливая, безжалостная сволочь. Другие, с кем он вел бизнес, считали его жестким, но надежным партнером. Сотрудники были уверены, что шеф оценивает людей исключительно по деловым качествам и, будь это возможно, работал бы с роботами. И все, без исключения, думали, что Берзин — живой бэтээр, в голове у него Силиконовая Долина, а вместо сердца заяц-энерджайзер, который безостановочно лупит по барабану, не ведая усталости.

Всё это было мимо кассы.

Окружающие не понимали в Стасе главного, логики его поступков не улавливали, и потому он всех всегда переигрывал. Что он собою представляет на самом деле, никто не догадывался, а если б он сам признался, то не поверили бы.

Берзин был не предприниматель и не честолюбец с наполеоновскими планами. Он был поэт, большой поэт. Просто стихов не сочинял, но сути это не меняет. Свои поэмы Стас складывал не из слов, а из дел. Принцип тот же: в произведении не должно быть ничего лишнего, всякий компонент обязан находиться на своем месте, каждая строчка — рифмоваться, ритм — строго соблюдаться, а всё вместе взятое — создавать эффект мантрического волшебства. В этом секрет успешного проекта: чтоб не отнять и не прибавить.

Особое значение Стас придавал рифме, вкладывая в этот термин свой собственный смысл.

Вокруг неисчислимое множество перспектив, многообещающих шансов, нереализованных возможностей — глаза разбегаются. Но хвататься за всё без разбору нельзя. В дело годятся только те элементы, которые рифмуются друг с другом. На правильной зарифмованности стоит любое крупное дело: если рифма хромает — дело разваливается.

Взять ту же семью, главный жизненный проект всякого нормального человека. На свете так много несчастливых браков, потому что люди рифмы не чувствуют, вечно складывают «палка-селедка», а после удивляются, почему всё так классно начиналось и так хреново закончилось. Хотя, в сущности, это азбука, которую теоретически знает любой среднестатистический индивид: в браке активность рифмуется с пассивностью, слабость с силой, романтичность с практичностью, грустный характер с веселым, верность с верностью, а неверность с неверностью, и т.д. и т.п.

Тот же принцип действует, когда создаешь команду для какого-нибудь долгоиграющего предприятия. Люди, чье существование вообще имеет смысл (прочая сырковая масса не в счет, это просто перегной, из которого произрастают будущие поколения), делятся на две количественно неравные части: генераторы и реализаторы. Генераторы — по-нынешнему «креативщики» — способны продуцировать новые идеи. Работников этого типа немного, но их слишком много и не нужно, как не нужна хренова туша племенных жеребцов.

Вторая категория — реализаторы этих идей. Качественных исполнителей на свете больше, чем генераторов, но тоже не очень много, это кадры исключительной ценности, которые нужно беречь и использовать строго по назначению.

О С Е Н Ь Ю

Два этих таланта в отрыве один от другого пропадают зря. Вечная засада российской действительности в том, что у нас генераторы берутся сами осуществлять свои идеи, а реализаторы тщатся креативить. От этого в стране из века в век сплошные обломы.

Сам Берзин не был ни выдающимся производителем идей, ни идеальным исполнителем, но он обладал даром еще более раритетным: умел подобрать кадры и правильно их зарифмовать. Поэтому стихотворения у него выходили звонкими и ладными — залюбуешься. А с некоторых пор Стас сделал головокружительное открытие: оказывается, все его произведения, уже написанные и еще не написанные, могут сложиться в одну величественную поэму, где гениально соединятся эпика и лирика. Если человеку удалось превратить свою жизнь в поэму, может ли быть что-нибудь круче этого?

Поразительно, что ломать голову над рифмами почти не пришлось. Будто какая-то сила щедро сыпала их с небес, а он едва успевал подхватывать и нанизывать одну на другую.

Началось с того, что Стас всерьез задумался о проблеме нормальных пансионатов для стариков (была у него на то веская причина). Оценил финансовую перспективность. Стал искать генераторов с реализаторами — и сразу же в интернете наткнулся на волонтерское движение, отлично рифмующееся с идеей.

Копнул чуть глубже — вышел на девчонку, затеявшую нехилое дело при нулевом бюджете и никаких оргресурсах. Название движения — «Счастливая старость» — звучало именно так, как надо. Лицо у основательницы, Вероники Коробейшиковой, было идеальным для подобного тренда — харизматичное, на первый взгляд простое, но вместе с тем чувствовалась какая-то цепляющая внимание тайна. В такое лицо хотелось всматриваться, а это, любой рекламщик скажет, нечасто встречается.

Познакомился Стас с девушкой, и оказалось, что у нее не только внешность с фокусом. Барышня и по характеру была с нефиговым контентом. Личность.

Идеи пошли каскадом, рифмуясь одна с другой. План, поначалу рассчитанный на то, чтобы через пять лет выйти на IPO и вернуть вложенные средства с хорошей маржей, открывал перед Берзиным всё новые и новые возможности, а в конце концов вырос в Дело Всей Жизни.

И девушка тоже была явно не для пятилетнего использования с последующей перепродажей. Ника Коробейщикова ужасно ему понравилась при первой же встрече. Еще больше при второй. До чрезвычайности при третьей. А потом стала нравиться так сильно, что сильнее уже не бывает. Это была всем рифмам рифма. Если деловое становится личным, а личное деловым, в жизни наступает полная гармония.

С рифмовкой-то всё было супер, да ритм хромал. Ника существовала совсем в другом стихотворном размере, и Берзин это отлично понимал — не дурак. Шансов понравиться этакой принцессе у него было мало.

Поэтому со сложной проблемой он поступил так же, как поступал с другими сложными проблемами, которые на него по жизни сыпались тоннами: напряг мозг и стал думать.

Вопрос: какой женщине не понравится молодой, уверенный в себе, умный мультимиллионер?

Ответ: единственной, которая тебе по-настоящему нужна.

С точки зрения Ники, всё в Берзине было не так — и самоуверенность, и богатство, и быстрый ум, и даже, блин, молодость. Она же стариков любит!

Но «мало шансов» не означает ноль целых, ноль десятых. Это значит, что придется мозгами шевелить интенсивней обычного, придется потратить много времени и сил. Разве Стас когда-нибудь жалел время, силы и серое ве-

щество ради важного бизнес-проекта? А здесь не просто бизнес, здесь интерес всей жизни.

Возьмем исходные параметры поставленной задачи.

Нужно завоевать девушку, для которой мы в деловом смысле — средство достижения некоей цели, а в личном — кусок неодушевленного мяса.

Задача усложнена следующими факторами: отсутствие общих вкусов и интересов за пределами проекта; катастрофическое несовпадение образа жизни; органически несовместимые сферы общения.

Трудно? Да, трудно. И все-таки, как уже было сказано, шансы не нулевые. Точка опоры есть, а значит (спросите у Архимеда), мир перевернуть можно.

Стержень — общность жизненного интереса. Для такой девушки нет ничего важнее. Пускай она руководствуется своими мотивами, а Стас своими, но друг без друга им проект «Счастливая старость» не осуществить. Они обречены на долгое сотрудничество. Стало быть, времени достаточно, можно не спешить.

Итак, что у нас там с усложняющими факторами?

Вкусы-интересы. Ну, Стас за свои особенно не держался. Готов был присмотреться к тому, что она любит, чего не любит, и потихоньку подстроиться. Без притворства, по-честному. Набокова она читает, Пруста? Без проблем. Хоть Джойса. Надо — осилим. Футбол не выносит? Хрен с ним, обойдемся без футбола.

Дальше: разный образ жизни. С этим труднее, потому что поменять свой быт Стас не мог. Не «доширак» же с шаурмой ему жрать? Желудок испортишь. Не в метро же ездить? Времени жалко, у него в «майбахе» рабочее место оборудовано, со всеми средствами связи, так что даже московские пробки нипочем.

Вывод? Раз нельзя спуститься на Никин уровень, нужно постепенно приучить ее к своему, обеспечить ей нор-

мальный стандарт жизни. Человек быстро привыкает к хорошему и потом уже не может без этого обходиться. Не копеечничать, жить в красивой и удобной квартире, ездить на классной тачке, избавиться от мелких бытовых хлопот — все эти условия комфортного существования президенту Фонда были гарантированы. Но тут возникли неожиданные проблемы. От горничной, хоть ее услуги оплачивал секретариат, Ника отказалась — видите ли, любит у себя дома наводить чистоту сама. Безлимитной представительской карточкой, которой можно оплачивать хоть туалеты, хоть рестораны, хоть салоны с массажами, вообще не пользовалась. Потом взбунтовалась против «мерса», тюнинг которого Берзин заказывал сам, любовно. В общем, подтянуть Нику к своему образу жизни пока не очень получалось. Но ничего, вода камень точит.

Зато с кругом общения всё складывалось в лучшем виде. Пока Нику окружали ее ботанистые друзья и подружки, Стасу в этой гоп-компании места не было. Хорошо хоть, не пришлось какого-нибудь сопливого бойфренда отваживать (служба безопасности доложила, что у объекта никого нет и в обозримом прошлом не было). Тем не менее господа волонтеры, с которыми Ника проводила всё рабочее и свободное время, сердечным планам Берзина конкретно мешали. Однако стоило девочке заикнуться о зарубежном опыте, как сразу же пришло решение. Стас сделал вид, что ужасно недоволен командировкой, но внутренне возликовал. За целый год связи Ники с ее окружением ослабнут, а сам он будет к ней периодически навещаться. От скуки, от дефицита общения (старичье не в счет) она сама к нему потянется — закон сохранения массы вещества: ежели где убудет несколько материи, то умножится в другом месте.

Всё в этом варианте отлично рифмовалось. «Времена года» у Стаса давно в активе; Ника когда-то учила фран-

цузский; стажировка поможет ей в профессиональном смысле; и летать до Нормандии недолго. Если до этого момента Берзин еще колебался, какую систему взять за образец, американскую или французскую, то теперь сомнения отпали. Конечно французскую. В перспективе она лучше подходит для наших реалий, потому что предусматривает большую роль государства. Тоже, между прочим, рифма — если в будущем прицеливаться на создание естественной монополии типа РЖД, «Газпрома» или РАО ЕЭС.

Истинный масштаб своих намерений Стас раскрывал перед Никой постепенно. Женщины боятся гигантизма, это в них инстинктивное, но в то же время ценят в мужчинах широту.

Чего-чего, а широты в берзинских планах хватало.

Такие, как Ника, вранья не прощают, поэтому он был с ней откровенен, но, конечно, во все детали идеалистку не посвящал. Зачем ей, например, влезать в технические подробности расхода «смазочных материалов», без которых в России — особенности национального бизнеса — ни одно дело не пройдет через официальные инстанции?

Совершенно ни к чему было рассказывать Нике и о субпроекте «Конкурент». Предвидя грядущие проблемы с антимонопольным законодательством, Берзин готовил запуск еще одного фонда, который создаст альтернативную систему «хоумов», уже не по французскому, а по американскому образцу. Что оба растения питаются от одного корня, никому, даже Нике, знать не нужно. Потом, когда государство возьмет дело под свое крыло, мезоны и хоумы сольются, а председателем правления выберут Станислава Берзина. К тому времени он уже войдет в суперлигу — и по общественному весу, и по финансовым параметрам. Как раз лет сорок пять ему будет, самый возраст.

С расчетами и прогнозами у него всё было в ажуре, но на практике дела шли не особенно гладко. Не с Проектом (там-то процесс развивался нормально), а с Никой. Стас был сам виноват — иногда не мог с собой справиться, сбивался с правильного тона на категорически противоположаемое сю-сю, и всё портил. Как в песне: «And then I go and spoil it all by saying something stupid like “I love you”»¹. Попробуй удержись, когда соскучился до смерти, а она рядом, и выющиеся волосы пахнут свежестью, и глаза... Но как только он, дав слабину, пробовал перейти на личное, Никин взгляд немедленно холодел. Нельзя было Стасу пока выходить на дистанцию прямого выстрела. Рано.

Поэтому он установил жесткую норму: видаться с ней не чаще, чем раз в месяц, и обязательно по какому-нибудь существенному поводу. При встречах особенно не пялиться, в лирику не уходить. Эту крепость можно было взять лишь долгой осадой и напряжением всех сил.

Пару недель назад, в самую глухую пору тоски, посередине между прошлым и нынешним приездами, у Стаса случился день рождения. И придумал он себе классный подарок. Слетал в Нормандию вне очереди.

Но зарок не нарушил. На глаза Нике не показался. Пробрался вечером в парк, засел там с мощным биноклем, чисто агент Джек Бауэр. Вспомнил дачное детство — влез на дуб, как раз напротив ее окон. Занавесок там не было, зачем они на третьем этаже?

Смотрел, как Ника читает книжку под чай с печеньем. Как чатит с кем-то по компьютеру. Всю задницу отсидел, но с места не стронулся. Когда она перед сном переоделась в халат, Стаса в жар кинуло. Окно в ванной было то-

¹ И тут я — бац — испорчу всё,
Возьму и лякну невпопад: “I love you” (англ.).

же без шторы, но, слава Богу, душевая кабина с матовыми стеклами, а то бы он точно с ветки долбанулся.

Легла она, погасила свет. Но бинокль был инфракрасный, и Берзин продолжил наблюдение. Смотреть стало особенно не на что — лежит человек и лежит, но Стас представлял, как они когда-нибудь будут укладываться вместе. Не про секс даже думал, а просто. Он пожелает ей спокойной ночи, повернется на бок и закроет глаза, словно уснул, а на самом деле будет ждать. И когда она глубоко, ровно задышит, он над ней приподнимется и будет на нее смотреть. Днем женщине нельзя всё время демонстрировать, как сильно ты ее любишь, это их обламывает. А ночью, когда она не видит, смотри сколько хочешь. Ему это, наверное, никогда не надоест. Он на дуррацком дубе не меньше часа в бинокль пялился на ее кровать, а кроме подушки и пышных волос и видно-то ничего не было.

Крепко за полночь Ника вдруг откинула одеяло и встала. Набросила на голое тело халат, вышла.

Стас снова покрылся потом, теперь уже холодным.

Что за дела? К кому это она среди ночи в неглиже отправилась? Был у Берзина на подозрении один хлыщ, директор мезона, тот еще котяра, седовласый бель-ами с золотой цепурой на шее.

Но терзался Стас недолго.

В окнах соседнего помещения, где лежала парализованная старуха, мелькнул слабый отсвет — приоткрылась дверь в коридор.

Берзин скорее навел бинокль.

Увидел: Ника медленно прошла через комнату, сказала или шепнув что-то мумии, остановилась перед самой рамой и застыла. С пятидесятикратным увеличением казалось, будто она в двух шагах от Стаса и не мигая смотрит прямо на него. Глаза из-за темноты у нее были еще боль-

ше, чем обычно, и словно бы мерцали. Из-за луны, наверное, — она сияла в небе ярче неоновой рекламы.

Минут пятнадцать они с Никой так друг на друга глядели, пока она снова спать не легла. Такого офигительного подарка ко дню рождения Берзин никогда еще не получал.

А сегодня приезд был обычный, ежемесячный. Ника с некоторых пор вычислила периодичность берзинских появлений, хоть он и следил за тем, чтоб получалось не ровно тридцать дней, а чуть меньше или чуть больше. Предлог всякий раз имелся, причем солидный, однако Ника насмешливо называла эти визиты «инспекционными поездками». Кажется, она действительно считала, что он рассматривает ее исключительно как инвестицию. Нормально, Стаса это устраивало. Он еще и подыгрывал — подробно расспрашивал, чему она за отчетный период научилась и что из этого опыта может им потом пригодиться.

Любовь любовью, но и помимо этого Ника как кадр была чистое золото. Еще в прошлый приезд Стас про себя подумал, что всё полезное из французского мезона она уже впитала. Можно бы и домой. Представил, что она вернется в Москву, что они будут видеться каждый день, — и не удержался, стал настаивать на завершении стажировки.

Но с Никой шутки плохи. «Нет, — сказала. — Решила, что проведу здесь целый год, значит, так и будет. Ты пойми, дело это серьезное, кое-какие вещи не на поверхности. Их нужно прочувствовать». И произнесла речь. Для нее, мол, всё ясно с организационно-технической и материальной постановкой дела, но есть проблема более сложная. Оказывается, в условиях комфорта и бесппроблемнос-

ти у стариков убастрывают разрушительные процессы в мозгу. За полгода один гость переместился из квартиры в КАНТУ, а еще двое регрессируют на глазах, и что с этим делать, непонятно. Необходимо ознакомиться с новыми методиками по профилактике Альцгеймера. В сентябре сюда приедет специалист этого профиля, на них сейчас во Франции огромный спрос, мезон-де-ретреты пишутся в очередь. Мало обеспечить контингент уходом и вниманием. Нужно научиться борьбе с главной бедой обеспеченной старости — угасанием рассудка.

Аргументы были по делу, Стас заткнулся.

И сегодня, едва прилетев, сразу спросил: как специалист по Альцгеймеру, помог ли решить проблему. Пока Ника отвечала, он внимательно в нее всматривался. Что она, всё такая же или опять изменилась?

Конечно изменилась. Настоящая женщина — как вода или огонь, вроде одна и та же, но никогда не одинаковая, постоянно меняется, и нет ничего увлекательней, чем наблюдать за этим процессом.

Она стала мягче. Может быть, все-таки соскучилась?

Избавилась от дурацкой банданы. Волосы переливаются, как оперение Жар-птицы (метафора банальная, но Берзин ведь был поэтом дела, а не художественного слова).

— Ты меня не слушаешь? Взгляд отсутствующий!

— Почему? Слушаю. — Он повторил — Ты сказала, что специалист сказал, что чем выше статус заведения, тем больше в нем альцгеймерных больных. Потому что старики расходуют мало усилий на обслуживание своих потребностей, всё за них делает персонал.

— Это будет и нашей проблемой. У нас ведь предполагается высокий стандарт обслуживания. Ты хочешь, чтобы через некоторое время СМИ подняли шум: «В мезонах Станислава Берзина старики впадают в маразм быстрее, чем в обычных государственных домах»?

Стас сразу въехал в тему, нахмурился.

— Нет, не хочу. Что делать?

— Поеду на следующей неделе в Ла-Рошель, на семинар. Хочу там подыскать хорошего практика, который согласится поработать у нас в России. Полномочия даешь?

— Без вопросов. Об условиях договоримся, лишь бы человек в принципе был согласен.

Она заметила, что он тайком взглянул на часы.

— Звонка ждешь?

— Надо минут на десять отлучиться. Поговорю кое с кем по телефону и вернусь. Ты у себя будешь?

Десяти минут для того, чтобы проконтролировать «вторую линию», было более чем достаточно — это проверялось неоднократно. А Нике про ту часть берзинской жизни знать незачем.

— Нет, поищи меня в актовом зале. У нас там репетиция, я обещала заглянуть...

— Десять минут, — повторил Стас. — Буквально.

Повернулся, чтобы слить от нее во флигель, к старому психу, а тот, надо же, вдруг взял, да и сам выскочил из-за угла. Один раз такое уже случалось, однако тогда Стас кое-как смобилизовался. Но сегодня ему реально сорвало резьбу. Сердце не железка, и выдержка тоже иногда дает сбои.

Произошло это, во-первых, от неожиданности, а во-вторых, оттого, что у тучела несчастного усы оказались подкрашены. Хрен знает как, неровно, вслепую. Паршивым черным цветом — фломастером, что ли, или даже чернилами? Заметил, выходит, седину и подретушировал реальность.

— О-о! — заорало тучело, обнажив в лихой ухмылке желтые зубы. — Нашего полку прибыло! Откуда, старый? Из Москвы? Не успел приехать, а уже клеишься к единственной клевой герле на весь санаторий? Я — Муха. Давай пять.

Слабо ответив на рукопожатие, Берзин часто-часто заморгал и с ужасом почувствовал, что сейчас пустит слезу.

Спасибо, Ника пришла на помощь. Взяла идиота под локоть, сказала что-то веселое, увела прочь. Но к Берзину вернулась быстро, он не успел привести лицо в порядок.

— Что с тобой? Тебе плохо?

— Нормально всё.

— Какое «нормально»! У тебя губы трясутся, слезы в глазах!

И тоже взяла его, как ненормального, под руку, повела на лестницу. От этого ее жеста Стас окончательно сошел с катушек.

— Этот старый клоун — папаня мой, — сказал Стас, криво улыбаясь и вытирая слезы. — Не могу видеть, каким он стал. Когда-то, не поверишь, он был для меня, как... Ну, короче, ясно — отец. А теперь, блин, усы фломастером...

Она смотрела на него так, что пришлось — чего уж теперь — всё ей рассказать.

— Я тебя сюда на стажировку не просто так отправил. «Времена года» эти я давно знаю. Папашу сюда несколько лет как пристроил. Так что у меня тут два интереса: семейный и деловой, он и ты.

Думал, Ника рассердится, что он раньше про это не говорил, но она спросила про другое:

— Почему же ты никогда к нему не заходишь?

— Захожу. На пару минут. Что толку? Он меня не узнает, а мне его таким видеть — каждый раз, как...

И опять вскрикнул. Позорище гребаное! Хотел продолжить — голос, зараза, не слушается.

— Вот что, — Ника огляделась по сторонам, — пойдёмка ко мне. Поговорим спокойно.

У нее тоже глаза были на мокром месте.

Пока поднимались на третий этаж, Стас в общем и целом взял себя в руки, но на душе было паршиво: тщательно

но выстроенные отношения, имидж настоящего мужика — всё в сортир.

Усадила она его в кресло, будто инвалида. Спасибо, стакан воды не дала.

— Он — Мухин, а ты — Берзин. Как же так? Кстати, никогда не интересовалась, какое у тебя отчество.

Засыпался — не чирикай. Стас хмуро, чисто как арестованный на допросе, стал отвечать, с предельной краткостью.

— Эдуардович я. А фамилию взял матери. Она латышка. Умерла — мне двадцать лет было. Ну я и стал из Мухина Берзиным. Черт его знает, почему. Захотелось. Потому что нельзя: был человек и исчез... Что-то должно остаться. Хоть фамилия. Инфантилизм, короче.

Он попытался улыбнуться, но оставил это дело. Не так на него Ника смотрела, чтоб улыбаться. Стас понял: нужно объяснить как следует.

— Любил он ее сильно. В смысле, отец. Через край любил. А она взяла и умерла. Ладно бы еще поболела сначала, это еще не самое страшное, когда человек сначала тяжело болеет — привыкаешь как-то. А она взяла, и... Остановка сердца, короче. Пять минут, и всё. Бывает. — Оттого что Ника всхлипнула, рассказывать стало немножко легче. — Ну, и папаня рассыпался, в труху. Нет, тогда он еще не свихнулся, а с тормозов соскочил. Запил, загулял. Я на него по молодости лет крепко злился, особенно за блядки — извини за мой французский. — Здесь Стасу все-таки пришлось выдавить улыбку, потому что у Ники по щекам катились слезы, а на два голоса реветь — это уже какое-то индийское кино. — Я, если честно, еще и поэтому фамилию поменял. Отселился от него, институт бросил, начал свой бизнес создавать. Несколько лет родителя вообще не видел. Однажды звонят: ваш отец в реанимации. Спьяну на тачке в стену въехал. Ну, делать нечего. Как говорится,

О С Е Н Ь Ю

исполнил сыновний долг. Тем более, к тому времени уже и возможности финансовые были.

— У него была травма головы, я помню из истории болезни. После аварии начались проблемы с памятью, так?

Особенная девушка даже плачет особенно. Слезы льются, но лицо не дергается, голос не дрожит.

— Да. Стал таким, какой он теперь. Ни шиша не помнит. Меня не узнает, вообще никого не узнает. Я сначала думал, придушивается. Первый диагноз был — синдром Корсакова. Я заключение наизусть вызубрил: «В основе заболевания самокупирующееся разрушение нейронов в мамиллярных телах, вызванное хроническим употреблением алкоголя и травмой головного мозга». А профессор мне потом объяснил, что это еще называется «истерической амнезией», или «психогенной фугой». У отца мозг заблокировал все воспоминания, связанные с причиной шока, то есть с матерью. Они познакомились в семьдесят третьем, когда она подрабатывала на каникулах в санатории «Дзинтарс», а он отдыхать приехал. И папочка завис во времени. Чисто муха в янтаре.

Он пошутил, а она не поняла, пришлось разъяснить.

— «Дзинтарс» по-русски значит «Янтарный». А Муха — это у него кличка такая в молодости была.

Зря Стас надеялся, что главный позор позади. Потому что Ника вдруг наклонилась к нему, обняла за шею, прижала к себе его голову и поцеловала в лоб.

И тут вообще — будто в нем шлюз прорвало. Заревел железный человек Берзин в два ручья так, что из носа потекло. Плачет и говорит себе: «Ну, поэт херов, теперь ты окончательно запалился. Упустил Жар-птицу. Папаша — псих, сын — истерик и слюнтяй. Ты ей и раньше на фиг был не нужен, а теперь подавно». И от таких мыслей слезы лились еще пуще.

— Ты чего меня, как покойника, в лоб...

Он хотел отодвинуться, поднял лицо, посмотрел на Нику — и заткнулся.

Больше у них ни слова сказано не было.

Она поцеловала его в рот. У него губы были холодные, а у нее очень горячие, и ему от этого тоже стало жарко.

Стас ужасно испугался. Что это на нее мгновенное затмение нашло, непонятно с чего. Как нашло, так и уйдет. Ведь не поймешь, как и что там в ней происходит.

И скорей, пока Ника не очнулась, стал ее обнимать, гладить, целовать. Чтобы урвать как можно больше, пока наваждение не растает.

Но она не опомнилась, не оттолкнула его, и он перестал суетиться, и всё получилось. Только Стас продолжал бояться и после того, как всё получилось. Лежал рядом с ней на кровати и ждал, что вот сейчас она придет в себя и зарыдает или скажет что-нибудь горькое — как в старинном романе или в кино «Анна Каренина» после сцены грехопадения.

Вид у Ники был такой, что чего-то в этом роде следовало ожидать: глаза закрыты, а сама будто к чему-то сосредоточенно прислушивается.

Но она посмотрела на его перепуганную физиономию и рассмеялась.

— Не трусь, — говорит. — Всё нормально. Кровь пролилась, но никто не умер.

В каком смысле она это сказала и чему смеется, Берзин не понял, но все-таки перевел дух.

Он глядел на нее и думал.

Сначала думал: «Женщина-загадка, на разгадывание которой не жалко потратить всю жизнь, даже если не разгадаешь до конца».

Потом — что человек все-таки жутко неблагодарная скотина. Вот случилось то, о чем мечтал, как о недостижимом счастье, а вместо удовлетворения в душе один страх.

Потому что непонятно, чем ты заслужил свое счастье, а когда это непонятно, то точно так же легко его можно и потерять.

Но только вдруг понял Стас одну штуку.

Счастье тем и отличается от зарплаты или прибыли, что его ничем не заслуживают. Оно, идиот ты хренов, — дар небесный.

ALEXANDRINE. КОНЕЦ ЖИЗНИ

Не помню, где и когда я вычитала одну фразу, засевшую в памяти. «У счастья есть один большой минус, а у несчастья — один большой плюс: и первое, и второе когда-нибудь заканчиваются».

Сегодня 19 октября. Очередная годовщина.

Когда-то это число ассоциировалось у меня с Пушкиным и царскосельским лицеем. Помню, в гимназии учили наизусть длиннющее стихотворение «19 октября 1825 года». Меня трогало элегическое обращение поэта к последнему лицеисту, который переживает всех соучеников:

*Несчастный друг! средь новых поколений
Докучный гость и лишний, и чужой,
Он вспомнит нас и дни соединений,
Закрыв глаза дрожащею рукой...*

Это я — последний лицеист, который всех пережил. Только ничего элегического в моем существовании нет. И насчет «дрожащей руки» — чересчур оптимистично. Дрожат у меня только веки.

Но 19 октября я поминаю не из-за Пушкина.

Это число когда-то поделило мою жизнь надвое. Никакой ленты Мёбиуса, никаких сумерек, сглаживающих ру-

беж между днем и ночью. В моем случае судьба разграничена глухим забором, по одну сторону которого белое и сияющее счастье, по другую — черное ледяное несчастье.

Один раз в год я с трепетом беру эту книгу. Никогда не снимать бы ее с полки, пусть пылится, но куда деться от прошлого? Не могу же я превратиться в этого жалкого старика с антероградной амнезией, который однажды стонал и пыхтел в пяти шагах от моей кровати.

Поэтому каждый октябрь, девятнадцатого, я заставляю себя заново проживать то утро сорок второго года: по одну сторону границы очень медленно; по другую сторону — как можно быстрее.

Всех воспоминаний максимум на полчаса. Я смакую каждое мгновение.

Восемь часов. Утро, кажется, солнечное, но наши окна всегда в тени дома напротив. Я ненавижу этот узкий кривой переулок. Он похож на старческую вену, по которой едва проходит кровь. Летом здесь душно, в остальные времена года темно.

Из ванной слышится плеск воды, детский плач. Колонка опять не работает, горячей воды нет, а умывание холодной — это неминуемый рев.

— Слоны пришли на водопой. Ту-ту-ту! — трубят Давид и хохочет.

«Весельчак, — зло думаю я. — Еще бы, бьет баклуши с утра до вечера».

Вчера мы опять поругались из-за звезды. То есть, ругалась я, он отшучивался. Ему всё как с гуся вода.

Заканчиваю готовить завтрак. Пять минут девятого!

— Давид, давайте быстрее! Каша стынет!

Издавек то десятилетие кажется сплошным сумасшедшим счастьем, очень длинным и в то же время слишком коротким солнечным днем. На самом же деле, стоит

мне заглянуть почти на любую страницу, и я поражаюсь тому, как я несчастна. Постоянно жалуясь на жизнь. Ревную мужа, терзаюсь тем, что он меня мало любит, психую из-за девочки — маленькие дети часто болеют. Счастье, которое не сознает, что оно — счастье, это, очевидно, и есть настоящая полнокровная жизнь. Забот и тревог может быть сколько угодно, но счастливая пара отличается от несчастливой не безмятежностью и беспечальностью, а совсем иным параметром: если муж и жена — одно существо, всё прочее не имеет значения. Мы с Давидом при всех наших различиях, ссорах, несходстве темпераментов были одним существом. Мне было больно, когда было больно ему. Ему было плохо, когда было плохо мне. А когда нам обоим было хорошо, лучше этого не было ничего на свете.

И всё об этом. Всё.

Смотрю на наш завтрак, и плакать хочется. Для ребенка сварена каша из драгоценного запаса риса, и в ней крошечный кусочек коровьего масла. Молоко вчера кончилось. Мы с Давидом выпьем по чашке эрзац-кофе с пустым хлебом. Еще есть яблоко, которое я поделю между ними пополам. Завтра будет моя очередь, без половинки яблока останется муж.

Наша семья за десять лет своей истории знала и тучные, и тощие годы. В общем-то это нормально для всякой молодой семьи, но обычно начинают с бедности и постепенно переходят к достатку, у нас же получилось прямо наоборот.

Саул Каннетисер вовремя вышел из комы и сына у хунзузов выкупил, но от последствий инсульта так и не оправился. Той же осенью у него случился второй, смертельный удар. Безалаберному наследнику досталось большое, сложно устроенное предприятие, в котором он не умел и

не желал разбираться. К тому же все интересы банка были сосредоточены в тихоокеанском регионе, а нас к тому времени там уж и след простыл. Мы были не самоубийцы, чтобы жить в опасном соседстве с Сабуровым, Словом, Лаецким.

Расставание с Харбином ни меня, ни Давида не печалило. Мы были свободны, богаты, мы любили друг друга. Весь мир был нам открыт, за исключением несчастного куска земли на краю азиатского континента. Господи, да провались пропадом это захолустье!

Выбор был между Парижем, Лондоном и Нью-Йорком. Мы долго спорили, сравнивали, не могли договориться и в конце концов бросили жребий. Выпал Париж, и мы так обрадовались, что стало ясно: в глубине души оба хотели именно туда.

Перемещение в пространстве было плавным, естественным. Из Харбина, говорившего по-русски, мы перебрались в город, который хоть и лопотал на французском, но русских там жило не меньше, чем на берегах Сунгари.

Первые четыре года французской жизни, пока не кончились «папочкины» деньги, я про себя называла «золотым веком царя Давида». Мы купили огромную квартиру на авеню Рапп и зимнюю виллу в Ментоне. Ездили на горнолыжные курорты, совершали трансатлантические круизы. На каждый праздник, а иногда и просто так муж дарил мне рубины — он говорил, что это мой камень.

Потом банковский дом, оставшийся без хозяйского присмотра, лопнул. Еще год мы проживали всё, что имели: виллу в Ментоне, рубины, квартиру на авеню Рапп. Наконец однажды — к тому времени мы уже переехали в скромный трехкомнатный мезонин близ Люксембургского сада — Давид, комично разведя руками, объявил: «Представляешь, они сказали, что мой счет пуст. Вероятно, мне придется пойти работать».

Я была к этому готова. Я давно ждала, когда же закончатся «папочкины» деньги. Роскошь меня не радовала, я ее только терпела, изображая восхищение очередной рубиновой безделушкой или тысячефранковой сумочкой из страусиной кожи. И вот мой час настал. Теперь я встану у руля нашей жизни, и, можете быть уверены: у меня банкротства не будет.

Осуществилась извечная женская мечта: чтобы любимый зависел от тебя целиком и полностью. Правление царя Давида закончилось, наступила эпоха царицы Савской.

Я обняла мужа и произнесла заготовленную речь в духе Царевны Лебеди, объявляющей князю Гвидону: «Полно, князь, душа моя, не печалься; рада службу оказать тебе я в дружбу». В заключение я сказала: «Теперь мы будем жить по-другому, по-настоящему. Как все нормальные семьи».

Золото Ивана Ивановича пять лет ждало своего часа в номерном сейфе надежнейшего швейцарского банка — и этот час пробил.

Теперь я раз в три месяца ездила в Женеву, продавала один-два самородка — ровно на такую сумму, чтобы хватало на разумную, без глупостей жизнь до моего следующего визита.

Мне нравилось экономить, планировать расходы. О будущем я не беспокоилась. Золота Желтуги при подобных темпах хватило бы лет на двести.

Так мы прожили еще четыре года.

Давиду было все равно, на чьи средства мы живем. Никаких комплексов на сей счет у него не было. Пожалуй, я не встречала человека, который был бы так равнодушен к деньгам при любви ко всякого рода удобствам и красивым ненужностям.

Это была лучшая пора нашего брака. Я часто ходила обиженная, по ночам орошала слезами подушку, жалова-

лась маме на свои несчастья — и была неприлично, бесстыдно счастлива.

Тошние годы настали, когда летом сорокового закрыли границу. У нас были обычные для русских эмигрантов нансеновские паспорта. Пока мы были богаты, это не имело никакого значения — богатые люди везде желанные гости. Когда началась война, я даже была рада, что Давид не натурализовался, иначе его забрали бы в армию.

Но после капитуляции мы хлебнули настоящей бедности. Устроиться на работу Давид теперь при всем желании не смог бы. Я перебивалась случайными переводами с китайского и продавала вещи — пустяковые, рубинов у меня не осталось. Жить мы переехали в крошечную квартиру за Площадью Италии. Там я и приготовила наш последний завтрак...

Нет, это невыносимо! Теперь они затеяли игру: звери на водопое. Девочка уже не ревет, а пищит и улюлюкает. Господи, ну что он вытворяет? Как будто не знает, что мне нужно спешить! И каша уже холодная. Можно подумать, этот рис доставал он!

Я сердито иду по коротенькому коридорчику, распахиваю дверь ванной. Давид с засученными рукавами, в забрызганной рубашке смотрит на меня с оживленной улыбкой. Он очень красивый. Я не могу на него злиться.

— Каша остыла, вытирай ее и марш на кухню, — говорю я и протягиваю полотенце к светящемуся облачку, которое колышется возле умывальника.

Девочки я не вижу. Однажды я взяла и стерла из памяти всё с нею связанное, и теперь, даже если очень захотела бы вспомнить, не получится. Так выскабливают с фотографий лица людей, которых нужно забыть.

Для того чтобы не сойти с ума, мне пришлось решить, что о дочке я думать не буду. Никогда. Я так долго запре-

щала себе мысленно произносить ее имя, что забыла его. Действительно забыла. Вытеснила в дальние подвалы памяти, ключ от которых навсегда затерян. Если девочка и мелькает в моих воспоминаниях, то расплывчатым пятнышком света, невнятным эхом звонкого голоса, и слов разобрать невозможно.

Мать из меня получилась так себе. Все родительские обязанности я выполняла, но мужа любила сильнее, чем ребенка. Дочка была для меня средством получить привязать к себе Давида, частью стратегии по его приручению. Паутиха придумала завязать еще один узелок в своей паутине, чтобы мотылек уже никогда не выпутался. Известно, как отцы млеют от маленьких дочек, поэтому я хотела именно девочку, и она родилась. Всё получилось, как я рассчитывала. Малышка лепетала, Давид таял, начал проводить дома больше времени. А с тех пор, как в оккупированном городе ходить ему стало некуда, они уже просто не расставались.

Часами напролет они ползали по полу, играя... Господи, во что же они играли?

Не помню. *Я ничего не помню.* И хорошо, что не помню.

Сначала девочки не было, потом она была, потом исчезла. И точка.

Всё, как обычно. Я стараюсь быть терпеливой, уговариваю светящееся облачко не капризничать, съесть кашу. У Давида это получается лучше.

— Ну-ка, киска, — говорит он, — да ты, никак, поймала мышку! Покажи, как ты ее слопаешь.

— Ам! — отвечает облачко.

— Умница. А это что такое в ложке? Неужели еще одна мышка? Как удачно ты сегодня поохотилась. Давай ее скорей проглотим, пока не сбежала!

Я вздыхаю.

Анна Борисова VREMENA-GODA

— Надо тебя как-нибудь с собой взять, чтоб ты так же маму покормил.

Первые признаки распада личности у мамы начались года за полтора до войны. Она сделалась очень мнительной, раздражительной, капризной. Я думала, что она перевознолась из-за моей беременности, но с каждым месяцем круг маминых интересов сжимался всё уже. Она стала забывчива, ей было всё труднее управляться одной, пришлось поселить к ней помощницу по хозяйству, потом другую — долго они не выдерживали. С ужасом узнавала я знакомые симптомы: десять лет назад то же самое происходило с папой, а еще раньше с бабушкой.

В мае сорокового мы не смогли покинуть Париж, потому что уехать с мамой было нельзя, а бросить ее одну невозможно. Повторилась та же ситуация, из-за которой мы не уехали в 1918-м из гибнущего Петрограда. У меня было ощущение, что это Рок обрек мою семью на раннюю старческую деменцию (ни о наследственности, ни об имитационном синдроме, когда психическое заболевание родственника порождает в человеке сходную патологию, я тогда еще не знала).

Мама словно двигалась в обратном направлении, из взрослого состояния в детское. С каждым годом ее сознание опускалось на одну ступеньку: семь лет, шесть, пять, четыре. Нам жилось бы много легче, поселись мы все вместе, но об этом нечего было и мечтать. Мама не выходила из своей квартиры и горько плакала, если кто-нибудь пытался сдвинуть с привычного места какую-нибудь вещь, а уж от переезда, наверное, просто умерла бы. Про войну и немцев она ничего не знала, про существование внучки забыла, про Давида спрашивала, скоро ли он вернется из Харбина. Маму интересовала только еда. Она требовала пирожков с грибами, или земляничного варенья, или соле-

ных огурцов и безутешно рыдала, когда я не могла ничего этого достать.

Мне было жалко мать, но себя я жалела больше. «Одна с тремя малыми детьми, и никакой ни от кого помощи», часто повторяла я в сердцах.

— Хочешь, ты посиди с ребенком, а я поеду к маме? — с готовностью предлагает Давид.

— Нельзя. Ехать на другой конец города для тебя рискованно.

Давид подмигивает:

— Ты просто боишься, что я завяжу интрижку с Боженой.

Поразительно легкомысленный человек! Всё ему шутки.

Божена — беженка из Польши, добравшаяся до Франции кружным путем, через Скандинавию, только для того, чтобы снова оказаться под немцем. Это была полная, немолодая тетка с расстроенными нервами и склочным характером. Давид никогда ее не видел, но постоянно выслушивал мои жалобы, и для него Божена служила излюбленным предметом для шуток.

Полька работала уборщицей в универсальном магазине. Ей было негде жить, мне — нечем платить ночной сиделке, так что положение дел устраивало обе стороны: когда Божена возвращалась со смены, я могла ехать домой. Девочка к этому времени уже спала. Два часа, которые мы с Давидом проводили наедине, были для меня лучшим временем суток. Мы сидели на кухне, разговаривали шепотом. Правда, часто ссорились — и первой всегда начинала я.

— Ешь яблоко быстрее! Давид, скажи ей! Ты же знаешь, Божена в девять уйдет на работу, маму ни на минуту нельзя оставлять одну!

— Яблоко мы возьмем на прогулку. Да, солнышко?

Я качаю головой. Не хочется затевать вечный спор заново, но все-таки говорю:

— Эти ваши прогулки. Ладно бы еще во дворе, а то опять пойдете шляться по улицам.

— Во дворе помойкой пахнет. Ни кусточка, ни травинки. Ребенку нужен свежий воздух, — скучным голосом говорит Давид. Он уже знает, что я скажу дальше.

— Тогда надень звезду. В трамвае рассказывали, что в гестапо завели какую-то «физиогномическую бригаду». Ходят, смотрят на людей и чуть подозрение — требуют предъявить документы. Если еврей, забирают в Дранси.

— Чушь, бабы страшилки, — беспечно отвечает Давид. — А то гестапо делать нечего.

Мы говорили на эту тему, наверное, тысячу раз — с тех пор, как на оккупированной территории был введен «Statut des Juifs», правила проживания евреев. Ношение шестиконечной звезды объявлялось обязательным, за нарушение — арест и депортация. Давид наотрез отказался подчиняться указу, сказав, что никогда не чувствовал себя евреем и вообще терпеть не может, когда ему что-то навязывают. Сначала я сходила с ума всякий раз, когда он выходил из дома: вдруг патруль? В июле сорок второго по всему Парижу прошли уличные облавы на евреев. Несколько тысяч человек были арестованы и отправлены на стадион в Дранси, откуда, по слухам, людей эшелонами увозили в концентрационные лагеря. Но Давида тогда ни разу даже не остановили. Он говорил, что документы проверяют только у тех, кто затравленно озирается и вжимает голову в плечи, что элегантного господина вроде него никто не тронет, а носатых брюнетов среди французов сколько угодно.

Мне пришлось смириться. Я убедила себя, что мужчина, гуляющий с маленьким ребенком, никому не пока-

ОСЕНЬЮ

жется подозрительным. Что мне оставалось? Нельзя ведь находиться в постоянном психозе месяц за месяцем и год за годом.

Мы спускаемся по узкой лестнице втроем. Я боюсь опоздать.

— Не скачи по ступенькам, — раздраженно говорю я, протягиваю руку, и моя кисть полурастворяется в мерцающей пустоте.

— Шагай быстрее! Господи, да не нужно меня провожать! Всё, я побежала.

Обычно они провожают меня до остановки, но сегодня я бросаю их на полдороге, потому что из-за угла уже доносится дребезжание приближающегося трамвая.

На самом повороте, будто что-то меня толкнуло, я оборачиваюсь.

На тротуаре, ярко освещенном солнцем, стоит мужчина в длинном пальто и шляпе, с белым шарфом через плечо, и машет мне рукой. Рядом, у самой земли, колышется золотистое сияние.

Мне вдруг ужасно не хочется от них уезжать. Можно дойти вместе пешком до другой остановки и сесть на следующий трамвай. Ну, побудет мама пятнадцать минут одна, ничего страшного. Могу же я подарить себе четверть часа семейного счастья, ведь девочка меня так мало видит.

Колебание длится секунду или две.

(«Вернись, вернись! Может быть, всё сложится по-другому», — призываю я тридцатисемилетнюю *Alexandrine* (так все меня называли в ту эпоху, даже Давид). Но я знаю: она не вернется. Ядро летит под ноги Волконскому, Анна глядит на пылающий дымом паровоз. Сколько ни перечитывай, ничего изменить нельзя.)

Что за блажь? Стыдно!

Я поворачиваю за угол. Бегу прочь из света в густую тень.

Вечером, когда я, вымотанная и злая, вернулась от мамы, окна на шестом этаже были черны. Но погружаться в

эту черноту, в кошмар последующих часов и дней я не стану. Я и так помню последовательность событий, а прожить их заново мне незачем.

На то, чтобы восстановить картину случившегося, у меня ушло двое суток беготни, расспросов, поисков.

Произошло то, что рано или поздно должно было произойти, а цепочка роковых совпадений сделала несчастье непоправимым.

На соседней улице, через несколько минут после того, как я убежала к трамваю, Давида остановили для проверки документов. Бумаг он при себе не носил, слишком подозрительной выглядела его фамилия. Человека без документов задержали для выяснения личности. Детей в подобных случаях было заведено отделять от взрослых. Внешность и упорное нежелание назвать домашний адрес, вероятно, привели к медосмотру, который подтвердил подозрение в скрываемом еврействе. Такова была обычная процедура. Разоблаченного еврея немедленно отправили в Дранси.

А там — вторая случайность — как раз стоял под парами поезд. Те, кто находился на стадионе давно, отлично понимали, что это за эшелон, и старались забиться в какую-нибудь щель. Давид ничего этого не знал, да и не мог себе представить его забивающимся в щель, ни при каких обстоятельствах.

Через час набитый до отказа состав ушел на восток, в лагерь Биркенау.

Если б мой муж задержался в Дранси хоть на два дня, я бы его отыскала. Или вытащила бы, перевернув небо и землю, либо, что вероятнее, присоединилась бы к нему. Не думаю только, что это бы его спасло. Известно, что из семидесяти пяти тысяч депортированных евреев живыми во Францию вернулись два с половиной процента.

Когда выяснилось, что Давид этапирован в Германию, я сразу поняла, что больше никогда его не увижу. «Такой, как он, не протянет в несвободе и одной недели. Надеяться не на что», — сказала я себе. Немцы — не хунхузы, выкупа им не нужно и обращаться с ним, как с принцем, они не станут. А по-иному обращаться с собой он не позволит.

Три года спустя я узнала, что насчет одной недели — это я Давиду польстила. Он не прожил и одного часа после того, как его присоединили к толпе депортируемых.

Один человек из того эшелона, пройдя лагерь, чудом остался жив. Я разыскала его летом сорок пятого в гостинице «Лютеция», куда временно расселяли вернувшихся. Вялый, равнодушный старик тридцати лет от роду рассказал, как погиб мой муж.

На станции стоял крик и плач, люди боялись садиться в страшные грузовые вагоны. Охранники били их прикладами в спины. Тогда Давид подошел к главному немцу («рыжий такой, круглолицый, хмурый») и что-то ему крикнул. Тот, не меняя брезгливого выражения лица, вынул пистолет. Выстрелил в грудь и потом, уже упавшему, в лоб. После этого подгонять толпу не пришлось — все очень быстро погрузились в вагоны. Человек из «Лютеции», видно желая меня утешить, еще сказал, что потом, в лагере, часто вспоминал Давида и очень ему завидовал. «Умно поступил ваш муж, — тускло сказал уцелевший. — Я и сейчас ему завидую».

Давиду всегда везло, ему грех было жаловаться на судьбу. Она много раз вытаскивала его из скверных переплетов. Спасла из голодного Питера, уберегла в Гражданскую, выручила из рук хунхузов. И наш отъезд из Китая, где вскоре грянула большая война, до поры до времени казался мне великодушным даром Фортуны. Я шутила, обни-

мая мужа: «Ты от бабушки ушел, ты от дедушки ушел, а от лисички-сестрички не уйдешь». Всё так и получилось. Только лисичкой оказалась не я, а смерть в обличье рыжего немца.

После разговора с человеком, про которого Иван Иванович сказал бы, что в нем совсем не осталось Жизнеспета, в моем существовании вдруг появился смысл.

Почти три года я жила, будто в вязком бреду. Заставляла себя надеяться — ведь кто-то всё-таки находился, а начиная с весны, некоторые, очень немногие, возвращались. Девочку я искать давно уже перестала. Она затерялась сразу, не оставив никакого следа. Будто ее вовсе не было. Она была маленькая, не знала своей фамилии. Таких в списки депортируемых вносили безымянными, поставив в графе «имя» знак вопроса. Никто из этих детей не вернулся. Я слышала рассказы железнодорожников, чистивших «спецпоезда» после возвращения из Германии. В каждом вагоне лежало по несколько окоченевших маленьких трупов.

Стоп. Стоп.

Летом сорок пятого о девочке я уже не вспоминала. Инстинкт самосохранения запер эту дверь на замок, а ключ выбросил. Когда я узнала о гибели Давида, встречать поезда из Германии и надоедать персоналу в «Лютении» тоже стало незачем.

Зато в моей жизни появился штабс-фельдфебель Кропс.

Я довольно быстро выяснила, как звали начальника поезда (по-немецки «транспортфюрера») спецэшелона № D901/14, отправленного 19 октября 1942 года со станции Ле Бурже-Дранси в лагерь Аушвиц-Биркенау. Рыжеволосый круглолицый человек по имени Хайнрих Кропс был 1900 года рождения — меня особенно пора-

зило, что он ровесник века. Будто вся тупость и жестокость этого тупого и жестокого столетия сконцентрировалась в пороссячьей физиономии, которая глядела на меня со служебной фотографии. Я пустилась по следу «транспортфюрера», и никакая сила не свернула бы меня с этого пути.

Скоро я знала про Кропса всё. Он не выслужился в офицеры, потому что имел только начальное образование. До конца войны оставался в том же чине. Пропал без вести в апреле. Одно из двух: либо дезертировал, либо попал в плен к русским — в лагерях у союзников пленный с таким именем не числился.

Я намеревалась поселиться в его родной деревне под Штуттартом, познакомиться с его родственниками, подождать, не придет ли к ним откуда-нибудь весточка. Если он действительно у русских, я репатрируюсь в СССР. Тогда многие эмигранты это делали, и их выпускали. Через год, через десять или через двадцать лет я найду Хайнриха Кропса.

Он уцелеет, потому что такие мрази обладают нечеловеческой живучестью. Вывернется змеей, выползет мокрицей, прошмыгнет мышью, но спасет свою драгоценную шкуру.

Первое, что он сделает, когда выйдет на свободу, пойдет выпить пива, которого столько лет не пробовал.

Он возьмет пару кружечек, порцию сосисок с тушеной капустой. Сдует пену, облизнет свои толстые губы. Потом заметит, что на него с радостной улыбкой смотрит женщина с худым лицом и наполовину седыми волосами, и тоже ей заулыбается. Он так давно не имел бабы, что его не отпугнет ни седина, ни худоба.

Я подойду к нему. Я не буду спрашивать, помнит ли он человека, которого когда-то застрелил на станции. Конечно, не помнит. Таких случаев в его гнусной жизни наверняка было много. Да и плевать мне, помнит он или нет.

Правой рукой я возьму его за ладонь и скажу: «Меня зовут Александрина». Возьму крепко, чтобы не вырвался. В левой руке у меня будет острый нож. Я воткну его Хайнриху Кропсу пониже пупа и медленно распорю его поганое брюхо до самого верха, все время глядя в выпученные белесые глаза.

А ЛАРЧИК ПРОСТО ОТКРЫВАЛСЯ?

Если это вообще могло случиться, то только так. Без предварительного намерения, без решения, очертя голову. Вера никак от себя такого не ждала. Не поверила бы, что это может произойти — уж по крайней мере не с Берзиным.

Но когда он заговорил сорванным голосом, давясь слезами, то словно бы перестал быть Берзиным, а превратился в какого-то другого человека, невыносимо близкого и дорогого. То есть не превратился, конечно. Просто со Славы, как отвалившаяся короста, слезло всё наносное, и Вера впервые увидела его по-настоящему. Сердце переполнилось, раскрылось ему навстречу, ну а всё дальнейшее было естественным развитием событий.

Когда взбудораженное тиканье наконец утихомирилось и стало ясно, что бомба не рванет, Вера по привычке начала разбираться в собственных чувствах.

Что же она увидела в его глазах, когда слезы вымыли оттуда победительную самоуверенность?

Что Слава — такой же подранок, как большинство людей. Даже в большей степени, поэтому для него особенно важно казаться неуязвимым и сильным.

И еще (чудная мысль): он ужасно похож на Маяковского. Тот тоже был высокий, с выпяченной челюстью и нахрапистыми манерами. Снаружи — опететинившийся ёж, а внутри обостренная ранимость и незащитность.

О С Е Н Ь Ю

И вот,
громадный,
горблюсь в окне,
плаваю лбом стекло окошечное.
Будет любовь или нет?
Какая —
большая или крошечная?

А вот прямо про Берзина:

Значит — опять
темно и понуро
сердце возьму,
слезами окаяв,
нести,
как собака,
которая в конуру
несет
перееханную поездом лату.

Берзин — поэт? Смешно. Я поэт, зовусь я Цветик, от меня вам всем приветик.

Волосы растрепались, глазами хлопает — ресницы длинные и светлые, как у младенца. Понял, что обесчестил невинную деву, и перепутался. Не того, чего следовало.

Она хихикнула. Всегдашнюю эйфорию, приходящую после приступа, усугубляла пьянящая жизнь: *теперь я настоящая женщина!* Не инвалид, не весталка поневоле!

И дело не только в этом. Вере открылась некая головокружительная истина. До сих пор несовместимость мины замедленного действия и занятий любовью представлялась ей непреложной аксиомой. На самом же деле всё ровно наоборот!

Вера только что изобрела потрясающую формулу. Любовь + Опасность Смерти = Высшее Наслаждение. Да, да! Самая острая, самая полная жизнь, квинтэссенция жизни именно что «бездны на краю». Когда каждое объятие может оказаться последним. *Если заниматься любовью, то только так.* Или вообще никак. Нельзя же это сводить к воздействию закона трения на нервные окончания!

Слава, который, видя ее улыбку, понемногу расслабился и осмелел, вдруг отдернул руку.

— Ты чего? Тебя не трогать, да?

А это Вера нахмурилась от новой мысли, неприятной.

Неужели в ней заговорила латентная суицидальность? Вот уж никогда бы про себя такое не подумала.

Еще больше она расстроилась, сообразив, что думает лишь о себе и собственных переживаниях. Она, значит, будет искать наслаждения в аравийском урагане и бездны на краю — и в конце концов однажды допросится. А что тогда будет со Славой?

— Трогай, трогай, — сказала она, пристально глядя на него.

Голос, который был мудрее и взрослее Веры, сказал ей: «Когда любят, делают опасность пополам. Это нормально».

«Но ведь он, в отличие от меня, об опасности не знает? — возразила она голосу, глядя Славу по волосам. — Это несправедливо».

«Зато милосердно. Милосердие не бывает справедливым».

А всё же осталось ощущение, будто она обнаружила в себе что-то новое и, кажется, нехорошее.

Неприятные открытия на этом не кончились. В тот же день, пока Слава вел сложные телефонные переговоры с секретаршей, чтобы она переделала на завтра весь его график

и освободила день, отправилась Вера в кафе — поболтать с гостями, а заодно проверить, приметили ли ушлые старушки, что она уединилась с работодателем в квартире на целых два часа. В принципе, это ее личное дело, но все же лучше было соблюсти конспирацию, а то потом замучаешься на вопросы отвечать и добрые советы выслушивать.

Встретила Марью Прокофьевну, восьмидесятилетнюю петербуржанку, всю в слезах. Спросила, в чем дело. Оказалось, у той умирает кошка Катя, семнадцати лет от роду, то есть, по-кошачьему, примерно того же возраста, что хозяйка. Утешить Марью Прокофьевну Вера не могла, но хоть поплакала с ней заодно. Потом, умывшись, выходит из туалета и слышит, как директор с главной медсестрой-француженкой, малосимпатичной особой, разговаривают.

Медсестра, старая сушеная дева, довольно громко сказала:

— Как же эта маленькая ханжа (*petite safarde*) возбуждается при виде слез и страдальцев! Будто вампир при виде крови.

О ком это они, интересно, подумала Вера.

Люк со смешком в ответ:

— Это называется «отзывчивость русской души». Читайте Достоевского. На фрейдистском сленге — «либидозность эмпатического типа».

Тут Вера догадалась, что это про нее, и была потрясена. Обиделась, как дитя, которое впервые узнало, что его, о ужас, не все на свете обожают.

Вера, конечно, и раньше видела, что главная медсестра ее терпеть не может. Вечно говорит всякие вежливые гадости — это такое сугубо французское искусство хамить, не выходя из рамок изысканной учтивости. «Не угодно ли госпоже доктору объяснить мне, что она тут написала, — это по-французски или по-русски?» «Госпожа доктор полагает, что это хорошая идея — хлопать дверью во время занятий по медитации?» За что старая злыдня ее невзлю-

била? Вероятно, за то же, за что все старые злыдни не выносят молодых, красивых девушек.

У Люка тоже были причины иметь на Веру зуб.

Призовой самец, султан балтийского гарема, сделал к ней несколько подходов — как тяжеловес к штанге. Первая попытка была незамысловатой, почти ленивой.

Еще в мае, на коктейле для персонала по случаю чьего-то дня рождения, Шарпантье подошел с бокалом.

— Поговорим как коллеги-медики. Вы молодая, здоровая женщина в периоде острой гормональной активности. На любовные свидания не ездите, к вам тоже любовник не приезжает. Этот целибат долго продолжаться не может, он противоречит природе. — Болтовня была легкой, как бы шутиливой, но цепкий взгляд свидетельствовал, что это не просто треп. — Кроме меня тут функционирующих мужчин нет, я абсолютный монополист по части предоставления секс-услуг женскому населению резиденции. Все равно рано или поздно у нас это произойдет. Под воздействием лишнего бокала или просто под шальное настроение. Так что же терять время? Многого от меня не ждите, я человек легкомысленный, особенно в любовных отношениях. Однако высший уровень удовлетворения гарантирую. Побочных эффектов минимум: легкое головокружение, дневная сонливость, приятная эйфория.

Прямо как в кино, подумала Вера. «Вы привлекательны, я чертовски привлекателен».

И всё же звучало это не нагло. Люк вроде как пародировал пошлое приставание, разыгрывал записного ходока, то есть давал возможность всё обратить в словесную игру. Так Вера и сделала. Зачем обижать человека, с которым целый год жить и работать?

— Лишний бокал мне не грозит, потому что вина я не пью, — весело улыбнулась она. — Значит, придется подождать шального настроения.

Ну, он и отъехал.

Это она тогда еще не знала его как следует. Потом-то неоднократно наблюдала в действии. Люк обслуживал если не весь *cheptel baisable*¹ «Времен года», то значительную его часть, причем этот сектор своей жизни как-то очень ловко совмещал со служебными обязанностями, избегая трений и скандалов. Немолодые дамы вроде главной медсестры и низший персонал из Прибалтики были главным лужком, на котором он пасся. В харассменте или использовании служебного положения директор, кажется, замечен не был. Старые девы были только рады его вниманию и, как ни странно, не ссорились между собой. Этот разряд женщин, по Вериным наблюдениям, вообще мало требователен в любовных отношениях. Относительно чистоты успеха, которым Люк пользовался среди приезжих санитарок и уборщиц, у Веры сначала было сомнение — все-таки они на коротком контракте и зависят от расположения начальства. Но нет, своего положения Шарпантье все-таки не использовал. Да и не было в том особенной нужды: видный мужчина, обаятельный, даже блестящий — Ален Делон с Бельмондо в одной упаковке.

Со своими царственными повадками и седой шевелюрой Люк походил даже не на быка-производителя, а на главу львиного прайда. Но первому впечатлению доверять не следовало. Он не был львом. Если хищником, то не из крупных. Потому что, как заметила Вера, всегда выбирал добычу по зубам, без риска. Например, никогда не связывался с замужними сотрудницами. И не клеился к дочерям и внукам стариков, хотя некоторые гостили во «Временах года» подолгу.

После первого поползновения он еще несколько раз, обычно во время танцев или какой-нибудь вечеринки, все

¹ Сношательное поголовье (фр.).

так же шутливо интересовался, не созрела ли Вера для приятного приключения.

— Зрею, — неизменно улыбалась она, и в его глазах сразу что-то гасло. Или, наоборот, зажигалось тусклым, матовым светом?

Специалист он при этом был первоклассный. Вера очень многому у него научилась. Главное правило Люка Шарпантье: директор мезон-де-ретрета должен всё знать, всё уметь и во всем разбираться, до мелочей. В медицине, психологии, кухне, электричестве, водопроводе, финансах и так далее. Потому что резиденция — это корабль в автономном плавании, и ты здесь капитан, отвечающий за всё и за всех. Не было ни одного вопроса, по которому Люк не мог бы дать исчерпывающей консультации.

Пожалуй, единственным местом, куда он никогда не заглядывал, была палата Мадам. Когда-то он объяснил Вере, что судьба несчастной старухи, прежнего директора резиденции, вызывает у него суеверный ужас. И вместе с тем Люк испытывал к Мадам какое-то болезненное любопытство. Зная, что Вера часто бывает у своей соседки, часто выпрашивал, как там и что.

В общем и целом Вере казалось, что Шарпантье неплохо к ней относится, даже симпатизирует, причем не только в кобелином смысле.

Тем сильнее ее задела его насмешливая реплика про «либидозность эмпатического типа». В переводе на нормальный язык это означало, что, по мнению директора, Веру сексуально возбуждает лишь то, что вызывает сострадание. То есть, посвятить свою жизнь уходу за старыми и немощными она решила из сладострастия.

Какая несправедливость! Какая гадость!

Злословящим коллегам на глаза Вера не показалась, переждала, пока уйдут. Потом некоторое время страдала от незаслуженной обиды, после чего, как часто бывало, при-

родная объективность и требовательность к себе заставили взглянуть на дело с иной стороны.

Вера вдруг спросила себя: «Стало быть, старая гримза говорит про тебя пакости, потому что ревнует к твоей молодости и небесной красоте? А Люк ей вторит, потому что ты ему не дала? Только и всего? Нет, милочка. Это у тебя защитная реакция, боязнь посмотреть правде в глаза».

В кафе она так и не зашла. Сидела в укромном уголке, за пальмами в оранжерее, и занималась самоанализом, вернее предавалась самоедству, что, в сущности, одно и то же.

Когда про тебя говорят плохое за глаза — это повод не для обиды, а для обдумывания. Раньше, когда движение «Счастливая старость» только набирало обороты, Вера частенько рыскала по блогам и форумам: что люди о нас пишут? И прямо до слез обижалась, если кто-нибудь писал бяку — мол, девочки и мальчики просто хотят попиариться, рисуются своими благодеяниями или еще что-то. Бывало, что и сердито отвечала незнакомым худителям. А потом поняла, нет у нее права с ними собачиться. Это все равно что подслушать разговор у чужого окна и полезть с улицы через подоконник с претензиями: что-де за чушь вы тут несете! Не нравится — не слушай, топай своей дорогой. А обижаться следует, только если кто-то осознанно хотел тебя обидеть. Если же ты случайно узнала, что тебя ругают, прежде всего задумайся — справедливо или нет.

Вера задумалась — и здорово расстроилась.

«Старая мегера, очень возможно, права. Жалеть людей мне действительно нравится. Потому-то я и занялась российскими домами престарелых. Старики, которые доживают там свой век, жалостны до невозможности. Именно поэтому мне так не понравились «Времена года», когда я сюда приехала. Вроде бы всё здесь чудесно, а ощущение какое-то не такое. Вот она, причина: *здесь не жалко*.

Ну, то есть, если больные, то жалко — но как бывает жалко всякого больного человека. Старикам тут хорошо, они счастливы. И оттого в работе нет драйва. Без сострадания, как без бензина, мотор не заводится...»

Это открытие ее прямо убило.

Подумала еще — пришла к выводу, что и Люк со своей словочной либидозностью, наверное, тоже прав.

Почему Берзин, которого она раньше никак не числила объектом желаний, вдруг стал ей мил и дорог — до такой степени, что она сама повесилась ему на шею и чуть не умерла от восторга? Да потому что ее пронзила жалость! Сработала как афродизиак! Пока Берзина жалеть было не за что, он как мужчина ее совершенно не трогал. Но стоило ему надавить на слезную железу, подставить незащищенное брюшко, и она с урчанием кинулась на добычу.

Вера всегда думала про себя, что она личность сложная, даже незаурядная, а на самом деле ларчик просто открывался! Она не великодушная и не отзывчивая, она эмоциональный вампир, питающийся состраданием...

Таким манером Вера потерзалась минут пять или десять, а потом взглянула на дело иначе.

«Стоп, Коробейшикова, — сказала она себе. — Давай-ка без мазохизма. Пускай твое топливо — жалость и сострадание. Но ведь не жестокость же! Не жадность! Может быть, хороший человек только тем и отличается от плохого, что он заводится из-за хороших вещей, а плохой — из-за плохих? Ну о'кей. Стало быть, таково мое внутреннее устройство. Я правильно себя чувствую, когда жалею людей и помогаю им. Это делает меня счастливой? И слава Богу! Даже если я получаю эротическое удовольствие, испытывая к мужчине жалость, это мое личное дело. Людей судят по их поступкам, а не по тайным мотивам и мыслям, так? Почему же не применить это правило к самой себе? Я должна чувствовать себя виноватой, если я сделала

что-то плохое или могла, но не сделала что-то хорошее. А остальное себе можно и простить. Как говорится: «Parce que vous le valez bien»¹.

Она вернулась к Берзину, и он гордо сообщил, что «отжал» целых два свободных дня, такой роскоши он себе не позволял десять лет.

Формула экстаза на краю бездны была опробована вновь и сработала еще могущественней, чем в первый раз. Может быть, из-за того, что они никуда не торопились и у Веры была возможность прислушаться к ощущениям. Между прочим, жалости к любовнику она теперь не испытывала, и это ей нисколько не мешало, так что с либидозностью, вероятно, Люк промахнулся.

В какой-то миг кровь в задней части головы забураила так, что Вера подумала: «ВСЁ! СЕЙЧАС УМРУ!» Ужас и наслаждение вспенились гейзером, и она действительно умерла — во всяком случае, на несколько секунд. Но потом воскресла. И сказала себе: *doucement*², идиотка, не превращайся в камикадзе.

Лежала в «позе трупа», регулировала дыхание, а Берзин лез с нежностями, мешал инвалидке вернуться к жизни.

Вечером, когда легли спать, он, обжора, опять стал подкатываться, но Вера повела себя благоразумно. При подобном обороте жизненных обстоятельств умирать ей совсем не хотелось.

— Всё, — сказала она, отодвигаясь. — Продолжение завтра. Или даже послезавтра.

¹ «Ведь вы этого достойны» (фр.).

² Полегче (фр.).

Мысли у нее в голове были неромантические. Надо на консультацию к кардиологу, думала Вера. Объяснить ситуацию, пусть пропишет таблетки — принимать перед *plaisirs d'amour*. Не может быть, чтобы у французов не было на этот случай какого-нибудь хорошего средства. Ну его на фиг, край бездны. Обойдемся без экстрима.

Но Берзин понял ее слова по-своему и страшно оскорбился.

— Знаю я эти женские хитрости! Ты боишься, что у меня наступит пресыщение! Хочешь водить на поводке — то дашь погрызть косточку, то не дашь, да? Чтоб мужик всегда был в полуголодном состоянии. Женских журналов не читалась, дура?

— Ну вот, получил свое — и я уже «дура», — засмеялась Вера, потому что он очень смешно злился. — Правильно меня бабушка предупреждала: все ихние нежности до первой постели.

— Эх ты, — горько сказал Берзин. — Я тобой никогда не наемся! Хочешь, вообще к тебе приставать не буду? Для дур ведь это — главное доказательство любви, да? На, гляди. Кладу между нами меч.

Положил посреди кровати ее тапок, сам сложил руки на груди и зажмурился.

Нет, правда, в нем что-то было от поэта. Это ей нравилось еще больше, чем то, что он подранок. Когда под внешним мачизмом скрывается нежная душа — это очень эротично. Она даже протянула руку, чтобы его погладить, да вовремя вспомнила про кардиолога. Так сказать, чувство ответственности возобладало над животным началом.

— Завтра, — сказала она, прикинув, что, может быть, удастся попасть на прием прямо утром — у Веры завелись хорошие знакомые в университетской клинике. — Излишества опасны для здоровья.

— Ну, завтра так завтра. Спи.

Он приподнялся на локте.

— А ты?

— Посмотрю на тебя немного. Этого ты мне запретить не можешь.

— Чудак! Я же так не усну! — сказала Вера, но отлично уснула, сама не заметила.

Первую половину следующего дня они провели поврозь. Вера не объяснила, зачем едет в клинику, — сказала, что по делам и что он ей будет только мешать.

— Лучше побудь с отцом, после обеда съездим куда-нибудь, а вечером я тебе сделаю маленький сюрприз.

Он хитро улыбнулся и сразу со всем согласился. Бабушка по папиной линии, кладезь народной мудрости, учившая маленькую Веру женской науке, была права, когда говорила: у мужиков одно на уме.

На самом деле Вера имела в виду совсем не то, о чем подумал Слава, а нечто диаметрально противоположное. Если не удастся попасть к врачу, в качестве утешения она покажет Берзину одно волшебное место, которое недавно обнаружила, исследуя замок. С чердака через маленькую дверь можно по спиральной лестнице подняться в открытую башенку. Бог весть, для чего ее построили. Может быть, там когда-то стоял телескоп — на звезды смотреть. Вид оттуда потрясающий. Если ночь выдастся звездной, это будет нечто. А площадка крошечная, стоять вдвоем можно только обнявшись. По-своему, не хуже секса. Вот и проверим, какой из Славы поэт.

Знакомый кардиолог принял ее во время своего «кофейного перерыва», en amie, то есть бесплатно. Вник в проблему. Повздыхал. Сказал следующее.

Таблеток, регулирующих ритм сердцебиения, сколько угодно, и технически задача выполняется легко: пульс не участится и давление не подскочит, если при-

нять за полчаса до секса пилюлю. Не очень романтично, зато надежно. Хуже другое. Искусственная регуляция кровообращения, скорее всего, затормозит сенсорные и эмоциональные ощущения, а это значит, что любовь не даст удовлетворения. Впрочем, сказал кардиолог, он в этой сфере не специалист и, прежде чем выписать рецепт, проконсультируется с сексологом. В конце беседы доктор вдруг обнял Веру и поцеловал — не на французский лад, когда едва касаются друг друга щекой, а по-настоящему. «Бедняжка Вероник». — И побежал к пациентам.

Но она себя бедняжкой совсем не чувствовала. Что ж, совместить разумность со счастьем — задача трудная, а может быть, и вовсе неразрешимая. Для Веры эта концепция ничего принципиально нового собою не представляла.

Заодно, раз уж была в Руане, она позвонила профессору Санлису, с которым познакомилась на конференции по возрастным нарушениям памяти, и опять повезло: у мэтра нашлось полчаса свободного времени.

Вера расспросила его о современных методах лечения антероградной амнезии. Оказывается, способы существуют, и довольно эффективные. Например, с использованием амобарбитала, когда подавленные воспоминания вызывают из глубин памяти во время искусственного сна. Во Франции, правда, амобарбиталовый метод не применяют, придется везти Эдуарда Ивановича в другую страну. А здесь можно попробовать гипнотические сеансы — в Кане имеется превосходный специалист.

Во «Времена года» Вера неслась на ста тридцати, не терпелось поделиться с Берзиным обнадеживающими вестями. Взбежала по лестнице на третий этаж, что вообще-то ей было противопоказано. Слава сидел у стола, быстро тыкал пальцами в экран коммуникатора.

— Наконец-то! Чего ты так долго? Я заждался сюрприза.

Он, кажется, тоже приготовил сюрприз — чутким обонянием Вера уловила легкий аромат духов. Она в парфюме не разбиралась, но, судя по тонкости букета, это было что-то сложное и дорогое.

И хоть духами Вера не пользовалась, а все равно было приятно. Надо же, раздобыл где-то. В Довиль стонял?

— Знаешь, я не душусь. Из принципа. Кому нравлюсь я, тому понравится и мой запах, — сказала она, улыбаясь, чтоб он не обиделся.

— Знаю. Поэтому духов тебе не дарю. И сам перестал одеколоном пользоваться. А чего это ты вдруг?

Странно. Вера потянула носом воздух. Точно парфюм!

— Кто-нибудь заходил?

— Нет. Я тут все время, как дятел, по кнопкам стучу, письма и эсэмэски рассылаю, с извинениями. За отмененные встречи.

И Верино оживление сразу сникло. Он что-то от нее скрывает. Вернее, кого-то. Дорогими духами в мезоне пользуются только богатые старухи, у женщин из персонала нет таких денег. Или здесь побывал кто-то со стороны?

Хотела спросить напрямую, но не стала. Сочла ниже своего достоинства. Ну и вообще — что за пошлая сцена! «Ты был с женщиной, не ври мне, я чувствую запах!» Теле-сериал какой-то.

Настроение совсем испортилось, когда Берзин отнесся к ее предложению насчет Эдуарда Ивановича безо всякого интереса.

— На кой это надо? Сейчас мучаюсь только я, когда его вижу. Сам-то он вполне доволен. А вернуть ему память, что будет? Опять начнет квасить по-черному и в стенку врежется? Нет уж, пусть муха сидит в своем янтаре.

Кто же тут у него был? И, главное, зачем скрывать?

Вдруг ей неудержимо захотелось сказать ему какую-нибудь гадость.

— Ну, это ты как хочешь. Твой отец. А я с тобой давно собираюсь поговорить на другую тему..

— Ссориться будем, — обреченно изрек Берзин. — По тону чую. Валяй, руби.

Но Вера колебалась. Будучи девушкой начитанной, она знала, чем обычно заканчиваются ссоры между любовниками, если неподалеку кровать, и попадать в эту засаду не собиралась.

Очень кстати на столе зазвонил внутренний телефон.

— Нет, на ресепции видели, что я вернулась, и теперь всё время будут дергать. Говорить будем не здесь.

— Что, опять к мумии? — приуныл Слава. — Ладно, пойдем.

Они стояли в палате у окна. Мадам мерно свистела в свою дыхательную трубочку. Аутиста в палате не было — в это время он всегда обедал.

— Знаешь, я всё думаю про мезоны, которые ты начал строить в Подмоскowie, и мне эта затея решительно не нравится.

Берзин, как и следовало ожидать, моментально напрягся.

— Почему?

— Потому что получается обычная российская история. Хотели как лучше, а вышло, как всегда. Одна показуха! Я буду болтать по телевизору о том, как наш фонд обеспечивает пенсионерам достойную старость, а на самом деле места в мезонах достанутся богатым или привилегированным. Этой публике и так живется неплохо! Я создавала движение не для них.

Сомнения ее действительно мучили уже давно, но сейчас, под влиянием раздражения, картина вдруг стала предельно ясной, и сами собой нашлись точные слова.

— «Счастливая старость» — это общественное движение, оно для всех. А твоя «Счастливая старость» — закры-

тое общество акционерного типа. Закрытое от тех, кто беден и одинок. Я в твоей затее участвовать не буду!

Она горячилась, а Берзин был сама рассудительность.

— Конечно, акционерное общество, а ты как думала? Я не благотворитель, я делотворитель. Я хочу построить бизнес, который приносит не только общественную пользу, но и прибыль. Мы создаем не богадельни, а рентабельные предприятия социального профиля. Знаешь, я не верю в подачки и халяву!

— Ты хочешь сказать, что не веришь в великодушие и бескорыстие.

— Ника, солнышко, да пойми ты: обустроить один маленький островок райской жизни для стариков — не проблема. На это спонсоры найдутся. Но это будет даже не остров, а так, кораблик счастья посреди океана беды. Милое дело, но мелкое. Годится для благодушного капиталиста среднего уровня — самомнение потешить. Но меня интересуют задачи глобальные. Не кораблик и не островок, а материк! Мне нужно обеспечить счастливую старость всему населению Российской Федерации, а в перспективе — и сопредельных республик. Голой благотворительностью такую махину не сдвинешь. Нужно создавать самопитающуюся систему.

Поэтическую метафору про кораблик счастья Вера оценила и немного смягчилась. Но недостаточно, чтобы позволить Берзину ее заболтать.

— Что ж, выполняй масштабные задачи. Осушай океаны, создавай рентабельные дома престарелых. Но мне с тобой не по пути. Буду искать партнера, который поможет мне построить такой корабль, где все будет по-человечески, без туфты. Может быть, люди на него посмотрят и захотят построить такие же.

Замолчали. Но Вера видела, что разговор не окончен. Слава осмысливает новую информацию, процессор го-

няет мегабайты туда-сюда, сейчас выработает новый алгоритм.

— Я правильно тебя понял? — Он сосредоточенно прищурился. — Ты согласишься участвовать в проекте, если я профинансирую твой «счастливый кораблик»? В смысле, выделю средства на то, чтобы ты устроила мезон по своему усмотрению, на полном попечении Фонда? О'кей. Если таково твое условие, я согласен. Составь план, прикинь бюджет. Разумеется, реалистичный — без джакузи и мраморных фонтанов. Давай договоримся, что у нас с тобой будет все в рамках разумного.

Верина теория обид дала трещину. Вот ведь человек совсем не хотел ее оскорбить, а она пошатнулась, как от удара. Ах, в рамках разумного?

— Знаешь, Берзин, лети-ка ты в Москву, — сказала она тихо, деревянным голосом. — Тебя там ждет планов громадьё, размаха шага саженьи. В рамках разумного у нас с тобой ничего не получится. Ищи себе другую подругу жизни.

— Чего-то я не понял... опешил он. — Объясни.

— Если надо объяснять, то не надо объяснять, — повторила Вера формулировку, не вспомнить где вычитанную. И потом всё время молчала.

Говорил Берзин. Убеждал, сердился, даже пару раз несвойственным для него образом срывался на крик, но оглядывался на больную старуху и понижал голос.

Обжег яростным взглядом Эмэна, который, скрипнув дверью, безучастно сел на свой обычный стул и даже не повернул головы на Славино шипение.

— Господи, да скажи же что-нибудь! — сдавленно прошипел Берзин. — Что на тебя ни с того ни с сего нашло?

Вера молчала не из упрямства и не для того, чтобы его еще больше разозлить. Ну как ему объяснить, что их отношения в «рамки разумного» не втиснуть? Или разумность, или счастье. Спросите у кардиолога.

В конце концов Слава рассвирепел и совсем по-детски топнул ногой. Бросился вон из палаты, на прощание обозвав «упертой стервой» и послав туда, куда джентльмены дам не посылают. Опять вышел парадокс: теперь-то он явно хотел сказать обидное, а Вера не обиделась.

Через полминуты, не больше, на стоянке взревел мощный мотор, а это от шато метров полтора, и еще с третьего этажа надо было спуститься. Вот ведь поэтический темперамент.

— Вы извините, — сказала Вера аутисту по-французски. — Все ведут себя так, будто вы не существуете. Или лежите в коме, как Мадам. А я подумала, вдруг вы все-таки и слышите, и понимаете?

Эмэн не вздрогнул, когда Слава хлопнул дверью, не пошевелился и теперь. Он сидел, положив ладонь на лицо старухи, и будто вслушивался в какие-то одному ему внятные звуки.

Вера уныло побрела к двери. На всякий случай сказала: «оревуар, мсье-дам», следуя смешной французской традиции, согласно которой нужно сначала обращаться к мужчине, а потом к женщине.

Ни «мсье», ни «дам» ее оревуара, естественно, не услышали.

ALEXANDRINE. НАЧАЛО ЖИЗНИ

Два голоса, мужской и женский, прерывают мой сон.

А снился мне холмик серой, сухой земли, в который я втыкаю сук. Я часто вижу этот сон. Наверное, потому что это очень важный момент моей жизни, который я вспоминать не люблю, вот он и пролезает воровским манером, когда отключен контроль над сознанием.

Я рада, что проснулась.

Соседка, моя родственница по судьбе, разговаривает со своим московским знакомым.

Нет, уже не просто знакомый. Я моментально определяю это по интонациям, по изменившейся энергетической напряженности. Пространство между ними вибрирует, искрится.

Но они говорят не о любви. Они спорят, потом начинают ссориться.

Я не прислушиваюсь к разговору. Всё не могу прогнать из головы остатки сна, цепкие, словно клочки тумана, что липнут к траве, на сером поле, под моросящим осенним дождем...

Это было в ноябре. Всё вокруг серое: морось, мертвая трава, голые деревья, дома саксонского городка, наползающие сумерки.

«Смерть не черная, — думаю я. — Смерть серая. Жизнь кончилась не 19 октября, когда я вернулась в пустую квартиру с черными окнами. И не тогда, когда я запретила себе вспоминать девочку. Не тогда, когда я перестала ждать Давида. Смерть — это не горе и не боль. Смерть — это бесчувствие. Когда все равно. Когда двигаться некуда и незачем».

Я три года ждала конца войны и надеялась вопреки всему. Это, несомненно, была жизнь. Ужасная, но жизнь.

Потом я перестала надеяться и кинулась разыскивать штабс-фельдфебеля Кропса. Это тоже была жизнь. Безумная, но жизнь.

Она длилась еще три месяца и поглотила меня полностью.

Границы открылись, доступ к швейцарскому сейфу возобновился, ничто не ограничивало моей свободы. За мамой ухаживали круглосуточные сиделки. На случай, если я не вернулась бы из путешествия, у нотариуса оставлены все нужные распоряжения.

Я всегда была настырной и целеустремленной. В ноябре я нашла Кропса. Он лежал вместе с еще десятком солдат в могиле — общей, но с персональной табличкой для каждого. Штабс-

фельдфебеля ранило осколком авиабомбы во время отступления. Он умер в госпитале, не приходя в сознание, а пропавшим без вести был записан из-за неразберихи.

Никаких сомнений, что в могиле именно он. Я видела справку о смерти, медсестра опознала Кропса по фотографии.

У меня ощущение стайера, который собрался пробежать марафон, а финишная ленточка лопнула на груди через сто метров.

Я поднимаю с земли мертвый серый сук. Я выросла и всегда жила в городе, я совсем не разбираюсь в деревьях, но я говорю себе, что сук осиновый, и с силой втыкаю его в серую землю.

Жалкий, беспомощный жест. Мертвому Кропсу всё равно, и осиновым колом я протыкаю не его убогую жизнь, а свою собственную, потому что теперь она уж точно закончилась.

Наверное, я бы убила себя в том ноябре — без надрыва и заламывания рук, а просто из практических соображений, как добивают издыхающую лошадь. Что за прок от ее судорожных дерганий и жалобного ржания? Она уже не встанет и телегу не потащит.

От этого гигиенического шага меня удержало чувство долга. Мама была все еще жива, хоть поднялась вверх по течению времени почти до самых истоков, до двухлетнего возраста. Она разучилась читать, не всегда помнила, что нужно проситься в уборную, а настроений у нее осталось только два: или смешливое, или плаксивое. С утра до вечера она разглядывала книги с картинками, смотрела в окно, водила пальцем по рисунку обоев. Бросить ее одну я не могла.

Фактически мать подарила мне жизнь дважды: первый раз, когда родила; второй — когда не позволила умереть в сорок пятом.

Мы с мамой сидели в квартире, как в коконе. Я никуда не выходила. За стенами нашего дома Франция ликовала и скорбила, искала козлов отпущения, вытесняла из памяти позор оккупации.

А мы проводили время так.

Когда мама спала (а засыпала она пять или шесть раз в день), я совсем ничего не делала. Подолгу пялилась в зеркало на свое безжизненное лицо. В сорок лет оно выглядело на пятьдесят. Я с удовлетворением находила на нем все новые морщины, наматывала на палец прядки седых волос.

Если мама начинала капризничать, ее приходилось развлекать. Я читала ей сказки — вероятно, те же самые, которые она мне читала в детстве: гуси-лебеди, аленький цветочек, три медведя.

Еще она любила рассматривать фотографии из своих альбомов. На старых снимках она узнавала всех, называла по имени, но в относительно недавних часто путалась.

Девочки там не было, все ее карточки я уничтожила. К счастью, про то, что у нее когда-то была внучка, мама забыла. Первое время она часто спрашивала про Давида: как он поживает, да почему уже целую неделю не показывается.

Вот про Давида я рассказывала с удовольствием, все время разное: он уехал в деловую поездку, но завтра вернется; его положили в больницу из-за аппендицита, но скоро выпишут; мы решили ненадолго разъехаться, чтобы проверить свои чувства. Все равно назавтра мама ничего не помнила и задавала те же вопросы сызнова.

Но однажды — это случилось недели через две после моего возвращения из Германии — мама вдруг показала на фотографию, где мы с Давидом сняты на палубе парохода, и спросила: «Кто это с тобой? Какой интересный мужчина! Похож на причесанного Блока. Я тебе рассказывала, Сашенька, как я в тринадцатом году была на выступлении Блока?»

«Да, мама, рассказывала», — потрясенно пролепетала я. Она забыла Давида! Как это возможно?

Выражение моего лица испугало маму. Она быстро открыла альбом на другой странице и показала:

О С Е Н Ь Ю

«А вот этого пожилого господина я знаю. Это наш сосед по даче в Кунцеве, только не припомню фамилии».

И показала на папу.

На следующий день мне пришлось отлучиться в Женеву, за деньгами. Я ехала в поезде, впервые за все эти дни испытывая сильное чувство.

Это был страх.

Меня ждет та же участь. Как бабушка, как родители, однажды я начну терять память. По неведомому закону природы или по злому плану судьбы я обречена на постепенное помрачение разума, но только рядом со мной не будет ни одного близкого человека, кто читал бы мне детские сказки и терпеливо ждал моего окончательного угасания.

Я желала бы забыть многое. Например, что у меня была дочь. Но забыть Давида, как мама забыла отца, я не хочу! Иначе от моей жизни ничего, совсем ничего не останется!

Страх — хорошее чувство. Страх — это желание жить. По дороге в Женеву я, кажется, еще не понимала, что теперь я выживу.

Я думала не о жизни, а о смерти.

Нужно встретить смерть так, чтобы последней мыслью была мысль о Давиде, и тогда я непременно увижу его по ту сторону.

Нормальное желание для женщины моего тогдашнего возраста и положения. Если бы я умерла в сорок лет, очень возможно, что так бы всё и вышло: я испустила бы дух с мыслью о муже и он встретил бы меня на противоположном берегу.

Но тогда не случилось бы того, что является главной частью меня. Жизнь потому и жизнь, что она все время меняется и меняет нас, и ничто не останется прежним. Сейчас, когда я давно уже не женщина и даже не человек, а

упрямо тлеющая искра сознания, я не рассчитываю после смерти встретить Давида. Такая, какою я стала, я ему ни к чему. Нам будет нечего сказать друг другу. И потом, кто сказал, что умершие навсегда остаются в той же точке, в которой они покинули наш мир? Вероятно, они тоже меняются, и гораздо сильнее, чем живущие. Давид пересек границу столько лет назад! За это время он должен был пройти в том, другом мире очень длинный путь.

В предпоследний день ноября я тряслась от страха в поезде, еще не зная, что это судороги зарождающейся во мне новой жизни. Я дала себе слово: если, состарившись, я почувствую, что начинаю утрачивать память, я покончу с собой. На некоторое время эта мысль меня успокоила. Потом снова шевельнулась паника. Последние три года от отчаяния я повадилась ходить в церковь, моя бедная голова забита всяким мусором. Я думала: «Те, кто накладывает на себя руки, совершают худший из грехов, они навсегда прокляты! А Давид — невинно убиенный, с таких снимаются все прижизненные грехи. Я с ним не встречусь!»

Что же мне делать? Выхода нет! Я обречена превратиться в безумную старуху, которая забудет любовь всей своей жизни.

Выход есть. Он найдется завтра.

Самый последний день осени. Я одна в банковском хранилище. Открываю один из чемоданов. Он почти полон. Рассеянно перебираю колючие, тяжелые самородки. Как много золота, оно стоит кучу деньжищ. Но всего золота мира не хватит, чтобы избавить меня от страха. Моя жизнь — медленный спуск в черную пропасть. Нельзя ни остановиться, ни повернуть обратно, ни даже прыгнуть вниз, чтобы разом со всем покончить.

Оказывается, с внутренней стороны крышки есть кармашек с пуговицей. Никогда не обращала на него внимания. Очевидно,

предназначен для зубной щетки и прочих мелочей. Там что-то лежит.

Без интереса, механически, открываю.

Шелковый мешочек. Та самая ладанка, которую носил на шее Иван Иванович. Достая высушенный, сморщенный корешок. Это яншзнь, «мужской корень». Какое-то там было красивое название... А, «Хрустальная Радуга».

Значит, отправляясь в логово хунхузов, мой спаситель оставил свое сокровище среди самородков. Так яншзнь и пролежал здесь тринадцать лет.

Всё, что я усвоила из уроков старого китайца, — правила дыхания. Они вошли у меня в привычку, которая давно стала автоматической. Я никогда не простужаюсь и вынослива, как мул. Уверена — это благодаря правильному дыханию. Сколько раз пыталась я приобщить к полезной науке Давида, но он отшучивался. Будто знал, что глубокие вдохи и медленные выдохи не спасают от выстрелов в упор.

Хочу сунуть ладанку обратно. Пусть лежит, не выбрасывать же.

И вдруг замираю. Мне мерещится, будто тихий голос неразборчиво говорит со мной. Про заросшие мхом камни... Или не камни, а берега?

Кажется, что-то шевельнулось в памяти. Я делаю усилие, но воспоминание пробуждается медленно. («Напрягись! Вспомни! Это очень важно!» — взываю я к сорокалетней Александре. Даже смешно. Как будто я не знаю, что она и так вспомнит.) А-а, это Иван Иванович рассказывал, что кровотоком можно управлять. И что благодаря этим упражнениям возможно сохранить ясность ума до глубокой старости.

Хватаюсь за виски, тру их. Что это за упражнения? Что еще он рассказывал? Нужно вспомнить, обязательно!

(Увы, я еще не умею вспоминать по-настоящему. Только логическими фрагментами, а они скудны и ненадежны. Для обычной рациональной памяти тринадцать лет — очень большой срок. В конце концов, я кое-что

Анна Борисова VREMEŃA—GODA

припомнила — лишь самое основное, по кускам и крохам. А сейчас безо всякого труда, достаточно открыть книгу на нужной странице, я могу слышать голос Ивана Ивановича: «Старые люди выживают из ума, потому что камни, из которых состоят берега ручьев и ручейков, питающих мозг кровью, со временем зарастают мхом и сжимаются, а от этого влага не доходит туда, куда она должна доходить, и мозг высыхает, трескается, как мертвая земля, но сила жизни возвращает крови упругость и силу, кровь подчиняется твоей воле и бежит, куда тебе нужно, очищая и расширяя тесные протоки, поэтому ручьи моей головы в старости чище и прозрачней, чем в двадцатилетнем возрасте...»)

Я так надолго застаеваю в хранилище, что служащий банка деликатно стучит в стальное окошко: все ли в порядке?

Я сжимаю в одной руке несколько самородков, в другой ладанку.

У меня снова появилась цель.

Необходимо вспомнить как можно больше из того, что рассказывал Иван Иванович про Хрустальную Радугу и циркуляцию крови. И всё записать. Я не позволю своему рассудку угаснуть, а памяти — умереть.

Правда, я почти ничего не знаю о кровообращении, о строении и работе мозга, о фармацевтике, о старческом слабоумии. Но это ничего. Не знаю — так узнаю.

У отца деменция началась в семьдесят два года. У матери в семьдесят четыре. Мне же всего сорок. У меня есть время.

Там же, в стальном подземелье, формулирую я задачу, которая станет лозунгом моей новой жизни: не потерять себя до самого конца, сколько бы я ни прожила.

Да, уже осень, и она заканчивается. Но после осени бывает зима. И есть люди, которые считают ее лучшим временем года.



ВСЁ ПО КАЙФУ

За окном номера был суперский зимний пейзаж. На деревьях снег поверх листвы: вроде всё белое, а вроде и зеленое. Потому что Европа, морской климат. Балтика — это Атлантика, факинг шит, не какая-нибудь Сибирь. Лепота! Интересно, в какой стороне море? Наверное, за лесопарковой зоной.

Спросонья башка у Эдика варила как-то неотчетливо. И, кажется, вчера крепко перегрузился. Шарики не цепляются за ролики. Никак не вспомнить, чего это он поперся в Прибалтику зимой?

Хлопнул себя по лбу. Придурок, каникулы же зимние! Даже понтово. Кто-то на лыжах в Алабино, а мы на берег европейского моря. По-западному. Пустые пляжи, готические крыши под моросью зимнего дождика. Как в кино «Мертвый сезон». Сколько путевка-то стоила?

Почесал затылок — не вспомнил. Неважно, лет ит би.

Заселили Муху по люксу. Мебель вся импортная, даже стереосистема есть. Будет куда герлашек пригласить. Как у них тут, интересно, с пропускной системой? Ладно, нет таких крепостей, которых не взяли бы большевики.

Для настроения завел музончик: выбрал диск «Шокинг блю», бережно протер бархоточкой. 40 рэ плачено, не ху-хры-мухры.

Чистил зубы, умывался, подпевал.

«И вот иду я в магазин! Стоит огромный лимузин! А в нем сидит-стоит она! И машет мне своей рукой! Шиз гот

ит! Йэ бэйби шиэ гот ит! Он валялся в туалете, в унитазе!»

На первый завтрак полагалось выйти при параде, чтобы сразу произвести впечатление.

Эдик вынул из-под матраса клеши «райфл». Целое искусство: разложить трузера так, чтоб были идеально гладкие, но без складки. Только колхоз гладит фирменные джины утюгом на складку.

Лег на спину, еле втиснулся в узкие штанины. Зато когда встал, повертел бексайдом перед зеркалом, сидели, как влитые. Освещение в номере было слабое, хотя горели все лампочки. Эдику приходилось щуриться, расплывалось всё. Экономят латышские товарищи электроэнергию. Партия сказала: «Экономика должна быть экономной».

Рубашечка у Мухи была мейд ин поланд, но по виду не скажешь, умеют все-таки братья поляки. Часы нефирменные, «полет», можно прикрыть манжетом. Зато дымчатые очки были супер-пупер. Полсотни за них фарцу знакомому отвалил, и не жалко. Вот только наклейка из фольги отклеилась, надо будет после поискать — может, на полу где-нибудь.

Ну, пойдём, явим отдыхающим столичный шик и кста-ти проверим, как тут в смысле кадров.

В столовой Эдик сначала здорово расстроился. Вокруг завтракала одна пенсионерия. А где, мазафака, молодежь? Мы же вырастили хорошую молодежь? Где она? Или у советских студентов с аспирантами не каникулы? Что это, елы-моталы, за кефирное заведение?

Но когда Муха присмотрелся, какая тут хавка, секрет разъяснился. И память, чугунная после вчерашнего, немного восстановилась. Сыр подавали аж трех сортов, колбаску докторскую, салями, сервелатик. Снабжение по высшему разряду, цековский уровень. Как минимум — совминовский. Понятно, что аспирантам такой санаторий

не по рылу. Это дядя Виталик племяша побаловал, уступил свою путевку. Да, точно.

Ветераны партии и госслужбы были все вежливые, здоровались первыми. Какой-то дед, не иначе из старых большевиков, назвал даже по имени-отчеству: Эдуардом Ивановичем. Муха его что-то не припомнил. Вчера бухнул по случаю приезда — вот арбуз и заклинило. А мы потом пивком поправимся, «рижским». Здесь наверняка в буфете есть.

Через темные очки ландшафт просматривался неявственно, но и так было понятно, что среди отдыхающих подходящих кадров нет. Без мазы.

Вас понял, штандартенфюрер, переводим прицел на официанток и прочую обслугу. Будем ближе к трудовому народу.

Персонал в санатории «Дзинтарс» был одет в голубые куртецы, воротник-стоечка. Стильно! Молодцы все-таки прибалты.

И довольно скоро срисовал Муха одну фигуристую телочку. Подошел — она и на фейс оказалась ништяк. Блондинка, секси, на Татьяну Доронинову похожа: «Я мечтала о морях и кораллах». И даже на Мэрилин Монро: «Ай уонна би лава бай ю».

Пробил час мужества, сказал себе Эдик. Не трусим, гусары. Не пошлет же она отдыхающего на три буквы, клиент всегда прав. Максимум — вежливо отошлет.

Подкатился к клевой герле, и наивно так, по-чебурашечьи:

— Девушка, я тут первый день, вечером только заселился. Не подскажите, как у вас в плане культурной программы? Меня, кстати, Эдуардом зовут. Я из Москвы, аспирант.

— А я Валда, студентка из Рижского политехнического, — ответила красавица латышка. — На каникулах в санатории подрабатываю.

И улыбнулась, ужасно мило, доверчиво. Сразу было видно — не кокетка, не дешевка какая-нибудь. Эдику она кошмарно понравилась, и он сказал себе: «Муха, спокуха! Не облажайся. Этот барьер с разбега не перемахнешь».

— Здорово! У меня тоже каникулы. Приехал вот отдохнуть, но боюсь, с таким контингентом скучно будет. А студенты аспирантам — меньшие братья. И сестры.

Шутка получилась так себе, но Валда засмеялась, и Эдик ощутил прилив храбрости. Кажется, королева красоты не осталась равнодушна к его внешности и фирменному прикиду.

— Сходим, погуляем? — предложил он. — Я в Майори классный кофе-бар знаю.

— Я тоже, на улице Ленина, — кивнула она. — Только нельзя, я на работе.

У нее был классный легкий акцент, почти немецкий. Эдик представил, как у них всё срастется, и она приедет в Москву, и все френды от Валды и ее акцента офигеют.

— Тогда давай после работы. Тут тоже бар есть. И вечером музыка. Потанцуем.

Она улыбнулась — ей-богу, он ей нравился!

— Нам с отдыхающими не разрешается. И какие тут танцы? Вальс, фокстрот. Это мои папа с мамой умеют, я — нет.

Внутренне замерев, но тоном самым невинным Муха тогда предложил:

— Можно у меня в номере. Колонки стерео. Я диски привез, британские. Новые.

Сказал — и перетрусил. Сейчас как пошлет со свистом!

Со страху прибавил, жалковато:

— Ты не подумай, я ничего такого. Просто музыку послушать. Ну там, коктейльчик выпьем.

Валда как-то очень мило и просто согласилась:

— Хорошо, я приду. Смена заканчивается в шесть. Душ приму, переоденусь, и приду.

«У меня в номере тоже душ, сантехника вся западно-германская», — хотел сказать Эдик, но не стал. Тише едешь — дальше уедешь. Главное, что она придет, уже кайф. Для первого раза он даже клеиться к ней не будет. Такая девушка заслуживает джентльменского ухода. Не шалава — сразу видно, но и не ханжа типа «дам после ЗАГСа». Хорошая чувиха, в натуре хорошая. С такой, как с миной: ошибаются только один раз. Второго шанса не жди.

Весь день он пролетал, как на крыльях. В санатории было много удивительного, даже странного, но Муха ни на чем толком не фиксировался. Думал о предстоящем свидании и готовился.

В валютном баре купил, не пожедался, бутылочку «Кампари» и консервированную банку апельсинового сока, французского. Это рецепт такой, кореш научил: треть вермута, треть сока и совсем зашибись, если пару кубиков льда кинуть. Льдом, правда, Муха не разжился, но зато стянул две суперские полосатые соломинки. Потом их можно будет помыть и в чемодан спрятать, еще в Москве послужат.

Сигарет в баре, жалко, не завезли. Но у него оставалось полблока «Галуаза», из московских запасов. Где достал? Черт его знает. А, вспомнил: Боб из «Интуриста» за четвертной припер. Не «мальборо», но все-таки тоже фирма.

На стол поставил канделябр со свечами, утыренный из санаторского музсалона. Диски в глянцевах конвертах разложил на кровати. С одной стороны, красиво, и опять же не по-кобелиному: мол, ничего такого и в голове не держу, койку использую исключительно в культурных целях.

После обеда (от волнения и не заметил, что за еду давали) Муха занялся важным делом. Всякий знает, что девушки любят ушами. Поэтому музыкальный фон был продуман со стратегической расчетливостью.

С дисков на пленку Эдик переписал песни и мелодии в тщательно продуманной последовательности. Сначала лирическое — чтоб создать настроение: кое-что из «Битлов», «Эйнджи», оркестр Поля Мориа. Минут так на сорок. Это пока посидят, поболтают, выпьют немножко. Потом танцевальная программа: быстрый рок («Роллинги», Элвис, «Слейд») — разогнать кровь. И дальше — опять тягучее, плавное, чтоб девушка размякла, голову на плечо положила. На случай, если всё пойдет как надо, Эдик завершил подборку песней «Жётэм, муа нон плаю», под которую хорошо переходить к поцелуям.

Работа была захватывающая, долгая. Сборничек получился — обсоси гвоздок. Еще не раз пригодится, на сейш-не или для интима.

Где-то с шести, всё окончательно приготовив, Муха уже просто сидел на стуле и стремался, как прыщавый школьник. Вдруг продинамит? Возьмет и не придет? Такой принцессы у него за все двадцать девять лет жизни еще не бывало.

Но она пришла. Ровно в полседьмого, как обещала, — балтийская пунктуальность. Сняла свой голубой костюмчик, переделалась в замшевую мини-юбку, гипюровый батничек, сквозь который просвечивал черный лифчик, стопроцентно привозной, такого даже в «Березке» не купишь. Еще на Валде были черные колготки в сеточку, лавковые шузы на платформе, а длинные золотистые волосы она распустила. Короче, с понятием девочка и одевается так, что хоть кому показывай, краснеть не придется. За это Муха ее еще больше зауважал. В каникулы не отдыхает, а

горбатит, зато на нормальные шмотки зарабатывает, не то что фифы московские.

Включил Эдик маг. Фоном замурыкало «Something in the way she moves». Разлил он «кампари», хотел соком разбавить, начал банку консервным ножом открывать, а она никак. Тогда Валда говорит:

— Дай-ка, я такие уже видела.

Там на банке, сверху, маленькое колечко, он не углядел. Потянешь за него — и готово. Европа!

Поговорили о том, о сем. Разговор легко пошел, без тути. Потому что вкусы у них оказались удивительно похожие. Муха спросил, какое у нее любимое кино, а она в ответ: «Благослови зверей и детей». Он прямо ахнул. У него тоже! А главное, что какая-нибудь дешевка такую картину любимой не назовет.

Потом Валда говорит:

— А ты какого писателя больше любишь? Я — Курта Воннегута. «Бойня номер пять». Читал?

Эдик слотнул. Еще бы он не читал! Это была самая его любимая книжка.

Кажется, сегодня у него было свидание не с хорошенькой герлашкой, а с самой судьбой. Это он себе мысленно так сказал и не застеснялся высокопарности.

Сердце у аспиранта Мухина ёкало и замирало. Потому что если сейчас всё испортишь, то никогда себе не простишь.

Быструю музыку они пропустили, так и не потанцевав, — разговаривали про жизнь, и, что Валда ни говорила, всё попадало в масть. Но когда замурыкала Джейн Биркин с Сержем Гензбуром, гостя сама предложила потанцевать.

Он взял ее за талию, очень осторожно. Вдохнул запах духов — настоящих французских, а не рижской парфю-

мерной фабрики. Валда была на полголовы ниже. Подняла лицо, посмотрела на него так нежно, вопросительно, что последний лузер и тот понял бы. Эдик наклонился, начал ее целовать: в лоб и в щеки, а в глаза не стал, потому что девчонки не любят — у них тушь. Добрался до губ, и они сами раскрылись ему навстречу, горячие, твердые.

Тут шевельнулась надежда, что одними поцелуйчиками дело не ограничится. Девушка смелая, без предрассудков. Начал он ее потихоньку, как бы все еще танцуя, к кровати направлять. На этом ответственном этапе главное — поцелуй не прерывать, чтоб девчонка не опомнилась.

Мягко он потянул Валду за собой, они бухнулись на постель. Что-то хрустнуло.

Диски! Черт, совсем про них забыл! Передавили всю коллекцию, убытку сотни на две!

— Плевать, — сказал Муха и сам восхитился широте своей натуры. — Лес рубят, щепки летят.

Он водил рукой по гипюру, пробовал нащупать пуговицы на лифчике, но их почему-то не было.

Тогда стал расстегивать батник спереди, нагнулся, увидел две дыньки-колхозницы, стиснутые лифчиком, вдохнул аромат из ложбинки — и Эдика повело, будто он выдул залпом всю бутылку «кампари».

— Не надо, что ты... — слабо запротестовала Валда, но рукой гладила его по волосам, а значит, можно было не останавливаться.

И лишь теперь Муха окончательно понял: всё будет. Сейчас в реале произойдет то, что случается только в мечтах онаниста или в мужском трепе. Veni, vidi, vici. Не успел аспирант Мухин приехать на отдых, как снял и трахнул лучшую девушку Латвийской ССР, а возможно, и всего Советского Союза. Ведь не поверит никто!



Он посмотрел на Валду в упор. Глаза у нее были закрыты, а губы, наоборот, открыты, и сердце Эдика сжалось от невыносимого счастья, и сказал он себе: «Пошлак ты, Муха. О такой хрени думаешь. Ведь это, факинг шит, любовь...»

УХОЖУ

Моя настоящая, то есть осмысленная жизнь, началась зимой, в январском городе, от которого мало что осталось, среди тысяч людей, которые тем более исчезли. Зимой она и заканчивается.

Не знаю, почему я так решила. Столько лет держалась — и вдруг поняла, что всё, хватит.

Нет, знаю.

Даже в самых больших песочных часах с самым узеньким горлышком, куда проходит всего одна крупица, песок рано или поздно все равно закончится. Он сыплется долго и медленно, череда золотистых точек кажется нескончаемой, но однажды упадет последняя песчинка, и колба опустеет.

Еще утром я не догадывалась, что песок на исходе. Собиралась посвятить нынешний день мыслям про любовь. У меня давнее правило: день отводить на воспоминания, день — на размышления. На самом деле, конечно, одно легко переходит в другое, но все-таки важны изначальный настрой и заданность. А обыкновение чередовать дни я когда-то ввела, чтобы вчера и сегодня отличались друг от друга. Монотонность мешает градировать течение жизни.

Половину всего времени отводить на работу мысли — это очень много. За пятнадцать лет я обдумала и придумала столько всякого. Больше, чем за предшествующие девяносто.

Обычно у женщины, которой повезло дожить до старости, бывает четыре возраста и четыре роли: дочь, жена, мать, бабушка. У меня так не вышло. Зато я прожила четыре жизни.

Первая, детская, неинтересна. Этот период первоначального ученичества у всех более или менее одинаков, несмотря на социальные, национальные и прочие различия: учишься чувствовать, владеть своими мыслями и телом, выстраивать отношения с окружающим миром. Ты еще не человек, а заготовка человека. Никогда не понимала тех, кто любит вспоминать свое детство и умиляться ему. Обычно это люди, из которых ничего путного не получилось, вот они и выдумывают себе утраченный эдем.

Второй жизнью я прожила с тринадцати лет до сорока. Она была вся посвящена любви.

Третья, самая долгая, длилась полвека. Я посвятила ее науке.

Сейчас я проживаю четвертую, беспомощная и прикованная к постели. Но иногда, как ни странно, мне кажется, что именно теперь я существую интенсивнее и насыщенней, чем когда бы то ни было.

Хотя что же странного? Моя жизнь — это минимум физиологии, ноль движения. Никто и ничто не отвлекает мой мозг от постоянной работы. Пятнадцать лет я почти бесплотна, вся — обнаженная мысль и обнаженное чувство.

Когда-то, еще в Харбине, в советском журнале «Всемирный следопыт» я прочитала довольно дурацкий роман про ампутированную голову профессора Доуэля. Могла ли я подумать, что сама однажды попаду в примерно такой же комикс в качестве главного персонажа? Но мне хуже, чем Доуэлю. Голова профессора могла общаться с толковым ассистентом мимикой лица. Моего ассистента, увы,

З и м а й

толковым не назовешь. И все же я должна с ним попрощаться, ведь он единственный, кто разделял со мной ни с чем не сравнимое одиночество. А что не оправдал надежда — что ж, не его вина.

Но прежде, чем я услышала телефонный разговор и поняла, что песочные часы опустели; прежде чем я попрощалась с Пятницей, я лежала и думала про любовь — как и было запланировано.

Можно, пожалуй, поделить сто пять лет, миновавшие со дня моего рождения, не на четыре части, а пополам. Первая половина моей жизни была подчинена чувствам; вторая — разуму.

Саша, Сандра, Александрина умерла осенью 45-го — как говорится, после тяжелой продолжительной болезни, длившейся с 19 октября 1942 года. Вместо нее на свет появилась другая женщина, со временем совершенно вытеснившая и заменившая прежнюю.

Они отличались внешностью, поведением, образом мыслей, интересами, чувствами — практически всем. Но самое главное различие вот в чем: первая жила Любовью, вторая — Дело.

Вероятно, мужской шовинист сказал бы, что доктор Канжизэ была не вполне женщиной. Существует ведь давно устоявшееся, всегда залившее меня своей пошлостью мнение, будто удел настоящей женщины — Любовь, а удел настоящего мужчины — Дело. Это все равно что сводить человеческую личность исключительно к гендернорольевой функции. Как будто любящий муж и отец уже не вполне мужчина, а женщина, добившаяся выдающихся успехов в науке, искусстве или политике, непременно сублимирует свою подавленную сексуальность в иные сферы деятельности.

Любую модель жизни, любой поступок можно свести к физиологии, к перепроизводству или недопроизводству того или иного гормона. Но это все равно, что сказать: роза благоухает только потому, что в ней содержится пахучий элеоптен. Может, оно и так, но это не вся правда и, может быть, даже не главная правда.

Мои мысли никто не подслушает, поэтому стесняться мне некого. Свою жизнь, которая состоялась по ту — нет, по *эту* — сторону любви, я оцениваю выше, чем предыдущую. Я поднялась на более высокую, надгендерную ступень, которой могут достичь и женщины, и мужчины: я стала *просто человеком*. Этой стадии развития личности достигали монахи, даосы, суфии или йогины, а в современном обществе дорасти до такого состояния обычно удается людям старым, кто по стечению обстоятельств не имеет родственных привязанностей и естественным, возрастным образом избавился от цепей гормонального рабства. Таких старцев принято называть мудрецами.

Во второй половине моей жизни не было мудрости — если иметь в виду философскую отрешенность, но была спокойная и уверенная целеустремленность. Сбить меня с избранного пути было бы так же трудно, как повернуть с рельсов в чистое поле несущийся на полной скорости локомотив.

Каким инструментарием располагала я, отправляясь в долгий путь?

Во-первых, довольно туманными воспоминаниями о наставлениях Ивана Ивановича. Это сейчас я без труда могу вызвать из памяти каждое слово, а тогда мне приходилось мучительно копаться в прошлом, додумывать, довычислять.

Во-вторых, у меня имелся яншень. Я запомнила несложную процедуру изготовления «Хрустальной Радуги». По счастью, не выветрились из памяти и предостережения Ивана Ивановича относительно использования препарата.

З И М О Й

В-третьих, я была свободна материально и эмоционально. Моя мать в последние месяцы своей жизни погрузилась в совершенно младенческое состояние, я ей стала уже не нужна, хватало сиделок.

В-четвертых, меня подстегивал страх — семейная предрасположенность к ранней болезни Альцгеймера (тогда в ходу был термин «сенильная деменция»).

На то, чтобы превратить учение Ивана Ивановича в научный метод, мне понадобилось целых полвека, и то я не довела работу до полного завершения.

Довольно быстро пройдя предварительную подготовку и опробовав препарат на себе, я поняла, что лично мне старческое слабоумие не грозит, то есть от страха я избавилась. Но женщине, которая перестала быть только женщиной и стала *просто человеком*, мало спасти одну себя. Средство, которым я себя защитила от возрастного распада личности, было необходимо очень многим. В нем нуждалось всё неуклонно стареющее человечество. Многих современников начинала пугать картина завтрашнего мира, в котором дееспособное меньшинство будет вынуждено тратить все свои ресурсы на содержание огромной массы выживших из ума стариков. Эта перспектива с каждым годом становится реальней и реальней. Планета Земля имеет все шансы превратиться в одно огромное «овощехранилище» вроде того, что находится в бывшем Овальном салоне нашего замка.

Господи Боже, каким же долгим и трудоемким был пройденный мною путь...

Анна Борисова VREMEŃA—GODA

В сорокалетнем возрасте я стала самой старой первокурсницей за всю историю существования медицинского факультета Сорбонны, нынешнего Декартовского университета. Четырнадцать лет училась я на врача.

Потом еще лет десять постигала индийские и китайские лечебные практики — самую первую их ступень, ибо обучение продолжалось и после. Восточная медицина, в отличие от западной, не придает большого значения дипломам. Сколько ею ни занимайся, остаешься вечным учеником.

Готовой к самостоятельным исследованиям я себя почувствовала только на шестьдесят пятом году жизни, когда другие медики выходят на пенсию.

«Времена года» дали мне возможность потихоньку приступить к настоящей работе, совмещая научные изыскания с практикой. Много времени приходилось тратить на административные, юридические, хозяйственные, финансовые хлопоты, но тут уж ничего не поделаешь. Во Франции частные заведения, занимающиеся уходом за стариками, контролируются десятком разных инстанций, и у каждой свои стандарты. Это нормально, так и должно быть.

Я создала маленькую, но идеально оборудованную лабораторию. Методику гемоциркуляции с применением яншенево-иншеневой эссенции испытывала только на себе. Для лечения гостей, страдающих болезнью Альцгеймера, я применяла только проверенные, апробированные министерством методики — результаты получались, как во всех других заведениях, то есть неудовлетворительные.

Торопиться с опубликованием результатов своих изысканий я не хотела. Я знала: времени у меня много. Впереди долгая старость — здоровая и работоспособная. Конечно, я не застрахована от несчастного случая или чего-то в этом роде, но от болезней меня защитит мощный иммунитет, а одряхления бояться нечего.

В первый раз я приняла «Хрустальную радугу» с массой предосторожностей: микроскопическую дозу и после длительного комплекса дыхательных упражнений. Опушение было головокружительное: будто я — не я, а моя вырвавшаяся на волю душа, которая летит сквозь космос, мимо мириад звезд, и не оглядывается назад, потому что всё лучшее — впереди. Как только действие стимулятора начало ослабевать, немедленно захотелось выпить еще, но я удержалась. По *эту сторону любви* проблем с самоконтролем не бывает. Страхи преодолены, вождения отсутствуют. Иван Иванович был бы мною доволен.

Управлять движением крови при помощи яншеневой стимуляции я училась очень осторожно и медленно. Пока освоила все участки и зоны, прошло несколько лет. Но когда гемоциркуляционная гимнастика стала ритуалом, с организмом начались чудеса. У меня, как уже было сказано, невероятно усилился иммунитет, нормализовалось артериальное давление, отладился метаболизм, даже выправилась возрастная дальновзоркость. О мелких неприятностях вроде простуд или суставных болях я и думать забыла.

Эффект был налицо, однако для полного, всестороннего, научно обоснованного описания методики предстояло провести огромную работу. Прежде всего требовалось разобраться в природе воздействия препарата на организм и головной мозг, а также убедиться в отсутствии опасных побочных эффектов.

Многокомпонентные эксперименты и сложнейшие анализы выявили, что *Panax ginseng masculinum*, то есть «женьшень дикий мужской», как назвала я корень Ивана Ивановича, не воздействует на химический состав крови. Ее насыщению кислородом и «Жизнесветом», то есть биоэнергией, скорее способствует тренировка дыхания. Яншень же проникает сквозь гемато-энцефалический барьер и многократно усиливает аксонно-дендритную транс-

миссию, являясь мощнейшим стимулятором нейромедиации. Если процессом управляет воля специально подготовленного и осторожного человека, возможно поочередное «прокачивание» различных участков мозга, что препятствует старению его клеток и улучшает кровоснабжение, так что со временем эту своеобразную гимнастику можно производить и без помощи яншеневого стимулятора. Но препарат позволяет усилием воли направлять кровь в мельчайшие кровеносные сосуды, что особенно важно для профилактики дегенерации тканей головного мозга. Недаром Иван Иванович называл свой эликсир смешным словом «точилка».

Никаких побочных эффектов я не обнаружила — ни одного, хотя это направление исследований заняло у меня больше всего времени.

Постепенно я определила главную проблему, на решение которой будет ориентирован разрабатываемый курс лечебно-профилактических мероприятий. Не просто предупреждение болезни Альцгеймера, а коренная переоценка самого понятия «старость», превращение худшего этапа человеческой жизни в лучший. Не более и не менее.

Как ни странно, ученые до сих пор со всей определенностью не могут ответить на вопрос, что такое старение и почему живые организмы старятся. Существует две гипотезы, вернее, две группы гипотез.

Первая предполагает, что это некий запрограммированный процесс, необходимое условие естественного отбора и выживания биологического вида. Но в этом случае для человеческой популяции необходимость в таком защитном механизме давно отпала — нашему биологическому виду не угрожает конкуренция.

Вторая группа теорий утверждает, что старение — природный процесс амортизации, то есть накопление в

З И М О Й

организме различных повреждений, а различие в темпах старения у разных особей объясняется тем, что сопротивляемость изнашиванию у всех разная. В настоящее время именно эта концепция является преобладающей. Однако, если она верна, решение проблемы старения достигается, так сказать, сугубо техническими средствами: нужно увеличить стойкость наиболее уязвимых участков организма и заменять отработанные узлы на новые. Хирургия достигла в деле пересадки органов и тканей довольно впечатляющих результатов, и это направление медицины продолжает активно развиваться. Судя по нескольким статьям о клонировании, которые прочитал мне Пятница, рискну предположить, что со временем эта революционная биотехнология сможет создавать «запчасти» для каждого конкретного случая, то есть больному не придется ждать донорского органа, которых вечно не хватает.

Вот почему я ограничила свои исследования исключительно сферой головного мозга. Этот центр управления телом и духом ни при каком развитии хирургии заменен быть не может, ибо там сосредоточена самая личность человека, его неповторимое «я».

Ключевой вопрос старения я бы сформулировала так: обязан ли стареть мозг? Потому что если обязан, то велика цена достижениям трансплантации. На что человеку нормально функционирующий организм, если мозг разрушен старческим слабоумием?

После долгих лет изысканий и экспериментов берусь утверждать, что наш мозг как физиологический орган проходит те же стадии изнашивания, что и все остальные узлы тела. Самые быстроизнашиваемые участки — места всевозможных соединений. Только в случае мозга это не суставы или сухожилия, а нервные синапсы, соединения между отделами мозга. Разум начинает уга-

сать, когда эти «провода» перестают нормально функционировать. Но этот процесс можно остановить или существенно замедлить, если стимулировать кровоснабжение и нейромедиацию комбинированным воздействием физических и химических факторов. В этом, собственно, вся суть методики. Остальное — технические подробности.

Трудность практического применения яншеневой терапии заключается не в том, что «мужской корень» встречается в природе очень редко. Поскольку его биоресурс практически неисчерпаем, можно производить препарат безостановочно, постепенно наращивая запасы. К тому же мне удалось экстрагировать высококонцентрированную эссенцию, которая позволяет увеличить объем производимого продукта в сотни раз без ощутимых потерь в эффективности. В конце концов, как я знаю на собственном опыте, даже крошечная доза неразбавленной «Хрустальной радуги» для неподготовленного человека может быть опасна. Именно в этом и состоит самая трудозатратная часть терапии: медикам сплошь и рядом придется работать с людьми, которые «не избавились от страхов и вожделений», то есть психологически, да и физиологически не готовы к воздействию столь сильного стимулятора.

Поэтому мой профилактический курс делится на три последовательных этапа.

Сначала пациент проходит стадию предварительной подготовки, на которой его обучают навыкам правильного дыхания и первичной, самой простой гемокрикуляции (примерно так же, как некогда учил меня этому Иван Иванович).

Затем врач-специалист назначает пробные микроскопические дозы препарата. Я разработала систему анализов, которые помогут вычислить оптимальную дозировку

в зависимости от индивидуальных особенностей организма, состояния здоровья, нейропсихологических параметров и прочих факторов.

И лишь после этого начинается собственно терапия: последовательная, регулярная, тщательно фиксируемая гемоциркуляционная разработка проблемных отделов головного мозга.

На рубеже девяностых моя работа наконец вошла в завершающую стадию, которая должна была продлиться еще пять лет. Свое открытие, которое, как я надеялась, изменит судьбы человечества, я планировала обнародовать в 1995 году, в день своего девяностолетия.

У меня было всё продумано, всё просчитано.

Разумеется, я соберу специальную научную конференцию и выступлю там с целой серией докладов и демонстраций, но этого мало. Мое открытие должны оценить не только специалисты, которые — уж мне ли их не знать — еще бог весть сколько лет будут дискутировать, полемизировать, перепроверять мои выводы и данные. Главный расчет у меня был на книгу, предназначенную для широкой аудитории, с популярным изложением моего метода. Название я давно уже придумала: «Anti-Ageing: From Alzheimer to Kannegiser». Нескромно? Да. Но я никогда не отличалась скромностью, ни в первой половине жизни, ни во второй. Я отлично сознавала всю значимость своего открытия, а также величие места, которое займу в истории. Мою лечебно-профилактическую систему я запатентую под именем «Kannegisering». Это слово станет лозунгом двадцать первого века.

Выходит, одно «вожделение» во мне все-таки осталось: честолюбие. Я хотела увековечить фамилию Каннегисер — единственное, что у меня осталось от предыдущей жизни, от Давида.

Анна Борисова VREMEŃA—GODA

Все научные материалы и записи, а также рукопись книги с нескромным названием я хранила у себя в лаборатории, в потайном сейфе. Там же лежал яншень и номерной код, мой «сезам» в бронированный депозитарий швейцарского банка.

В 1974 году, когда после нефтяного кризиса цены на золото взлетели до небес, я продала содержимое двух чемоданов, вложила эти средства в акции электронных компаний и не прогадала. Дивидендов с лихвой хватало на все мои расходы и на содержание «Времен года». С тех пор, как я утратила дееспособность, никто не пользуется этим доходом. Должно быть, с бумом компьютерной индустрии капитал увеличился в несколько раз, и стоимость оставшихся самородков тоже сильно выросла, да только мне от этого не тепло и не холодно.

Этот тайник устроен надежно, и подвел меня не он, а второй сейф, повседневного использования, где я держала запас раствора, необходимый для текущих исследований и для моего собственного употребления. Обычный нестрогаемый шкафчик, просто встроенный в стену и запираемый четырехзначной комбинацией: 0501.

Пятое января, день моего знакомства с Давидом... Кажется, я выбрала цифры, не особенно задумываясь. Но сегодня, оглядываясь назад, я спрашиваю себя: почему я остановила свой, пускай спонтанный выбор именно на этом сочетании. Вероятно, это означает, что не хотела забывать ту половину моей жизни, которая была подчинена любви.

Полвека я была твердо уверена, что избавление от гнета любви помогло мне расправить крылья и сполна реализовать свой потенциал. Но сейчас я, пожалуй, так и не знаю, какая из моих жизней главная. Недаром же все эти десятилетия на самом видном месте у меня провисела фотография давно забытой манифестации. И в пору заточе-

ния мне вспоминаются почти исключительно события эпохи, начавшейся пятого января и закончившейся, когда я распрощалась с любовью. Из зрелой своей жизни я пожелала воскресить в памяти лишь несколько эпизодов, связанных с Мангустом, да и то с сугубо утилитарной целью: хотела понять, как и почему со мной случилась беда.

Чтоб успеть к запланированному сроку, 1995 году, когда мое девяностолетие совпадет с полувекowym юбилеем научной деятельности, я решила обзавестись помощником. До того времени я всё делала в одиночестве, обходясь без ассистентов. Люди не умеют хранить чужие секреты и не приучены к медленной, кропотливой работе. Но для химико-фармацевтического обоснования «каннегисеринга» мне понадобился высококлассный специалист — эта часть моей научной подготовки была недостаточной.

Я долго присматривалась к возможным кандидатам и в конце концов на Нейрохимическом конгрессе 1990 года обратила внимание на блестящего геронтолога с фундаментальными знаниями в нужной мне области — сорокапятiletнего, то есть молодого еще человека. Сообразительный, дисциплинированный, честолюбивый, он казался мне идеальным вариантом. Если б я тогда обладала биорецепционным чутьем, умела бы «обослышать», то, несомненно, уловила бы в «масти» моего избранника едкий отсвет проворного, мелкозубого хищничества, но я была слишком в себе уверена и при всем своем стопроцентном зрении абсолютно слепа.

Я переманила Мангуста из его научного института не столько высокой зарплатой, сколько высокой целью и головокругительными перспективами. Достаточно было приоткрыть краешек моего замысла, и молодой ученый готов был согласиться на любые условия.

Первое из них, своего рода экзамен на упорство и целеустремленность, было такое: я дала кандидату годовой испытательный срок, в течение которого он должен был выучить русский язык. Кроме помощи в лабораторных исследованиях я намеревалась свалить на ассистента груз административных забот по управлению резиденцией.

Мангуст не только исполнил трудное задание, но оказался совершенно незаменим в качестве моего заместителя, почти полностью избавив меня от контакта с резидентами. Я оставила за собой лишь тех стариков, с кем лично вела занятия по дыхательной гимнастике и первичной гемоциркуляции.

Этой стороной проекта Мангуст совершенно не интересовался — считал моей блажью, а я его не переубеждала. Незачем было посвящать шустрого молодого человека во все аспекты методики. Он вел у меня химическое направление, активно работал с эссенцией, разрабатывал модификации раствора, делал комплексный нейрехимический анализ воздействия препарата на нервные клетки и кровеносные сосуды мозга.

Крохотными дозами, по мере необходимости, выдавала я ассистенту эссенцию, используя запас, что хранился в моем рабочем сейфе. Полулитровый цилиндр с «Хрустальной радугой», полученной мною почти двадцать лет назад, оставался наполовину полон — вот какой силой обладает яншенево-иншеневая настойка.

О том, откуда берутся дозы, я помощнику, естественно, не говорила. Я считала его цепким, дотошным исполнителем, и не более того. И должна признать, что свою часть работы он исполнял великолепно, без него я бы не справилась. Установить точную формулу «Хрустальной Радуги» ему, правда, так и не удалось. Но такое в науке случается. Взять тот же аромат розы, который я недавно поминала. Химический состав особого вещества, которое содержит

ся в элеоптене розового масла помимо гераниола, и создаст тот самый волшебный медовый оттенок, до сих пор остается тайной.

Зато Мангуст со всей убедительностью доказал, что мощный стимуляторный эффект моего нейромедиатора достигается за счет резкого повышения уровня дофамина в мозгу, то есть имеет сходство с действием некоторых наркотиков, продуцирующих дофаминовое переполнение, однако, в отличие от них, не разрушает, а, наоборот, укрепляет межклеточные связи.

Я прекрасно видела, что мой ассистент крайне честолюбив и *узкомаститaben* — то есть способен безукоризненно выполнить конкретное поручение, но стратегических задач перед ним лучше не ставить.

Однако честолюбие я недостатком не считала, а ограниченность Мангуста меня отлично устраивала. Я была довольна, что он задает так мало вопросов, выходящих за пределы его непосредственной сферы. Мне казалось, что я превосходно контролирую и своего заместителя, и ситуацию в целом.

Мангусты — зверьки, хоть и полезные, но склонные иногда выходить из-под контроля. Я читала, что в девятнадцатом веке плантаторы завезли на Гваделупу индийских мангустов, чтоб те уничтожили ядовитых змей и крыс, которые пожирали посадки сахарного тростника. Мангусты справились с задачей, но невероятно расплодились и вскоре истребили чуть не всю мелкую живность, нанеся природе острова непоправимый ущерб. Избавиться от пришельцев оказалось невозможно.

Не учла я и того, что неистовая жажда успеха в сочетании с узколобостью образует гремучую смесь. Что вызвало детонацию этого взрывчатого вещества, я узнала только впоследствии, когда ничего изменить было нельзя.

Анна Борисова VREMENA-GODA

Была очередная годовщина, 5 января 1995 года. В течение полувека в этот день я исполняла нечто вроде ритуала поминовения. Рассматривала старые фотографии, вспоминала прошлое — настолько, насколько позволяет убогая логическая память, то есть очень бледно и неполно. У меня была давняя привычка: когда задумаюсь о чем-то, выводить на бумаге какие-нибудь буквы, цифры или геометрические узоры. В тот раз я всё писала на листке: 0501 0501 0501 0501. Эта мелочь, случайность стала причиной моей гибели.

Сейчас, когда я могу заглянуть в любой момент своего прошлого, мне легче всего восстановить последующие события в виде нескольких картинок. В свое время я очень долго выстраивала эту цепочку, совмещая логику с постепенно развивающейся эйдетикой.

Эпизод первый.

С тех пор, как я исписала цифрами листок и потом оставила его на столе, прошло два дня.

Мангуст рассказывает о результатах очередной проверки состояния моего здоровья. Он, помимо прочего, еще и мой домашний врач — сам когда-то на этом настоял, потому что я слишком ценна для науки, беречь меня его священный долг и прочее. В начале года он заставлял меня пройти полный курс обследований и сдать все возможные анализы. Я подчинялась. Меня даже трогала такая заботливость.

В этот раз помимо прочего мне сделали ангиографию. Наша городская клиника приобрела эту новинку медицинской техники, и Мангуст потребовал, чтобы я проверила состояние сосудов.

Он сидит передо мной, внимательно просматривает данные анализов. Говорит: «Тут всё хорошо... Тут всё отлично... Всё, как в прошлом году». Я скучаю, но веду себя паинькой.

Вдруг что-то в его лице меняется — он как раз взял в руки ангиограмму сосудов головного мозга.

Зимой

— Что вы там такого страшного обнаружили? — лениво спрашиваю я.

— Страшного ничего. Просто, взгляните-ка... — Палец указывает на снимок. — Вы знали, что у вас вот здесь небольшая аневризма базилярной артерии? Очевидно, врожденная.

Я смотрю, пожимаю плечами.

— Пустяки. При резком скачке давления это могло бы создать проблемы, но с моими сто двадцать на восемьдесят беспокоиться нечего.

Во взгляде Мангуста снова что-то мелькает. *(Не то чтобы я в тот миг это заметила. А заметила бы — не придавала бы значения.)*

Эпизод второй.

Тот же день, только не утром, а вечером.

Мы засиделись в лаборатории допоздна.

— Я заварил вам чаю. Крепкого, как вы любите.

Мангуст, моя прислуга за всё, ставит передо мной чашку. Я рассеянно благодарю.

— Что это за чай? Привкус какой-то.

— Вам не нравится? Это с вербеной.

— А-а. Нет, ничего. Что вы тут такое написали? Ну и почерк!

Эпизод третий.

Следующее утро.

Я в ванной. Чищу зубы. Они у меня свои собственные, идеально здоровые. Что ж удивляться? Каждый день после чистки я трачу две-три минуты на гемоциркуляцию полости рта и особенно десен. То же самое делаю и сейчас.

Странно. Десны кровоточат, причем довольно обильно. Но все мои мысли заняты предстоящей работой. Просто полоскаю рот и сплевываю. Думаю, что пару дней не буду гонять кровь в это место. Пусть десны отдохнут.

Эпизод четвертый.

Час спустя.

Я уже позавтракала, сижу в лаборатории у компьютера, просматриваю вчерашние записи.

Стук. Входит Мангуст.

— Сегодня вторник, — говорит он. — Рукавчик закатите.

Дважды в неделю, по вторникам и пятницам, он вкалывает мне витаминный раствор для повышения порога утомляемости. Я давно к этому привыкла. Витамины никому никогда не вредили, и я действительно здорово устаю.

— Только побыстрее, пожалуйста.

Морщусь от укола.

— Спасибо. Можете идти.

— Хорошо, мадам.

(Что это за нотка в его голосе? Волнение, торжество? Неважно. Мангуст прыгнул. Мелкие острые зубы уже впилась в мое горло.)

Смотрю с изумлением на свои пальцы. Они дрожат, чуть не прыгают. Это еще что за новости? Пульсирующая головная боль. Не хватает воздуха. Перед глазами какая-то странная рябь. И холодно, очень холодно. Прямо колотит в ознобе.

«Все симптомы острого гипертонического криза, — говорю я себе. — Но с какой стати? Нужно вернуть Мангуста. Пусть срочно...» Голова кружится всё быстрее и быстрее. Я тяну руку к телефону и не могу нащупать трубку. Стул вдруг тоже начинает подо мной вращаться, сбрасывает меня на пол. Но падаю я не на линолеум, а в какой-то черный омут. И медленно, медленно опускаюсь на дно.

Эпизод пятый.

Последний.

Так же медленно, постепенно выплываю обратно сквозь тяжелую и темную толщу воды. Мало-помалу она становится светлее. Вот поверхность уже близка. Мелькают блики, тени, доносятся смутные голоса.

— ...То, что вы говорите, крайне печально, дорогой коллега. Но с вашими выводами, увы, нельзя не согласиться, — слышу я знакомый баритон.

А, это доктор Паскье, главный врач городской клиники.

— Я тоже с вами согласен. Безусловно, это кома. Никаких сомнений.

Второй голос мне тоже смутно знаком. Профессор Ланьон, невропатолог из университетского госпиталя, вот это кто.

Третий участник консилиума — Мангуст.

— Картина совершенно ясна. Резкое повышение артериального давления вызвало разрыв аневризмы. Я предупреждал мадам Канжизз, что это опасно. Мы буквально два дня назад вместе обсуждали данные ангиографии. Но, вы знаете, мадам так упряма. И вот результат. Кома. Ужасно!

«Я не в коме! Я вас слышу!» — хочу крикнуть я, но не могу пошевелить ни единым мускулом. Голосовые связки мне не подчиняются.

— Смотрите! — восклицает доктор Паскье. — Она открыла глаза.

Надо мной склоняются три головы. Огромный палец открывает и закрывает мне веко.

— Видите? Глазное яблоко не двигается. Движение век вызвано произвольным сокращением мускулов. Вы ведь знаете, что даже при полном параличе, в стопроцентно коматозном состоянии веки часто сохраняют подвижность.

— Конечно, коллега, — поддерживает Мангуста профессор. — У меня было множество подобных случаев.

«Они ошибаются! Я в сознании!»

Головы исчезают из моего поля зрения. Для Ланьона и Паскье мнение Мангуста авторитетно. Он — парижская штучка, специалист совсем иного уровня, и к тому же мой личный врач.

— Какой удар для нашего города! — вздыхает Паскье.

— Это удар для всей науки. Мадам занималась исследованиями, значение которых трудно переоценить, — скорбно подхватывает Мангуст.

Я лежу, слушаю эти надгробные речи и начинаю закипать от ярости.

Ау! Черт бы вас подрал, коллеги! Я не в коме! Это псевдокома! Сделайте энцефалограмму, идиоты!

— Вы намерены ее перевезти к нам? Или отправите в Париж? — спрашивает профессор. — Знаете, у нас превосходный уход за коматозниками.

Мангуст не может справиться с горем, откашливается.

— Я... Мы тут приняли решение оставить мадам на месте. В конце концов, это только справедливо. «Времена года» — ее творение. Переоборудуем ее кабинет в палату. Кто позаботится о нашей дорогой Александрине лучше, чем мы?

Остальные растроганы такой преданностью. Жмут Мангусту руку, говорят прочувствованные слова. Я не могу поверить, что консультация уже закончена.

— Полагаю, у меня больше опыта в обращении с подобными пациентами, — говорит профессор. — Мой вам совет: наложите ей повязку на глаза. Постоянный свет в сочетании с нарушением моргательной функции может повредить роговицу. А еще лучше наложить на веки скобки. Мы ведь с вами хорошо понимаем, что в девяносто лет из комы не выходят. Глаза бедной мадам Канжизэ больше не понадобятся...

Я впадаю в панику. Не надо зашивать мои веки! Вы с ума сошли!

Слава богу, Мангуст с Ланьоном не соглашается.

— Погодим пока. Энцефалограмма свидетельствует о смерти коры головного мозга, но, знаете, бывают и чудеса...

Что-то я не пойму? Так ты уже делал энцефалограмму? И не понял, что мой мозг жив?

Всё разъяснилось минуту спустя, когда те двое попрощались и вышли.

Я не слышала, о чем они переговаривались в дверях. Вся моя воля была сконцентрирована на том, чтобы направить кроветок в разрушенный сосуд. Но сразу начало тем-

нет в глазах, вступило головокружение, и я поняла, что делать этого ни в коем случае нельзя, — тогда я уж точно окажусь в коме. Базилярная артерия повреждена бесповоротно. Паралитический процесс необратим.

Скрип пола.

Надо мной наклонился Мангуст.

На лице никакой скорби — одно торжество.

Шепот:

— Вы очнулись? Я понял по зрачкам. Но этим болванам знать ни к чему. Мигните, если меня слышите.

Я мигаю. Потом еще раз — вопросительно. «Какого черта? Что это значит?»

Он улыбается. В жизни не видывала более отвратительной улыбки.

— Знаете, я хотел, чтобы вы сдохли. Или впали в настоящую кому. Но когда сделал энцефалограмму и увидел, что функция мозга сохранена, ужасно обрадовался. Это подарок судьбы! Есть вопросы, на которые мне без вас не ответить. Я открыл ваш сейф, теперь весь запас препарата в моем распоряжении. Я испытал на себе его действие. О, теперь я понимаю, как вам удалось сохранить такую форму. Эффект фантастический! Но этого мало. Мне известно, что вы вели подробные записи. Где-то должно быть полное описание метода. Где вы его храните? Отдайте мне документацию. Конечно, я не глупее вас, и много образованней. Я могу проделать всю эту работу заново, но на это уйдут годы. Послушайте, вам эти записи больше не понадобятся. Синдром «локд-ин» не излечивается. Вы умрете. Но с таким здоровым сердцем ваши мучения будут длиться очень долго. Предлагаю сделку. Вы сообщаете, где спрятаны бумаги, а я помогаю вам быстро и безболезненно уйти. Мы отлично всё устроим, я приготовил листок с буквами алфавита и даже цифрами на случай, если досье запрятано в каком-нибудь банковском хранилище. Четверть часа похлопаете ресницами — и навеки свободны. Соглашайтесь!

Я закрываю глаза, чтобы его не видеть. Невыносимая мука — испытывать такую яростную ненависть и быть не в состоянии даже пошевелиться.

— Не упрямься, старая ведьма, — доносится шелест. — Тебе никто не поможет. Ты в полной моей власти. Времени у меня сколько угодно. Открой глаза.

Не дожدهшься, мразь!

— Ладно. Загляну завтра. А вы, мадам, пока полежите, подумайте. Выбора у вас нет.

У меня ушло много месяцев, собственно, несколько лет на то, чтобы полностью реконструировать ход событий, приведших к моему погребению заживо. Лишь обретя способность чувственной памяти, смогла я вытащить из прошлого, один за другим, только что перечисленные обрывки.

Мангуст знал, что скоро мое открытие будет обнаружено, — я не делала из этого тайны. Кое-что я ему все же рассказывала, и он слушал жадно, с горящими глазами. Я думала, его приводит в восхищение мысль, что он будет причастен к великому прорыву в науке. Но нет, то были огоньки зависти и алчности. Мангуст не желал быть вторым номером, ничтожеством, подбирающим крохи с моего стола. (Это было мне проговорено именно в таких словах, когда я уже не могла ни ответить, ни возразить.)

Про «близкий» сейф он, конечно, знал. И был уверен, что все свои секреты я храню там. Когда я по рассеянности оставила на столе листок, исписанный четырьмя цифрами, Мангусту пришло в голову — не комбинация ли это замка. Попробовал — так и есть.

Зимой

Теперь у него в руках был резервуар с чудесной эссенцией, которую он всегда получал от меня дозами по 10 миллиграммов. Мангуст решил, что основной компонент тайны у него в руках. Оставалось только избавиться от «первого номера», то есть меня, и тогда благодетелем человечества будет он. Задачу облегчала секретность, которой я всегда окружала свои исследования. Всемирная слава, общее признание, огромные деньги и гарантированное посмертное место в Пантеоне — всё достанется ему, если только я исчезну.

Он наверняка все равно придумал бы, как меня убрать, но задачу облегчил случай. Будучи превосходным специалистом, Мангуст сразу понял, что мой врожденный дефект базилярной артерии дает ему отличный шанс осуществить дело чисто, ни у кого не вызвав подозрений.

Для разрыва такой небольшой аневризмы необходимо сочетание двух факторов: разжижения крови и резкого подъема давления. Первое условие Мангуст исполнил, подмешав мне в чай сильный антикоагулянт с пиком действия через 12 часов. Вот почему наутро у меня так кровоточили десны. А вместо витамина он вколол мне адреналин или еще какой-то препарат, вызывающий скачок давления.

И всё, дело было сделано. С тем же успехом он мог приставить мне к затылку дуло пистолета и спустить курок.

Расчеты Мангуста полностью подтвердились: он сам занимался моим инсультом, и никому не пришло в голову усомниться в компетентности моего любимого помощника, даже участникам консилиума. Не знаю, что он им подsunул под видом моей энцефалограммы, но проверять ни Ланьон, ни Паскье не стали. Да и с какой стати?

Ошибся мерзавец только в одном. Инсульт не стал смертельным — мой аномально крепкий организм не

позволил мне умереть. Но и это оказалось кстати, как он сказал мне во время первой беседы — если можно назвать беседами наше одностороннее общение.

В тот период Мангуст появлялся у меня каждый день. Попытки воссоздать разработанную мной методику ни к чему не приводили, да и не могли привести — для этого моему погубителю не хватало ни знаний, ни крутозора. Некоторое время спустя он совсем оставил исследовательскую работу и сосредоточился исключительно на мне. Окружающие только умилялись, видя, сколько времени верный ученик проводит у одра болезни своей бывшей руководительницы.

Мангуст перепробовал всё. Я прожила на свете целых девяносто лет, но даже не представляла, какие бездны гнусности могут скрываться в душе вполне стандартного представителя среднего класса.

Он меня то уговаривал и соблазнял избавлением от страданий, то угрожал. В конце концов дошел до пыток. Ему ли, лечащему врачу, было не знать, какие участки моего тела сохранили чувствительность. Он втыкал в меня иглы, прижигал кислотой, зажимал мой нос прищепкой. Но еще много лет назад я научилась блокировать болевые ощущения, так что уколы и ожоги мне были нипочем, а натренированное дыхание позволяло мне оставаться без кислорода три, даже четыре минуты — так надолго оставлять меня без воздуха палач не решался. Он не хотел, чтобы я умерла.

Думаю, что от всего случившегося у Мангуста произошло временное помутнение рассудка. Колоссальный призм был так близко, но в руки не давался — это сводило подонка с ума. Его крошечные, с булавочную головку, зрачки и дергающаяся тиками рожа выглядели аномально.

Зимой

Но мое лицо было еще ужасней. Я узнала это, когда Мангуст придумал заменить физические истязания психологическими. Поскольку мускулы, управляющие движением глазных яблок, у меня не действовали, я могла смотреть только прямо перед собой, в одну точку.

— Хватит паяльщика на потолок, это для тебя слишком жирно, — прошипел мне однажды Мангуст, кривя бледные губы. — Отныне ты будешь любоваться только на свою жуткую харю. Гляди, во что ты превратилась.

И перед моими глазами, почти вплотную, появилось зеркало, которое он каким-то образом укрепил на штативе.

Боже мой, на что я, оказывается, похожа... В ужасе я зажмурилась, а Мангуст радостно захихикал.

— Помоги мне, и я помогу тебе избавиться от этого кошмара, — сказал он перед уходом.

Теперь, стоило мне открыть глаза, я видела перед собой чудовищную карикатуру на человеческое лицо: съехавшее набок, с отвисшей губой, вечной ниткой слюны и потеками под носом, с синими венами на голом черепе, оно будто сошло с картины Босха. *Это — я?*

Надо отдать Мангусту должное. Новая попытка получилась действенной прежних. Особенно силен был эффект, когда я просыпалась. Глаза открывались сами собой, я видела *это*, и вопль ужаса обжигал мои парализованные связки.

Сестрам Мангуст сказал, что это новое слово в уходе за коматозниками. Якобы существует теория, что угасшее сознание может иногда, на секунду, пробуждаться и меркнет вновь, не успев зацепиться ни за что знакомое, — а вид собственного лица способен вызывать в мозге ответную реакцию. Избавления мне ждать было неоткуда и не от кого.

Я поймала себя на том, что испытываю давно забытое чувство страха. Все время, бодрствуя, лежу с закрытыми

глазами и боюсь, задумавшись о чем-нибудь, их ненароком открыть.

Мука длилась неделю за неделей и всё не кончалась. Догадываясь, что на сей раз нащупал мое слабое место, Мангуст стал появляться реже. Мой слух еще не успел обостриться. Я не слышала, как он подходил. Только вдруг над самым ухом раздавался довольный смешок.

— Всё жмуритесь, мадам? Не надоело? — Он пальцами поднимал мне веки и заставлял смотреть в зеркало — минуту или две. — Может быть, договоримся? Ах, как сладко и приятно было бы умереть. Не хотите? Ну как уютно...

Тупой, подлый грызун! Да если б я захотела, если б я *имела право* умереть, мне достаточно было бы велеть сердцу остановиться — как это сделал когда-то Иван Иванович, не желая подвергать себя унижению пыткой. Но я должна была держаться. Может быть, рано или поздно кто-то все же заметит по блеску моих глаз или еще как-то, что я в сознании. И тогда я передам знание, которое должна передать. Но не Мангусту, только не Мангусту!

Зрение стало мне ни к чему. Я все равно им не пользовалась. Оно только мучило меня. И в конце концов я приняла решение. Прекратила кровоподачу в глазные нервы, совсем.

Через полчаса открыла веки — ничего. Всё, ослепла. Лучше видеть вечную черноту, чем карикатуру на самое себя.

Следующий визит Мангуста стал последним.

Он сначала бормотал свои обычные гадости — довольно бессвязно, с истерическим подхихикиванием. Потом оттянул мне веки — и понял, что я слепа. Трюк больше не работает.

— Ах ты так?! — рявкнул Мангуст. — Ну и черт с тобой, старая сука! Обойдусь без тебя! Подыхай медленно!

С тех пор — вот уже четырнадцать лет — он ни разу у меня не появлялся. Я не знаю, чем объясняется такое

дьявольски долгое терпение. Что он замыслил? Чем занимается? Но ясно одно: обойтись без меня Мангусту не удалось. Если бы мой метод, пускай в усеченном или искаженном виде, был обнаружен, об этом обязательно упоминалось бы в медицинских журналах, которые читает мне Пятница. Да и не торчал бы Мангуст во «Временах года», не выжидал бы непонятно чего, сохраняя одну и ту же дистанцию. Я не могу ошибаться — я отлично различаю его слабую, но неизменно присутствующую эманацию. Мангуст жив, он никогда от меня не отдаляется, и я не возьму в толк, что означает эта загадка.

Вероятно, он как-то научился пользоваться препаратом и укрепил свой организм для долгой жизни. Это объясняет его долготерпение, но не раскрывает замысла. На что он рассчитывает? Может быть, сидит все эти годы в лаборатории и с упорством маньяка пытается разобраться в тайнах методики?

Если около моей кровати оказываются два сотрудника резиденции, я мучительно вслушиваюсь в их болтовню — не скажут ли они что-нибудь про директора. Но его имя ни разу упомянуто не было.

Я много раз спрашивала Пятницу, где директор и что он делает, но мой единственный товарищ на подобные вопросы не отвечает, сколько их ни повторяй. У Пятницы терпение такое же безграничное, как у Мангуста.

И сегодня я вдруг поняла: они меня пересидели, переупрямили. Больше не могу.

Случилось это так.

Вошла медсестра, сменив предыдущую. Сказала пару слов Пятнице — просто так, со скуки, не ожидая, что он ответит. Он и не ответил.

Сестру эту перевели ко мне недавно, и надолго она не задержится, я уж знаю. Работа с лежащими больными требует усидчивости и, так сказать, философски-созерцательного характера, а эта девушка из Ревеля слишком непоседлива. То ходит по комнате, то шелестит страницами журнала, то болтает по телефону. И тут опять, не просидев молча и десяти минут, стала кому-то названивать. Разговаривала в полный голос — кого ей стесняться, не аутиста же и тем более не меня.

Видимо, позвонила она мужу или любовнику. Впрочем, не знаю, сначала я не прислушивалась.

А потом она говорит:

— Сегодня пятое, так? Еще два дня и отпуск. Прилечу — поедем в Финляндию, на озера. Там в январе шикарно.

В январе? Пятое? Сегодня пятое января?

Я не особенно слежу за числами. В моем существовании календарь ни к чему, а даты не имеют никакого значения. Тем сильнее поражает меня это совпадение: как раз думала про цифры 0501, а они тут как тут.

Не могу объяснить, отчего у меня внезапно возникло ощущение — нет, уверенность, что *круг замкнулся*.

Нипочему. Просто в часах моего времени упала последняя песчинка.

Больше не хочу. Я сделала для вас всё, что могла. Сами виноваты, к черту вас всех. Нет, не так. Бог с вами со всеми. Оставайтесь, решайте свои проблемы сами. Без меня.

На мое лицо ложится холодная сухая ладонь. Пятница что-то почувствовал. Меж нами, безусловно, существует некая связь.

Что ж. Есть хоть кто-то, с кем я могу попрощаться.

Я отмаргиваю ему ресницами: «Больше не могу. Силы кончились. Ухожу. Прощай».



ТОТ, КТО ВСЁ ПРИДУМАЛ

Сегодня Эмэн придумал плохо, очень неудачно придумал. Эмэн придумал, что Ресничка объявляет, будто уходит.

— Ты не можешь уйти, пока я не разрешу, — сказал Эмэн вслух.

Это он когда-то так придумал: что с Ресничкой нужно разговаривать голосом. Такой порядок: Ресничка разговаривает ресничками, Эмэн разговаривает голосом. По-другому не полагается.

Ладонь снова защекотало. Симулякр расстраивал Эмэна. Взял и взбунтовался.

Эмэн всегда был, всегда есть и пребудет во веки веков, аминь.

Сначала Эмэн был посреди Ничего, Эмэн был Дух Бесплотный и летал над водами.

Всё это описано в Книге, которую Эмэн придумал давным-давно. Потом Эмэн придумал много всяких других книг, но та Книга — самая лучшая и самая главная.

Однажды Эмэн придумал создать Мир и стал понемногу его создавать из Ничего. Это было очень трудно и долго.

Что было Вначале?

Качание на невидимых водах. Чередование Тьмы и Света, Голода и Сытости. Песня «*Dodo, l'enfant do, l'enfant dormira peut-être*»¹. А больше Ничего.

И начал Эмэн с малого, и придумал Комнату. Там был Стол, был Торшер, была Стена, на Стене — Картина. И посмотрел Эмэн, и сказал: «Это хорошо». День Первый.

Потом Эмэн придумал Дом, и там было много комнат, и все разные. И посмотрел Эмэн, и сказал: «Это хорошо». День Второй.

¹ Баю-бай, баю-бай, поскорее засыпай (фр.).

Потом, в День Третий, Эмэн придумал Сад вокруг Дома, и это было самое лучшее из всего, потому что потом, в День Четвертый, Улица придумалась гораздо хуже, а Город получился совсем плохой и страшный. Но Эмэн все равно сказал: «Это хорошо», потому что в Мире должно быть и страшное — чтобы было чего бояться и от чего прятаться. В Мире чем всего больше, тем правильнее.

Эмэн очень много всего напридумывал, даже больше, чем нужно, и потому однажды взял и всё лишнее отменил, замкнулся в Замке. Потому что Эмэну понравилось выражение «замкнуться в Замке».

По-другому Эмэна звали Господь Бог. Господь Бог — это Тот, Кто всё придумывает, всякие разные видения и разных тварей, а потом вынужден жить среди этого придуманного Им беспорядка, потому что придумывать вещи легко, а взять и распридумать их обратно удастся нечасто.

Населил Эмэн свой мир симулякрами. Раньше Эмэн называл их «фантомами», еще раньше «анимашками», но потом, не очень давно, Эмэн прочитал в книге, которую придумал, красивое слово «симулякр» и понял, что оно правильнее.

Симулякров Эмэн напридумывал без счета. Это легко — бросил один взгляд, и симулякр уже ожил, дальше о нем можно не заботиться. Правда, потом его не истребишь, их много, они лезут со всех сторон. Многие навязчивые, мучают.

Когда-то Эмэн придумал такую доску с двигающимися картинками, названием телевизор, так в ней симулякры копошатся, как муравьи в муравейнике, которых Эмэн однажды придумал в Саду. Поэтому Эмэн однажды распридумал телевизор и больше про него не вспоминал, а сам замкнулся в Замке, где симулякры все считанные и новые придумываются довольно редко, а некоторых из прежних даже получается распридумать, и они больше

никогда не возвращаются. Эмэн придумал для этого красивое слово: «умереть».

А то пятно Света, которое давным-давно пело «баю-бай, баю-бай», тоже было симулякром, который распридумался обратно и забылся. Тогда-то Эмэн и придумал, что замкнется в Замке.

Вообще с симулякрами вышло довольно интересно.

Раньше, давно, когда Эману еще не надоело придумывать Мир и увеличивать его в размерах, симулякры придумывались очень большие и сильные, и нечленораздельно гудели густыми голосами, и не понимали, чего Эмэн от них требует. Но постепенно Эмэн заставил симулякров понимать слова, и сами они научились говорить более или менее понятно. От этого симулякры становились слабее, начали сжиматься, и постепенно сделались одного роста с Эмэном, а некоторые даже меньше. Теперь проблем с ними не очень много.

Но проблемы есть. Потому что Эмэн придумал, что у него Болезнь Головного Мозга, и не может распридумать это назад. Про Болезнь Головного Мозга Эмэн прочитал в одном из медицинских журналов, которые придумал, чтобы развлекать Ресничку. Болезнь называется «галлюцинирование». Красивое слово, удачно придумалось, но означает оно вещь нехорошую — навязчивые видения. Симулякры возникают в результате видений, и большинство этих видений ужасно навязчивые. Поэтому они — навязчивые видения.

Было еще одно красивое слово. Как же его... Вот ведь сам придумал, а забыл.

Давным-давно, когда симулякры были всё еще немного больше Эмэна, один из них, в белом халате, особенно навязчивый, долго приставал к Эмэну, всё мучил, задавал всякие вопросы. И однажды Эмэн, вместо того чтобы игнорировать докучливую «анимашку» (это еще была эпоха

«анимашек»), решил придумать, будто у них разговор. Эмэн взял и заговорил с галлюцинацией, как будто с самим собой. Всё ей рассказал: про придуманный Мир, про то и сё, и что сама анимашка в белом халате тоже придумана. «Ах вон оно что, — засмеялась анимашка. — Так ты у нас, значит, солипсист. Знаешь, кто это? Приверженцы философской теории, которая признает единственно несомненной реальностью лишь собственное сознание, а всё остальное для них — плод фантазии». Вот, вспомнилось слово: солипсист! Конечно, Эмэн его знал и без анимашки. Красивое слово. И философскую теорию для него Эмэн придумал тоже красивую.

Фантазия Эмэна неисчерпаема, как неисчерпаема и бесконечна придуманная им Вселенная. В ней много уродливого, много страшного, но много и приятного.

Симулякры, например, чаще всего раздражают, но бывают и полезны. Когда Эмэн придумывает, что хочет есть, симулякры готовят еду, и Эмэн фантазирует, что ее ест и насыщается. Когда Эмэн воображает, что болит зуб или живот, симулякры в белых халатах избавляют Эмэна от болезненной галлюцинации.

Просто с симулякрами нужно уметь управляться. Когда видения возникают сами собой, их следует игнорировать, и через некоторое время они отвяжутся. Не рассеются, не испарятся, но по крайней мере отступятся и оставят Эмэна в покое. Можно, в конце концов, закрыть глаза и закрыть уши — этого симулякры не выносят и вскоре исчезают.

Но был у Эмэна один симулякр, непохожий на других. Самый лучший из всех, кого Эмэн когда-либо придумал.

Как будто некто лежит неподвижный среди всего белого, молчит и никогда-никогда не пристает первым. Только когда Эмэн сам захочет пообщаться. И самое красивое:

разговаривает этот симулякр не как остальные, а ресницами. Поэтому имя ему Ресничка. Хорошая галлюцинация, очень хорошая. Эмэн ею по праву гордился.

Еще вот что. Все другие симулякры, едва возникнув, сразу вступали между собой в какие-то взаимоотношения. Иногда наблюдать за этим было интересно, но чаще всего Эмэн испытывал раздражение, потому что вели себя симулякры нелепо и понять, чего они друг от дружки хотят, было невозможно. Глупые галлюцинации, совсем глупые. А Ресничка никогда и ни с кем не зналась, только с Эмэном. В этом и была красота идеи. Что Ресничка — самая послушная из всех фантомов-анимашек-симулякров.

И вдруг такое безобразие, нарушение правил! Конечно, Эмэн сам виноват, это ведь он всё придумывает. Но как только могла Эмэну прийти в голову фантазия, будто Ресничка собирается уйти, исчезнуть, распридуматься?

Плохая фантазия, плохая!

Эмэн стал с плохой фантазией спорить, чтобы ее отогнать. Сказал Ресничке: «Тебе нельзя умереть. Эмэн не хочет. Это нехорошо!» Но Ресничка отказывалась быть послушным симулякром, она всё трепетала про свое. Она хотела, чтобы Эмэн сделал то, чего Эмэн никогда еще не делал.

Сначала он сердился, а потом подумал, что это даже интересно. Может быть, оно и не так плохо придумалось. Посмотрим, что выйдет.

— Это хорошо, — сказал Эмэн и встал, и вышел в коридор, и дошел до угла, и увидел там не порядок.

Что-то симулякры сегодня разбуянились, повадились нарушать раз и навсегда установленные правила.

Навстречу Эмэну шел симулякр, которого Эмэн назначил самым главным халатом во всем Замке. Главному Халату полагалось ходить важно, гонять других халатов, а симулякрам-нехалатам улыбаться, брать их под локоть.

Но Главный Халат был нынче неправильный. Неаккуратный, с красными глазами, с растрепанной прической, и самое возмутительное — ему здесь появляться не полагалось! Он никогда этого не делал!

— Ты что это? — строго сказал распоясавшемуся видению Эмэн. — Эмэн придумал, что ты к Ресничке никогда не приближаешься, а ты взял и нарушил. Посмотрел Эмэн и сказал: «Это нехорошо».

ЗАГЛЯНУТЬ В БЕЗДНУ

— Что нехорошо? — спросил Люк, пораженный тем, что аутист к нему обратился и проговорил нечто членораздельное.

Но человек с лицом пожилого мальчика и походкой робота прошествовал мимо, недовольно качая головой и что-то бормоча.

Люк крикнул вслед:

— Что нехорошо, Эмэн?

Ответа не последовало.

Аутизм — явление загадочное, медициной оно еще до конца не изучено. Разнообразие проявлений этой болезни безгранично, двух аутистов с полностью идентичной симптоматикой не существует, а в большинстве случаев диагноз ставят со знаком вопроса, исходя из некоего набора характерных особенностей: склонности к ритуальному поведению, слабости эмоциональных связей, нарушений абстрактного мышления, проблем самоидентификации (многие пациенты до конца жизни говорят о себе исключительно в третьем лице). Некоторые исследователи даже утверждают, что аутизм и не болезнь вовсе, это обозначение некоего особого подвида *Homo sapiens*.

Но сегодня ломать голову над нетипичным поведением Эмэна было совершенно невозможно, голова у Люка и так была в некондиционном состоянии. Поэтому останавливать аутиста и пытаться его расшевелить Шарпантье не стал, а вместо этого потер лоб и вытер с него неприятно холодную испарину.

Он и сам сегодня вел себя странно, в нарушение всех обыкновений. Чего стоил один этот патологический порыв — навестить Мадам! Главное, зачем? Что он себе хочет продемонстрировать, что доказать? Черт знает. Но вдруг неудержимо потянуло подняться на третий этаж и войти в палату, которую он столько лет обходил стороной.

Каким-то образом этот импульс был связан с двумя ударами, которые обрушились на психику один за другим.

Профессиональная привычка анализировать мотивации подсознания заставила додумать эту мысль до конца, хоть ноющая с похмелья голова и пыталась бастовать.

Два болезненных удара при кажущейся несхожести припались в одну и ту же чувствительную точку, потому что оба по-своему знаменовали победу Смерти и постыдное фиаско Жизни. Это был двойной толчок к краю пропасти, от которой всё равно никуда не деться. Отсюда, вероятно, и возникла спонтанная потребность перевеситься через край и заглянуть в бездну.

Оставался непонятен внутренний резон. То ли это мазохистское желание упиться страхом, то ли попытка его преодолеть. Так или иначе, сопротивляться внутреннему чувству не следует, это может лишь усугубить стресс, вызванный двумя последовательными потрясениями.

Второе из них, самое свежее, случившееся несколько минут назад, произвело такой сильный эффект еще и потому, что психика и так уже находилась в травмированном состоянии после вчерашнего инцидента.

Плюс воздействие похмельного синдрома.

Смерть гостя, а тем более пацента в резиденции — не бог весть какое событие. Можно сказать, обычная вещь. Такое уж это место. Никто особенно не впечатляется: персонал — по профессиональной привычке, контингент — потому что старые люди вообще относятся к смерти довольно спокойно. Тело и душа у них потихоньку готовятся к неизбежному концу, и когда кто-то из окружающих отправляется в мир иной, старики провожают покойника заинтересованным, но довольно спокойным взглядом. Некоторые даже испытывают своего рода гордость: вот, мол, я еще одного пережил, а он (или она) моложе меня.

Уж эта-то кончина точно потрясла одного только директора, а всех остальных нисколько не опечалила.

Но Люк после событий вчерашнего вечера ощущал себя несчастным, никчемным, уязвимым. И сегодняшняя новость доконала его окончательно.

Жизнь — это соединение мужского начала с женским. Люк эту истину чувствовал с детства, а потом, став взрослым, научился ее понимать.

Всё, что находится вне пределов слияния Инь и Ян, не вдохновлено этим мощным ароматом, лишено смысла и пахнет трупом. Всякое дело, которое мужчины затевают без женщин (война, грабеж, тюрьма, сухая наука), так или иначе ведет на территорию Смерти.

Люк любил жизнь и любил женщин. Насколько мужчина квадратен, прозаичен, некрасив, груб, настолько женщина пластична, поэтична, прекрасна и нежна. В каждой из них, даже самой неуклюжей и вульгарной, обязательно есть что-то волшебное, просто разглядеть это дано не всякому. Люку Шарпантье этот дар достался от природы.

Что такое красавица? Это женщина без тайны, поскольку привлекательность красавицы понятна любому профану. Но разглядеть очарование в дурнушке способен только настоящий ценитель. Люк был щедро наделен этим талантом и очень им гордился.

Взять главную медсестру Изабель. Профан скажет: да в ней вообще нет ничего женственного. Голос прокуренный, сутулится, черт-те как одевается, на физиономию — чистый верблюд. Всё так. Но если бы кто-нибудь знал, каким дивным цветком распускаются чувства и чувственность в такой женщине, если ты сумел их разморозить и взрастить!

Лоранс из рецепции неумна и бестактна, но зато во сне, после любви, поет тоненьким, невыразимо трогательным голоском. Однако для того, чтобы узнать этот секрет, нужно с Лоранс оказаться ночью в одной постели.

У массажистки Адель такие руки, что чувствуешь себя комом глины, из которого великий художник ваяет прекрасное произведение искусства. И что с того, что Адели седьмой десяток?

Люку и самому уже шестьдесят пять. С возрастом он сделал важное открытие, ставшее для него великим утешением. Годы в любви не помеха. Глубокое заблуждение, что женщины ценят в любовниках только сексуальную функцию. Ромен Гари, любимый писатель Люка и тоже большой ценитель поэзии женского тела, как-то сказал, что смотрит в будущее без боязни. Когда-де состарится и перестанет быть мужчиной, станет чесать женщинам спинку, и за это они будут любить его еще больше. Спинка не спинка, но в наши времена благодаря виагре за потенцию можно не опасаться. И дело не в страхе ударить лицом в грязь. Мужское бессилие оскорбительно для женщины, она перестает чувствовать себя желанной и от этого гаснет.

За исключением половой состоятельности, которую, слава науке, теперь можно подстраховывать искусственными средствами, для успеха в любовных делах требуется соблюдать два золотых правила.

У партнерши от связи с тобой должно быть ощущение праздника или хотя бы уикенда. Будни и проза — это брак, семья. А мимолетное увлечение — это поэзия, то есть выходной, отгул. Праздник не может быть всегда, он не бывает долгим. У женщин романтичность отлично уживаются с практицизмом. Если женщина, находясь с тобой, автоматически попадает в атмосферу вakanса, она не будет требовать вечной привязанности, и вы расстанетесь без обид, причем останется шанс на совместные каникулы в будущем.

Второе правило, не менее важное: в женщину нужно быть влюбленным, и без дураков. Пускай на неделю, на день, на час, но страстно и непритворно.

С этим у Люка Шарпантье всё было в порядке. Он отлично умел и влюбляться, и влюблять. Мешало только то, что иногда очень уж глаза разбегались, а сердце-то одно, и остальной инструментарий тоже в единственном экземпляре.

Например, приходит весна, воздух наполняется ароматом цветения, на улицы высыпает множество разомлевших от солнца, едва одетых женщин. Идешь по городу с одуревшим видом пьяницы, попавшего в огромный винный пореб: всего этого счастья тебе не выпить и даже не пригубить. Оно достанется другим мужчинам, опьянит чью-то чужую голову. И ничего с этим не поделаешь, приходится мириться.

Так же, как ничего не поделаешь с многомесячной безнадёжной влюбленностью в Веронику. Можно сколько угодно философствовать о том, что дурнушек не бывает, но, что и говорить, по-настоящему красивая молодая женщи-

на — драгоценность особого рода. Уникальный феномен, как алмаз в сто карат или большая чистая жемчужина.

Когда Люк увидел русскую стажерку в первый раз, он испытал настоящее потрясение и растерялся, как мальчишка, в результате чего наделал массу глупостей.

Какие глаза, какие волосы, какая пластика! От волнения перед таким чудом природы он даже не заметил, что алмаз неограниченный. Не сообразил, что имеет дело с девственницей: Позор для человека, считающего себя знатоком! Сам виноват, что всё испортил исключительно бездарными — от жгучей влюбленности — домогательствами. Забыл и всю свою науку, и золотые правила.

К удивительной, ни на кого не похожей, магически ускользающей потянулся трясущимися руками, будто умирающий от жажды к графину родниковой воды. Тонкое стекло дало трещину, вожделенная влага утекла между пальцев. Ее выпил другой.

И чувство, и чувственность Вероники достались молодому корсару, разбойнику привольных русских морей. Люк опытным взглядом вмиг углядел перемену, произошедшую в его юной сотруднице. И преисполнился скорбью. И отступился.

Но это в конце концов было хоть и досадно, но понятно! Красавица Вероника предпочла старому ловеласу молодого миллионера-триумфатора.

Однако вчерашнее фиаско понять и принять было невозможно...

Как только в резиденции появилась новая санитарка с такими природными данными, что хоть на обложку «Плейбоя», Люк, естественно, сразу взял ее в разработку. Наметанным взглядом определил, что добыча будет нетрудной. И она тоже смотрела на красавца директора глазами, в которых читалось всё, что положено.

Как настоящий гурман, Люк не накинудся на новое лакомство, дал плоду дозреть, вино шамбрироваться. Пару месяцев сохранял дистанцию, потихоньку и со вкусом разрабатывая аппетит.

Наконец решил, что пора. Как раз и удобный случай представился.

Санитарка совершила серьезный проступок, совершенно достаточный для того, чтобы расторгнуть с ней временный контракт. Поскольку мадемуазель Валда претендовала на место массажистки, ей для пробы доверили сделать антипролежневый массаж лежащей пациентке из КАНТУ. Неумеха повредила тонкую старческую кожу, так что пришлось срочно приглашать врача из клиники.

Люк вызвал виновницу к себе в кабинет. Сидел за своим широким палисандровым столом суровый и грозный. Прощтрафившаяся санитарка трепетала, как травинка, и нервно егзила на краешке стула. Классическая прелюдия к порнофильму про строгого начальника, готовящего отшлепать овечку-секретаршу. Распекая Валду, он уже представлял, как они будут развлекаться этой игрой, как он будет слегка постегивать ее ремешком по пухлой попке. А потом можно поменяться ролями: она — медсестра из тюремной больницы, а его подозревают в сексуальных преступлениях, и вот лежит он, скованный, а она берет у него образец спермы для судмедэкспертизы... С такой дивной партнершей можно всякого накуролесить, это было видно по чертикам, прыгавшим у нее в глазах.

В конце Люк сжалился, сменил гнев на милость. Ладно, сказал, вечером приходите ко мне в Эрмитаж, я объясню вам, как делается антипролежневый массаж, чтобы такое больше никогда не повторилось.

Она опустила глазки.

— Хорошо, доктор. Обязательно приду.

Всё отлично поняла. Люк с трудом сдержался, чтоб не потащить ее на диван прямо сейчас. Но это было бы свинство, гурманы так не поступают.

Вечером он принял ее у себя в совсем иной обстановке. Мягкий свет, ласковая музыка. На столе устрицы и шампанское, коньяк и шоколад.

И говорил Люк с гостьей не по-начальнически, а по-домашнему.

Предложил, когда не на службе, обращаться друг к другу по имени и на «ты».

Сохраняя авторитетный вид, стал объяснять про массаж. Сначала сугубо теоретически, с использованием терминов. Потом предложил продемонстрировать, как это делается практически. Поскольку массаж бы антипролежневый, Валде пришлось лечь на диван.

— Туфлиними, ноги вытяни, расслабься. Блазку лучше снять, а то показывать неудобно. Ты ведь в лифчике? Ну и отлично... Начнем с переворота и спины... Берешь пациента вот так, одну руку сюда, другую сюда, очень нежно, как младенца, и переворачиваешь на живот... Нет-нет, ты мне не помогай, не напрягай мышцы... Вот так. Теперь ноги. Чтобы пациент расслабился, рекомендую начинать с растирания ступней...

Она замурлыкала от удовольствия. Всё шло идеально. Люк чувствовал, как в нем разгоняется кровь, но сдерживался. Зачем торопиться?

— Очень хорошо. Другой вариант — можно сделать релакс-массаж спины. Я расстегну бюстгальтер? Мешает.

Прав Ромен Гари, больше всего женщины любят, когда им чешут спинку, думал Люк, лаская чудесную белую кожу мадемуазель Валды, перешедшей от мурлыканья к урчанию.

Собственно, пора было приступить к основным процедурам. Хватит прелюдий.

Он перевернул разомлевшую красавицу, одной рукой накрыл обнажившуюся грудь, другой обнял за плечо, потянулся поцеловать...

И вдруг Валда мягко остановила его, уперла ладонь ему в грудь.

— Нет, Люк. Ты очень интересный мужчина, но я не могу. Я честная женщина.

Он так поразился, что даже ничего не сказал. Только моргал, глядя, как она поднимается, приводит в порядок одежду, надевает туфли. Через несколько мгновений Люк остался в комнате один — с разинутым ртом и превосходной эрекцией, обождевшейся безо всякой виагры.

Почему-то первое, о чем он подумал в эту горькую минуту, — вспомнил, что как раз в нынешнем его возрасте Ромен Гари застрелился. Вроде бы из-за того, что перестал пользоваться у женщин былым успехом. Очевидно, писателю массаж спины тоже не очень-то помог...

Стреляться Люк не стал, а вместо этого выдул один все шампанское и потом, сколько смог, коньяку.

Утром проснулся черт знает во сколько, с чугунной башкой, деревянной глоткой, трясущимися руками. Кое-как умылся, засел у себя в кабинете и тупо пялился в монитор, когда пришла главная сестра и сообщила, что в КАНТУ только что скончался многолетний пациент, господин Жиль Мерсье.

— Отмучился, бедолага, — спокойно сказала Изабель. — Четырнадцать лет овощем, бр-р-р. Акт сейчас готовят, а труповозку я уже вызвала.

И, не проявляя никаких эмоций, заговорила об обычных, повседневных делах.

А у Люка руки затряслись еще сильнее.

Вот, значит, как? После сокрушительного фиаско Жизни триумфальная атака Смерти!

Жиль Мерсье умер...

А какой был энергичный, самоуверенный, высокомерный, когда принимал Люка на работу! Сказал, что после несчастья с Мадам вынужден взять на себя продолжение ее научных изысканий и потому очень рассчитывает на своего нового заместителя. «Весь круг забот по практическому управлению резиденцией ляжет на ваши плечи, мой дорогой Шарпантье. Вы уверены, что справитесь?»

И потом Люк видел начальника нечасто, тот с утра до ночи просиживал в лаборатории или в палате у Мадам — запирался там и пытался какими-то одному ему ведомыми способами вернуть старуху к жизни. Кажется, он был очень привязан к своей патронессе. Весь персонал глубоко чтил директора за такую преданность. Но позднее Люк предположил, что дело тут было не только в преданности. Должно быть, доктор Мерсье чувствовал, что его самого ожидает та же участь...

Вскоре в повадках шефа обнаружились странности. Он стал заговариваться, не узнавал сотрудников или принимал их за кого-то другого. Глаза горели диковатым блеском. Иногда Мерсье вдруг начинал пританцовывать или, наоборот, всхлипывать. То пребывал в вялом и апатичном состоянии, то вдруг преисполнялся эйфорической активности. Люк даже заподозрил, не сидит ли директор на наркотиках. Аномальность его поведения весьма напоминала симптоматику блокирования реабсорбции дофамина, что нередко случается с застарелыми наркоманами.

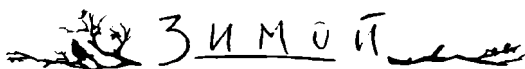
После долгих колебаний Люк поделился своими сомнениями с департаментом здравоохранения, и оттуда инициировали внеплановую проверку состояния здоровья всего персонала — якобы в целях социемедстрахования. Однако при осмотре у доктора Мерсье не было обнаружено ни следов от инъекций, ни изменений на слизистой оболочке носовых полостей, характерных для эксцессивных кокаинистов. Подозрение было снято.

Загадка, впрочем, скоро разъяснилась. Однажды утром директор не вышел из своей служебной квартиры. К нему долго стучали, названивали по телефону, в конце концов взломали дверь и нашли его лежащим в прострации, с признаками лихорадочного бреда. «Вы кто? Это она вас прислала? — лепетал бедняга заплетающимся языком, в ужасе глядя на своего заместителя. — Чтоб я отдал ей склянку? Но там пусто! Я все выпил! Честное слово!» И так далее, в том же духе. А потом совсем отключился и в сознание больше не приходил.

Томография головного мозга не выявила инсульта, но обнаружила картину, обычно наблюдаемую у больных четвертой стадии альцгеймера с далеко зашедшими дистрофическими процессами в области мозга, выраженной атрофией мозговой коры. Редкий случай ранней, скоротечной альцгеймерной деменции.

Трагедия, развернувшаяся у Люка, можно сказать, прямо перед глазами, глубоко его потрясла. Меньше чем за год молодой, едва за пятьдесят мужчина, цветущий и полный сил, превратился в овощ. Близких родственников у доктора Мерсье не было, и Люк, унаследовав директорское кресло, поддался сентиментальному порыву — решил оставить беднягу в заведении, как в свое время Мерсье не отдал на сторону коматозную мадам Канжизэ.

И лишь много позже, лет десять спустя, Люк понял, что сам определил свою грядущую судьбу. Сосуды головного мозга у него хреновые, послабее, чем сердце, а значит, вероятность однажды превратиться в выжившего из ума долгожителя весьма и весьма велика. Если начнется распад личности, Люк окажется сначала гостем «Времен года» (такая льгота и в контракте записана), а со временем будет переквалифицирован в пациенты. Следующий директор обязательно продолжит сложившуюся традицию, так что свои дни доктор Шарпантье закончит в этих стенах.



С тех пор он так и жил, между двумя пугалами, — одно в персональной палате на третьем этаже, другое в КАНТУ на первом. И каждый новый день приближал Люка к более или менее неизбежному финалу...

Сегодня несчастный Жиль Мерсье наконец обрел свободу. После четырнадцати лет одиночного заключения в каземате собственного тела. Осталась мадам Канжизз, пережившая своего помощника и преемника. В сумрачной похмельной голове Люка шевельнулась паническая мысль: «Теперь моя очередь! Освободившуюся вакансию займу я!»

От тоски и ужаса в душе зашевелились какие-то глубинные, подсознательные силы, и Люком завладело неудержимое желание заглянуть в пропасть, полюбоваться на собственное будущее. Если сделать это, возможно, что-то прояснится, само собою придет некое решение.

На плохо гнущихся ногах, преодолевая тошноту, побочный эффект похмелья и страха, он поднялся на третий этаж, в коридоре столкнулся с аутистом, полминуты помаялся перед дверью. И вошел, все-таки вошел.

Она выглядела еще чудовищней, чем он предполагал. Египетская мумия. Мощи. Высохший труп.

А все же Люк понял: его привел сюда не мазохизм, его привело сюда мужество.

Дребезжащим голосом он сказал:

— Мадам, мы с вами незнакомы. Я директор резиденции доктор Шарпантье. Пришел представиться, а также сообщить, что ваш помощник и мой предшественник Жиль Мерсье скончался. Следующий на очереди — я. Со временем составлю вам компанию. Но не торопите меня, дайте еще немного пожить.

Ресницы коматозной старухи дрогнули.

В этот миг и пришло решение.

«Не дожدهшься, ведьма! При первых же симптомах Альцгеймера — как Ромен Гари».

И сразу полегчало.

ВЕРА ВСТРЕЧАЕТСЯ С БЭТМЕНОМ

В воскресенье утром Вера исследовала феномен простого человеческого счастья. Это явление в ее родной стране относилось к категории раритетов, лично для нее было вообще недостижимо, а здесь выглядело чем-то естественным, само собою разумеющимся.

В выходные дни парк резиденции «Времена года» открывал ворота для всех желающих и превращался для окрестных жителей в место для прогулок. Шарпантье говорил, что это дает заведению налоговые льготы, да и старикам полезно видеть обычных людей, предающихся мирным семейным радостям.

Словосочетание «народные гуляния» у Веры ассоциировалось с чем-то малоприятным: сосущие пиво похмельные мужики, стаи матерящейся гопоты (такой же противной, как само это слово), орущие на детей мамашки, милиционеры с резиновыми дубинками, всюду намусорено. Московские скверы и бульвары в праздничный день она всегда обходила стороной.

Здесь же всё было по-другому: тихо, чинно, мило. Конечно, играло роль и то, что парк не столичный, а провинциальный, но про наши провинциальные парки лучше вообще не вспоминать.

Каждый выходной Вера приходила полюбоваться пасторальной идиллией, это зрелище ей не надоедало.

По аллеям трусили в одиночку и группками бегуны, подходили знакомиться вежливые, негавкающие лабрадоры, у каждой гуляющей семейной пары было по два,

Зимой

по три, а то и по четыре ребенка. Большая компания школьников старательно и неумело строила крепость из недавно выпавшего скудного снега; мамыши весело и организованно расставляли на столах термосы и резали бутерброды. Через кусты к обрыву прошествовал отряд пожилых людей в одинаковых красных куртках, с биноклями и фоторужьями. Это был кружок любителей-орнитологов.

— А сейчас мы с вами пойдем любоваться нормандской синицей! — вещал энтузиастический руководитель. — О, мсье-дам, это удивительная птица!

Когда-нибудь так же будет и у нас, думала Вера, с завистью провожая взглядом поклонников нормандской синицы. Но, наверное, еще не скоро.

Есть два вида счастья: большое и маленькое. Первое не длится долго, потому что от него перехватывает дыхание, а сколько можно просуществовать без выдоха? Про такое счастье она хорошо понимала. Оно было ей знакомо. Но счастье маленькое, повседневное, которое даже не называет себя этим праздничным словом, казалось Вере непостижимой загадкой. Как это у них получается? Жить изо дня в день одинаково, размеренно, радоваться простым и естественным вещам: что у детей всё хорошо, что будет уикенд, а потом отпуск, а еще — долгая пенсионная жизнь, когда мы все отдохнем от забот и будем заниматься не тем, что должно, а тем, что нравится.

У нас в России пока лишь малое число избранных могло позволить себе столь блаженную старость. Эти немногие счастливицы сегодня тоже гуляли в парке, радуясь ясной погоде и еще не растаявшему снегу, редкому гостю здешних зим.

Даже бывший член ГКЧП, исполненный значительности, каждую минуту помнящий, что он — фигура исторического масштаба, и тот разнежился на январском

солнышке. Сел на скамейку, откинулся и задремал в своей винтажной неснашиваемой дубленке, наверное полученной еще из цеховского распределителя. Пыжиковая шапка свалилась на сиденье, легкий ветерок шевелил седые волосы, и даже издали было слышно уютное похрапывание.

Мимо шел бывший диссидент Михаил Маркович Кучер. Нагнулся, подобрал что-то, выпавшее из кармана у спящего, положил в шапку. Вера умилилась: даже на идеологических врагов местная атмосфера действовала умиротворяюще. Михаил Маркович уселся на соседнюю скамейку с очень довольным выражением лица, достал из кармана блокнот и стал там что-то писать.

Вера давно уже выработала формулировку, в правдивости которой она всё больше убеждалась: «Главный признак правильно устроенного общества — если в нем старость не страшна и старики не вызывают жалости». Что ж, цель определена. Понятно, куда двигаться. Как — тоже, в общем, ясно.

Тихий звон отвлек ее от мыслей. Он прозвучал уже не в первый раз. Откуда это?

Люди, проходившие мимо дремлющего члена незадачливой хунты, на миг останавливались, читали что-то написанное на листочке и бросали в меховую шапку монеты. Михаил Маркович на соседней скамейке скалил зубы. Поймал Верин взгляд, подмигнул.

Она встала, пошла прочь, от греха подальше. Едва свернула за стриженный кустарник, как сзади послышались сердитые стариковские крики. Член ГКЧП проснулся. Увидел поданную милостыню, бумажку. Там написано что-нибудь вроде «Пожалейте бывшего члена ЦК» или «Подайте призраку коммунизма». Юмор диссидента довольно однообразен.

Ох, будет сегодня очередной скандал.

Ничего, согласно новейшей психологической методе, умеренные конфликты в доме престарелых даже полезны, поскольку нарушают монотонность эмоционального фона. У французов есть даже специальное пособие, помогающее создавать небольшие турбуленции искусственным образом. Правда, жители «Времен года» пока отлично решают эту проблему без посторонней помощи

От мысли о скандалах и конфликтах был один шаг до вечной темы Вериных размышлений — как быть со Славой. Всё одно и то же, хождение по замкнутому кругу.

После его осеннего приезда они больше не виделись. Берзин долго пытался преодолеть ее упрямство. И убеждал, и требовал. Просил прощения, сам не понимая за что. Пробовал давить: не может ведь она ему запретить видеться с родным отцом. «Нет, конечно, — сказала Вера, — ты обязательно должен его навещать. Просто я на это время буду куда-нибудь уезжать». Так она и делала.

Разговаривали они теперь только по телефону, по скайпу общаться перестали. Ей было бы тяжело смотреть в его измученные глаза — могла проявить слабость. Не было у Веры уверенности в себе. Пусть Берзин смирится с идеей, что *ничего такого* у них никогда не будет. Тогда можно возобновить нормальные отношения. Он, собственно, уже пообещал ей не вспоминать случившееся и оставаться сугубо в рамках деловых отношений. Но это он врёт.

Каменно непреклонной Вера стала не сразу. Когда Слава унесся в аэропорт, ей сделалось ужасно жалко и его, и себя. Чуть не схватила за мобильник. Еле-еле с собой сошла.

Вечером, вся в раздерганных чувствах, полезла на крышу любоваться звездами одна. Звезд, увы, не было, но по темному небу несколько раз проползли огоньки самолетов — и она даже заплакала, представив, какой несчастный и нахохленный Слава летит сейчас в Москву.

Чешуйчатая крыша шато блестела после недавнего дождика, как панцирь сказочного чудовища. Ажурный флюгер на дымоходе слегка покачивался, хотя ветра не было. Этот непонятный феномен привлек Верино внимание. Она вгляделась во мрак — и показалось, что под чугунной стрелкой чернеет какой-то ком. Птичье гнездо? На открытом всем ветрам месте? Странно.

Вдруг ком шевельнулся, многократно увеличился в размере и с пронзительным писком понесся прямо на Веру. Это была летучая мышь, только и всего. Но Вера, как большинство женщин, испытывала необъяснимый страх перед шмыгающими, юркими, пищащими обитателями сумеречного мира: мышами, крысами, пауками, тараканами. Что уж говорить о летающем кошмаре с фосфоресцирующими глазенками и растопыренными перепончатыми крыльями.

Если б эта мерзость запуталась коготками в прическе, Вера, наверное, скончалась бы на месте. Но ей и так пришлось скверно. Гораздо хуже, чем тогда, с выпрыгнувшей из-под колес черной кошкой.

«Всё-всё-всё-всё!» — ударила в уши бешеная капель, и Вера испугалась не смерти, а того, что здесь, в дурацкой башенке, ее тело не найдут. Мелькнула картинка — разлагающийся труп на крыше. Может, кто-нибудь обратит внимание: что это вороны над замком каркают? Но до очередного приезда трубочистов, а они появятся только в следующем октябре, сюда вряд ли кто-то полезет.

Умереть она не умерла, отдышалась. Но мозги ей этот инцидент вправил.

Очередная глупая случайность? Как бы не так. Случайности кажутся глупыми только тому, кто сам глуп.

А если бы Слава, как планировалось, был рядом и она окоцурилась бы прямо в его объятьях? Запросто. Аневризму может прорвать не только в разгар африканской страсти, а

в любой момент. Даже без особенной причины — что-то там внутри щелкнет, треснет, скакнёт, и привет горячий.

Она же очень хорошо это знает! Всё давно обдуманно и решено, а то, что она позволила себе с Берзиным, это слабость, эгоизм и даже, будем называть вещи своими именами, подлость. Оказывается, иногда любить значит отказать в любви. Если, конечно, любишь по-настоящему.

Так что летучая мышь была не глупой случайностью, а знаком и напоминанием. «Спасибо тебе, Бэтмен, но больше не прилетай, а то ты меня в гроб загонишь. Я и так всё поняла». Вера печально усмехнулась и стала спускаться. Осторожно, без спешки.

Был бы еще человек другого склада, а Слава для такой любви точно не вариант. Слишком трезв и рассудочен, подобные люди эмоционально уязвимее всяких романтиков-импрессионистов. Пробить их доспехи нелегко, но если уж латы дали трещину, рана будет смертельной.

Нет-нет, нечего и думать! Женщина-мина в подруги Берзину не годится. Пусть найдет себе такую же, как он, разумницу. Без опасной червоточки.

Вместе делать дело — пожалуйста. Про это Вера тоже много думала. Цели у нее с Берзиным, конечно, разные, но есть и общий интерес.

Скажем, телевизионное шоу для старых людей, про их проблемы и надежды — штука полезная. Известность, узнаваемое лицо — мощный рычаг, при помощи которого можно многого достичь. Привлекать спонсоров, договариваться с местной администрацией, да мало ли. Но рычагом в чьих-то руках Вера не будет. Об этом она Берзина честно предупредила, и он принял к сведению.

Объясняться с ним стало очень тяжело. В смысле, чересчур легко: что она ни скажи, он сразу со всем согласен. Берзин, само собой, надеется, что блажь у нее пройдет, стерпится-слюбится. Бедный Берзин.

Верины планы относительно прототипного мезона тем временем приобретали всё более конкретные очертания. Времени она даром не теряла. Кое-какую предварительную работу можно было вести и отсюда, из Франции.

Название пусть будет берзинское. «Счастливым корабль» — чем плохо?

В Вологодской области, на лесном озере, есть заброшенный монастырь, давно уже присмотренный волонтерами. Экология там фантастическая, есть дорога, правда нуждающаяся в ремонте. Своей вытянутой формой островок действительно похож на корабль. Судьба у монастыря была трудная. Примерно такая же, как у всей страны. Там долго была тюрьма для врагов народа. Потом стационар для тяжелых психических. Последние лет двадцать — ничего, запустение. Оно и к лучшему. После тюрьмы и скорбного дома, как после выброса радиации, должно пройти время. Чтобы скверное излучение рассосалось.

Деньги на ремонт и обустройство, урегулирование юридических проблем — всё это остается на следующий год. Когда Вера Коробейщикова станет телезвездой, эти вопросы решатся сами собой. Ну и Берзин — человек слова. Раз обещал, поможет.

Пенсионеров наберем самых обычных, из окрестных жителей. Преимущество будет даваться тем, кому жизнь не подарила никаких привилегий, а наоборот, обездолила: одиноким, малообеспеченным.

Необходимо устроить хороший медицинский центр, с классным оборудованием. Это обязательно, потому что здоровье у будущего контингента наверняка запущенное. Что можно подремонтировать да отреставрировать — сделаем.

Персонал — только из добровольцев. Кому такая работа в радость. Движение «Счастливая старость» уже сейчас немаленькое, а будет еще мощнее. И мы покажем этой

кислой стране, что старость действительно может быть счастливой! Всё, что есть во французских мезон-де-ретретах, будет и у нас!

Человек на склоне лет должен быть уважаем, окружен заботой. И тогда он будет чувствовать, что прожил жизнь не впустую. И станет думать о светлом и вечном, а не о том, хватит ли пенсии на молоко и гречку.

Всё это мы сделаем. Не сразу, но сделаем. Сначала на одном «счастливом корабле», а потом повсюду. Останется, конечно, проблема старческой деменции, но будем следить за новинками гериатрической науки. Как только в мире появится средство против болезни Альцгеймера, немедленно возьмем на вооружение.

Из парка она вышла бодрым шагом, вся устремленная в будущее. Но возле ограды увидела Эдуарда Ивановича Мухина в компании светловолосой санитарки, и позитив мгновенно улетучился.

Еще одна проблема, не дававшая Вере покоя, называлась «Охотница на уток».

С некоторых пор Вера стала замечать, что новая санитарка, слишком уж гладкая и сексбомбистая для такой работы и зарплаты, много внимания уделяет жалкому Мухе. Что она нашла в бедняге, скорбном рассудке? Почему хочет на его дурацкие, каждый раз одни и те же шутки? Зачем кокетничает?

Ясно зачем. Эта штучка приехала в заведение для состоятельных стариков не носить утки, а охотиться на уток — жирных, аппетитных. Каламбур так себе (Вера никогда не была сильна по части острословия), но суть дела отражает точно. Для Валды молодящийся, падкий

на баб Мухин — лакомая добыча. Богатый старикашка, которого можно прибрать к рукам. Из досье рижанка могла выяснить, что Эдуард Иванович юридически дееспособен, опеку над ним Берзин не оформлял. Если однажды утром Мухин объявит, что решил жениться, никто не может ему помешать. То-то Славе выйдет сюрприз с новой «мамой».

Однако всё это пока были не более чем подозрения. Вера не хотела ими делиться с Берзиным. Он немедленно примчится «разруливать», и тут уж уклониться от прямого контакта не удастся, а к этому они оба еще не готовы.

Но позавчера случилось кое-что, побудившее Веру к активным действиям.

Она шла через зимний сад, заметила под пальмой привычную парочку, нахмурилась, замедлила шаг. Мухин и Валда стояли к ней спиной.

— Я безнадежный романтик, Валдочка. Верю в любовь с первого взгляда. А ты похожа на Фрэнси Грант, бегущую по волнам. Смотрела кино? — И он запел: — «Шел корабль из далекой Австралии, из Австралии, из Австралии. Он в Коломбо шел, и так далее, и так далее, и так далее...»

— «...И вёл тот корабль из Австралии капитан Александр Грант», — подпела ему санитарка. — Конечно, смотрела. Мое любимое кино. И писателя Грина обожаю.

Кино «Бегущая по волнам» Вера, положим, тоже когда-то видела. В детстве, по телевизору. Средненький фильм советско-болгарского производства, снятый лет сорок назад. На любимое кино для латышской красотки двадцать первого века никак не тянет. Равно как и писатель Грин маловероятен в роли любимого Валдиного автора. Честно говоря, непохоже, что она вообще из разряда читателей. За всё время Вера ее ни разу не видела с книжкой, ни на каком языке.

Подслушанный обрывок разговора Веру очень растрогал. И она, наконец, сделала то, что давно пора было сделать.

Если уж санитарке удалось заглянуть в досье пациента, доктору посмотреть личную карточку низшего персонала было проще простого.

И там Веру ожидал сюрприз.

— Посмотрите-ка сюда, — тревожно нахмурясь, обратилась она к мадам Санглье, которая у Люка вела всю канцелярию. — В личную карточку санитарки Мисане.

Коренастая, флегматичная нормандка посмотрела на монитор.

— А, это которая на испытательном сроке. И что?

— Как что?! Ее на самом деле зовут Лайма Мисане! А она всем представилась как Валда Мисане!

Но мадам Санглье не впечатлилась.

— Подумаешь. Меня на самом деле зовут Доротея, а я терпеть не могу это ужасное имя. Когда знакомлюсь с людьми, представляюсь: «Додо».

Спорить с ней Вера не стала. Переписала остальные данные, поднялась к себе и позвонила в Ригу бывшей старшей медсестре Марине Васильевне, которая отработала год по контракту и вернулась домой. У Веры сохранились с ней очень хорошие отношения. Женщина она была ответственная, неболтливая.

У Марины Васильевны были какие-то проблемы со здоровьем, но к Вериним подозрениям она отнеслась серьезно. Обещала всё, что удастся, выяснить.

И сегодня, когда Вера после прогулки вернулась к себе, в мейле ее ждало письмо.

Марина Васильевна писала, что проверила у знакомой кадровички из Клиники Паула Страдыня, действительно ли у них работала физиотерапевтом-массажистом некая Мисане. Оказалось, что это неправда. Ни Лаймы Мисане,

ни Валды Мисане в штате престижной рижской больницы никогда не числилось. Значит, сведения, которые «охотница» сообщила в канцелярию «Времен года», были ложными!

Кроме того, дотошная Марина Васильевна выяснила, что такое Интернациональный колледж физиотерапии, диплом которого Лайма-Валда представила среди прочих своих кредитов (первоначально она желала занять место массажистки, а в санитарки пошла временно, за отсутствием вакансии). Выяснилось, что учебное заведение с пышным названием — всего лишь месячные курсы. Выпускнику такой шарашкиной конторы в Клинику Паула Страдыня физиотерапевтом нипочем не взяли бы.

«Всё ясно, — сказала себе Вера. — Надо звонить Берзину».

Но представила, как он примчится, как будет смотреть ей в глаза, — и почувствовала, что не может поручиться за свою твердость.

Да что она, в конце концов, не разберется без Славы? Она же не ребенок, а без пяти минут директор мезона, где каждый день будут возникать проблемы посложнее этой. Большое дело — вывести на чистую воду примитивную мошенницу!

— Пойдемте-ка со мной, — мрачно сказала Вера санитарке. — Нам надо поговорить.

Лже-Валду она перехватила, когда та, расставшись с Эдуардом Ивановичем, шла к главному корпусу.

Что-то, видно, было в голосе стажерки, отчего фигуристая блондинка безропотно за ней последовала, даже не спросив, в чем дело, хотя Вера ей была не начальница и рабочие обязанности у них никак не пересекались. Собственно, до сих пор они вообще ни разу не разговаривали, если не считать обычного «здрасьте».

Для объяснения Вера нарочно выбрала официальное место — белую гостиную, где проводились легучки, собрания персонала и прочие подобные мероприятия.

Ходить вокруг да около не стала. Она не следовательно, и это не допрос. Просто взяла и выложила всё, что удалось выяснить: про брезню с прежним местом работы, про липовый колледж, про фокусы с переменной имени, а главное — сказала напрямую, что отлично видит, чего прохиндейка добивается, и что Эдуарда Ивановича ей на растерзание никто не даст.

В конфликтных ситуациях Вера никогда не психовала, голоса не повышала. Откуда-то брались и жесткость, и напор. Вообще-то понятно, откуда — от сознания своей правоты. Потому что, если в правоте были хоть малейшие сомнения, на конфликт Вера не шла.

Она заранее приготовилась к тому, что хитроумная интриганка станет врать, юлить, изворачиваться, на каждый пункт обвинения у нее найдется оправдание. Еще хуже, если ловкачка сообразит, что с Верой лучше действовать иначе, и станет давить на жалость. Пустит слезу, выдумает какую-нибудь душераздирающую историю, будет умолять не выдавать ее.

Однако не случилось ни первого, ни второго.

Пухлые щеки латышки залились краской. Синие глаза потупились. Завидный бюст взволнованно завздыхался. Лайма-Валда молча сидела, вздыхала, на вопросы не отвечала. Вера даже малость растерялась.

— Вы признаете, что обманули нас?

Молчание.

— Что вам нужно от господина Мухина?

— ...

— Кто вы все-таки на самом деле — Лайма или Валда? Снова никакого ответа.

Наконец терпение у Веры лопнуло.

— Вы понимаете, что, когда я всё расскажу директору, вас ждут большие неприятности? Одним увольнением не обойдется. Раз вы ничего не объясняете, придется обратиться в полицию!

Тогда авантюристка вздохнула еще раз, очень глубоко, и подняла на Веру ангельски безмятежный взор.

— Не надо полиции. И Люку тоже не говорите, пожалуйста.

— Он для вас просто «Люк»? — поразилась Вера. — Разве вы...

Хотела спросить, состоит ли она с Шарпантье в отношениях, но не стала. К делу это не относилось. Хотя странно. Если бы у смазливой санитарки с директором были шуры-муры, этот факт вряд ли удалось бы утаить от внимания остроглазых жителей мезона.

Однако Валда не только поняла незаконченный вопрос, но и ответила на него:

— Нет, у нас с ним ничего. Хотя я бы и не против. Такой интересный мужчина! Но у меня контракт.

Твоему контракту это только пошло бы на пользу, подумала Вера.

— Мне нужен чокнутый старичок, — продолжила латышка с поразительным бесстыдством. — Слишком хорошие деньги.

Задохнувшись от возмущения, Вера воскликнула:

— У «чокнутого старичка» есть сын! И если я ему про вас расскажу (а я обязательно это сделаю), то вам надо будет бояться не полиции!

Ей захотелось схватить мерзавку за шиворот и как следует тряхнуть. Или врезать ей по наглой физиономии. Вера даже сделала шаг вперед и сжала кулаки. От санитарки с минимально допустимым по законодательству окладом пахло какими-то мудреными дорогими духами. Их запах показался Вере смутно знакомым.

Зимой

Испутать аферистку не удалось. Та скорее удивилась.

— Сыну-то можно, — протянула она. — С ним у меня и контракт.

— Что?

— Он тоже интересный мужчина. Перспективный. Отца любит. Вы правильно делаете, что его пасёте, — с одобрением сказала Валда. — Парень — золото. Это он меня нанял. Привез сюда, всё устроил. Работа, конечно, тяжёлая. Каждый день одно и то же, одно и то же. Но все-таки легче, чем было в Риге.

— А... какая у вас в Риге была работа? — пролепетала Вера, перестав что-либо понимать.

— В интернет-агентстве. Ну, эскорт-услуги. — Покачав на нее, непонятливую, головой, Валда объяснила попросту: — Девушки по вызову. У меня сыну три года, родители старые. А там чистыми в месяц три-четыре тысячи выходило. Но господин Берзин предложил вдвое больше. И вообще, старичок мне даже нравиться стал. Трогательный такой. Сначала мне трудно было, пришлось много всякого учить, запоминать, зато теперь легко.

— Берзин нанял вас, чтобы вы... опекали Эдуарда Ивановича? — не сумела найти точного слова Вера.

— Чтобы я делала его счастливым. Каждый день. Вы про жену его знаете? Ну так вот, это ее Валдой звали. Каждый день он со мной, то есть с ней, знакомится, ухаживает, влюбляется. А дальше уж от меня зависит. Обычно к вечеру пару раз поцелуемся, назначу ему свидание на завтра, и всё сизнова. — Лайма потупилась. — Но иногда, если настроение, или если его станет особенно жалко, можно и до конца дойти. Он даром что чокнутый и в возрасте, но мужчина еще вполне себе. Потому что чувствует себя на двадцать девять. Это для мужиков самое главное — на сколько лет они себя чувствуют...

Она обстоятельно и со знанием дела стала рассказывать, как сексуальные возможности мужчин напрямую зависят от их внутреннего самоощущения, но Вера уже не слушала.

Она думала: «Такое мог придумать только поэт, настоящий поэт. А ты, Коробейщикова, кончай быть идиоткой».

Что будет, то и будет. А от жизни бегать нечего.

Конечно, они со Славой невероятно разные. Придется менять его и меняться самой. Это нелегко. Но большая любовь — всегда большая работа.

Ей хотелось выспросить подробности. Как именно Слава инструктировал свою агентку — санитарку любви, проститутку милосердия. Что рассказывал об отце и матери. Часто ли общается с Лаймой.

Но распахнулась дверь гостиной, без стука. На пороге стоял Эмэн. Невероятно: он смотрел не мимо Веры, а прямо ей в лицо.

— *Lève-toi, va!*¹ — сказал он трескучим голосом и сделал правой рукой повелительный жест. Повернулся, скрылся в коридоре.

Пораженная, она встала и последовала за ним. Что за чудеса?

Аутист шагал механической походкой робота, не поворачивая головы и не отвечая на вопросы.

Они достигли лестницы, стали подниматься. На третьем этаже Вера догадалась, что ее ведут в палату Мадам.

Эмэн остановился возле кровати и во второй раз поглядел прямо на Веру.

— Иди и смотри! — повторил он.

Взял за руку. Это уж было совсем странно. Известно, что аутисты всячески избегают телесного контакта с мало-знакомыми людьми.

¹ Иди и смотри! (*фр.*)

— Чего ты хочешь? — спросила Вера по-французски.

Он положил ее ладонь на лицо коматозной старухи. Оно оказалось неожиданно теплым. Вера хотела отдернуть руку, но Эмен не позволил.

— Глупый симулякр! — сердито сказал он и топнул ногой.

Чтоб не нервировать больного, Вера подчинилась.

И ощутила под ладонью трепет ресниц, будто кожу щекотал крылышками ночной мотылек.

Щекотание было ритмичным. Раз — раз — раз. Потом трижды быстро: раз-раз, раз-раз, раз-раз. И опять: раз — раз — раз. Пауза, и снова: раз — раз — раз. Раз-раз, раз-раз, раз-раз. Раз — раз — раз. Пауза. Раз — раз — раз. Раз-раз, раз-раз, раз-раз. Раз — раз — раз.

— Ах, вот что ты хотел мне показать. Ритмичное движение ресниц, да? Это у нее конвульсивное.

Говорить она старалась как можно мягче, но Эмэн продолжал сердиться.

— Глупый симулякр! Негодный симулякр!

И прижал ее кисть сильнее.

Теперь Вера простояла без движения долго, минут пять.

Ресницы все время шевелились в одной и той же последовательности. Что бы это могло означать с физиологической точки зрения? Кто ж ответит. Процессы, происходящие в организме, который погружен в кому, наукой мало изучены.

Стоять полусогнутой было неудобно, затекло плечо, и в конце концов Вера ласково высвободилась.

— Я пойду. У меня дела.

Вслед раздалось:

— Глупый симулякр! Никуда не годный симулякр! И посмотрел Эмэн, и сказал: «Это нехорошо!»

Обедала сегодня Вера одной из последних. Ресторан был пуст, только у окна сидел Валерий Николаевич Ухватов, бывший полковник КГБ. Она предпочла бы поесть в одиночестве, нужно было додумать про Славу, но невежливо, тем более Ухватов сделал приглашающий жест. Вообще-то он был собеседник интересный, они часто разговаривали о всякой всячине, но сегодня Вера отмалчивалась или отвечала односложно, и Валерий Николаевич оставил ее в покое.

Через некоторое время, уже добравшись до десерта, он вдруг сказал:

— Какая-то ты сегодня не такая. Всё СОС выстукивает. Случилось что-нибудь?

— Простите, что я выстукиваю?

— S-O-S. Морзянкой. Тире — тире — тире, точка-точка-точка, тире — тире — тире. Это все знают, не только моряки.

Оказывается, она механически отстукивала пальцами ритм, в котором шевелились ресницы Мадам.

Вера убрала руку.

— Пардон. Привязалось.

Изменилась в лице. Бросила ложку. Вскочила. Извинившись, быстро вышла из ресторана, а потом перешла на бег.

«Очнулась? Вышла из комы? Невероятно! После стольких лет! А может быть, она в сознании уже давно? Ведь еще весной, когда я первый раз пришла, Эмэн все руку на ее лице держал! Но тогда это не кома, это локд-ин! И никто не знает! Какой ужас!»

Аутиста в палате не было. Мадам лежала одна. Такая же, как всегда: обтянутый восковой кожей скелет.

— Вы меня слышите? — громко, как глухая, крикнула Вера, наклонившись над изголовьем. Крикнула по-русски.

Зимой

Положила руку на глаза. Ресницы дрогнули. Не так, как в прошлый раз. Что это означало и означало ли вообще что-нибудь, было непонятно.

Очень кстати вспомнился роман «Граф Монте-Кристо», про паралитика Нуартье.

— Если вы меня слышите, медленно сомкните и разомкните ресницы. Один раз.

Бабочка трепыхнула крылышками и замерла. Но Вера всё еще не верила.

— Так вы не в коме? Если «нет», быстро моргните два раза.

«Нет», — отчетливо ответили ресницы.

— Боже мой! Я сейчас позову дежурного врача!

«Нет». И еще раз, после интервала: «Нет».

— Вы не хотите врача?

«Нет».

— Но почему?

Никакого ответа. Да и как ответить, если она может дать только два знака, утвердительный и отрицательный.

Стоп. Со стариком Нуартье как-то общались. При помощи алфавита, вот как!

— Я буду подряд произносить весь алфавит, а вы моргнете, когда я дойду до нужной буквы. Хорошо?

«Да».

— А, бэ, вэ, гэ, дэ, е...

Первой буквой оказалось «Н».

— А, бэ, вэ, гэ, дэ, е.

«Да».

— Е?

«Да».

— То есть «НЕ»?

— Да.

Следующие три буквы сложились в «НУЖ».

— «НЕНУЖ»? В смысле «НЕ НУЖНО»? — догадалась Вера.

«Да».

— Вы не хотите, чтобы вас перевезли отсюда в госпиталь? Хотите остаться здесь?

«Да».

— Но почему? Там будет специализированный уход. И может быть, что-то удастся сделать.

Снова пришлось диктовать буквы.

«Хочу остаться здесь», — повторила Мадам.

К тому моменту, когда сложилась эта короткая фраза, Вера уже заметила, что одни буквы встречаются чаще, чем другие. Поэтому стала перечислять их не по алфавиту, от «з» до «я», а в другом порядке: основные гласные, потом основные согласные, ну и потом, если слово не угадывается, остальные буквы. Дело пошло быстрее. Класть ладонь на лицо Вера перестала — колыхание ресниц было и так хорошо видно.

— Зачем вы хотите остаться здесь?

«Т». «А». «Й». «Н».

— Тайна?

«Нет».

Не угадала. Ладно, диктуем дальше.

«И». «К».

И пауза.

— Что?

А, «тайн» плюс «ик». Тайник!

— Тайник?

«Да».

— Какой тайник? Здесь есть тайник?

«Да».

— И вы хотите, чтобы я его нашла?

«Да».

Объяснение, где искать тайник, заняло не менее полчаса. Один раз пришлось остановиться, потому что зашла

дежурная сестра — проверить, всё ли в порядке, и поправить постель. Вера, сдерживая нетерпение, сказала, что уже взбила подушку и разгладила простыню. Медсестра ушла, диалог продолжился.

— Панель? Какая панель?

В конце концов стало ясно. Бывший кабинет Мадам до середины стены был обшит дубовыми панелями. Они располагались в два яруса. Третья панель справа от окна. Нижний правый угол. Нажать.

За пятнадцать лет расположение мебели несколько изменилось. Чтоб добраться до нужного места, пришлось отодвинуть стеклянный шкаф с медицинскими препаратами.

Нажать? Как это?

Вера попробовала и так, и этак. Ничего не происходило. Было непохоже, что между панелями вообще есть какая-то щель, очень уж плотно были они подогнаны одна к другой.

А если надавить и немного подержать?

Щелкнул невидимый рычажок, край дубовой доски высотой сантиметров в семьдесят и шириной с полметра приоткрылся.

Есть!

Внутри была лампочка. Но она не зажглась — все-таки пятнадцать лет прошло. Разглядеть, что в потайном ящике на полках, удалось не сразу.

Внизу толстая тетрадь и конверт. Наверху почти пусто, только лежит шелковый мешочек. В него Вера заглянула первым делом — и была разочарована. Какой-то высохший кусочек деревяшки или корешок.

В конверте был листок с швейцарским адресом и какими-то цифрами. Кажется, что-то банковское.

Что в тетради?

Она была вся исписана четким, ясным почерком. В основном по-английски, но были вставки на французском,

русском, немецком, кое-что даже иероглифами. Много формул, графиков, цифр. На первый, беглый взгляд похоже, что это какое-то медицинское исследование.

А, вот название, на самой первой странице. Вера от нетерпения перелистнула ее и не заметила.

«ANTI-AGEING: FROM ALZHEIMER TO KANNEGISER. A revolution in prevention and profilactics of senile dementia»¹.

Вера вернулась к Мадам. Тайник на всякий случай прикрыла, только тетрадь взяла.

— Это ваши научные записи?

«Да».

— А в мешочке что?

«Глава третья».

Пролистала до третьей главы, которая называлась: «Panax ginseng masculinum». Прочла самое начало. Речь шла о какой-то особенной разновидности женьшеня, обладающей уникальными свойствами. Как интересно!

Здесь, взглянув на больную, Вера заметила, что та снова моргает.

— Что вы хотите сказать?

«Важное. Для тебя».

— Для меня?

«Глава шестнадцать».

Шестнадцатая глава называлась непонятно: «Прокачка сосудов головного мозга». Что-то про китайскую медицину, сразу не разберешь.

— Я потом прочту. Всё подряд, и это тоже. А в конверте что?

Ответ поразил:

¹ «БОРЬБА СО СТАРЕНИЕМ: От Альцгеймера до Каннегисер. Революция в предупреждении и профилактике старческого слабоумия» (англ.).

«Твой счастливый корабль».

— Откуда вы знаете?! — воскликнула Вера.

А потом вспомнила: последний раз со Славой они разговаривали здесь, в палате. Берзин тогда впервые произнес эти слова. Но как Мадам догадалась, что Вера решит использовать название «Счастливый корабль» для своего будущего мезона?

Мадам хотела сказать что-то еще.

«Изучи. Исполни. Все перепрячь. Чтоб раньше времени никто».

И, после минутного перерыва: «Больше не могу. Устала. Прощай».

— Конечно-конечно, отдыхайте, — сказала Вера, подумав, что последнее слово у Мадам было лишним. — Ни о чем не беспокойтесь. Раз вы не хотите, я никому пока о вас говорить не буду. Внимательно прочту ваши записи. И завтра мы поговорим».

Ответа не было. Наверное, измученная беседой старуха уснула.

Вера взяла конверт и мешочек, закрыла тайник, подвинула шкаф на место.

Невероятное происшествие так ее разволновало, что в затылке началось предостерегающее потикивание.

В коридоре ей встретился Шарпантье. Он сегодня был какой-то взъерошенный, непохожий на себя. Выпил, что ли? Средь бела дня? Странно.

— Сердобольная Вероника всё ходит любоваться на овощную грядку, — сказал он с кривой ухмылкой. — Беда современной медицины в том, что она никак не дает человеку спокойно умереть. Будь моя воля, я и бедную Мадам, и всех остальных «овощей» из нашего КАНТУ отпустил бы на свободу. Всё равно это не жизнь! Стоит ли тратить столько средств на поддержание тлеющего огонька в бес-

смысленном куске мяса? В мире столько болезней, несчастных случаев, катастроф! Постоянно гибнут люди, которых можно было бы спасти! Кто-то умирает, потому что нет денег на операцию. Другому не могут вовремя трансплантировать жизненно важный орган. А мы тратим время, деньги и силы на возню с такими, как Мадам! В тысячу раз милосердней было бы взять и по-тихому придумать ее подушкой! Да не сейчас, а пятнадцать лет назад. Что за ценность в такой с позволения сказать жизни?

«Эк его сегодня разобрало, — подумала Вера. — Философ! Не тебе решать, чья жизнь имеет ценность, а чья не имеет. Если в тетради у Мадам найдется что-нибудь важное для науки, это будет значить, что от «овоща» больше проку, чем от всех нас вместе взятых».

— Мы с вами врачи, — сказала она сухо. — Наша работа — сохранять людям жизнь, а остальное не нашего ума дело.

Невежливо, конечно, по отношению к старшему. Но жалко было сейчас тратить время на пустую болтовню.

Первые же двадцать страниц, то есть вступление с перечислением поставленных и реализованных задач, произвели на Веру столь сильное впечатление, что пришлось остановиться и перечитать их еще раз.

Неужели в тетради всё это есть? Если так, это действительно революция, которая перевернет всю медицинскую науку! И не только науку! Это, вероятно, изменит жизнь человечества!

Всё больше волнуясь, Вера отложила тетрадь. Она решила, что будет читать остаток дня и всю ночь. С полным погружением, ни на что не отвываясь. Для этого нужно, чтоб никто не докучал и не отвлекал.

Придется сделать кое-какие дела, и тогда она будет полностью свободна.

Зимой

Навестить Ириадзу Васильевну из шестого номера, старушка просила научить ее пользоваться электронной почтой.

Заглянуть к отцу Леониду, он хотел о чем-то поговорить.

А еще главная медсестра, вредина, прислала эсэмэску: что-то не так в рапортичке. Старой деве делать нечего, даже в воскресенье сидит на работе. Разговор может затянуться, но ничего не поделаешь... Если не прийти, еще зайвится сама.

Теперь Вера хорошо понимала, какая ценность у нее в руках. Понятно, почему Мадам велела перепрятать содержимое тайника. Да, оставлять такое без присмотра нельзя.

Но куда спрятать?

Она обошла комнаты в поисках подходящего места. Оно должно быть надежным, но легко доступным. И чтоб никто, кроме самой Веры — ни горничная, ни какой-нибудь электрик, ни воришка (мало ли что), — не наткнулись, даже по случайности.

И такое место нашлось. Прямо идеальное, как на заказ. Каминная труба!

Она залезла в камин, посветила фонариком. Чугунный крюк! Очень кстати. Наверное, в стародавние времена на него что-то подвешивали, чтобы нагреть на огне.

Тетрадь, конверт и мешочек Вера положила в обычную бумажную сумку из супермаркета, подвесила на крюк — вот и тайник. Сюда уж точно никто не сунется.

Когда-нибудь, после ее отъезда, следующий жилец, возможно, захочет разжечь огонь, а до того времени камин никому не понадобится.

Интересно, эта черная дыра выходит прямо наружу? В одну из тех труб, которые торчат на крыше?

Вера направила луч вверх. Сверху не пробивалось ни пятнышка света. Наверное, дымоход на чердаке делал изгиб.

Лохмотьями висела застарелая сажа, клочья паутины с дохлыми мотыльками, комья пыли. Жуть!

Вдруг во мраке вспыхнули две фосфоресцирующие точки, труба взорвалась пронзительным пискom, и сверху, полща серыми крыльями, упала ослепленная электричеством летучая мышь. Вереща от ужаса, она вцепилась коготками в мягкое, пышное, пружинящее — Верины волосы. Заметалась, забилась.

Крик встал в горле, но не выплеснулся. Вслепую, зажмурившись, Вера рухнула из каминной ниши на пол, поползла на четвереньках, упала. Мышь высвободилась, расправила крылья и закружилась под потолком, похожая на торжествующего ангела смерти. В конце концов она расшиблась бы об угол шкафа и погибла бы, но малютке повезло. То ли повинувшись инстинкту, то ли просто по невероятному везению, на одном из своих беспорядочных виражей мышь попала точно в открытую форточку и унеслась, растаяла в воздухе.

Вера этого не видела.

Она вообще ничего не видела.

Приподняться сил не было.

Свернувшись в позу зародыша, она глохла от быстрых и гулких ударов, будто кто-то яростно барабанил в дверь, и та трещала, готовая слететь с петель.

Дышать, правильно дышать! Может быть, дверь все-таки устоит?

ОМММ, ОМММ, ОМММ...

НА СЧАСТЛИВЫЙ КОРАБЛЬ

Иногда чудеса случаются. Это мое прощальное открытие. Может быть, самое важное.

Когда из почти бездонных часов моего долготерпения падала последняя песчинка, произошло чудо. Пятница вдруг взял и внял моей просьбе.

З И М О И

Я ухожу с мирным сердцем и спокойной совестью. Эстафету я все-таки передала. И передала той, кому следовало ее передать.

Девочка во всем разберется сама. Она умная и дотошная. Возможно, она продвинется дальше, ведь у нее впереди столько времени.

Она прочтет шестнадцатую главу, научится гемоциркуляции и спасет свою жизнь. А потом спасет всех остальных.

Мангуста больше нет, никто и ничто этому не помешает.

Я свободна. Наконец я свободна!

Меня заждались!

Дальше всё очень просто. Я столько лет представляла себе, как сделаю это.

Нужно дышать медленней и тише, всё мельче, с всё большими промежутками. Когда вдох становится неотличим от выдоха, я приказываю кровотоку остановиться.

И он повинуетя, но не в одно мгновение.

Меня качает на волнах, и понемногу наступают сумерки, и всё уплывает, как при погружении в сон.

Я вижу океан. Вижу корабль, на котором меня давно ждут. Вижу Ивана Ивановича. Он стоит у борта, и я машу ему рукой. Я снова могу махать!

А он может видеть — и машет мне в ответ: сюда, Маленькая Тигрица, сюда!

Ну вот и всё.

Какое счастье!

АВТОР БЛАГОДАРИТ ЗА ПОМОЩЬ:

**Д-ра Наталью Шпак, Centre Hospitalier Guillaume
Régnier**

**Д-ра Алексея Кашеева, НИИ нейрохирургии им.
Н.Н.Бурденко**

**Г-жу Одиль Гедон, директора резиденции EDILYS La
Fontaine aux lièvres**

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВЕСНОЙ	7
ЭТО ВЕРА	9
ЭТО Я	69
САШЕНЬКА. ВОКЗАЛ	84
 ЛЕТОМ	113
САНДРА В ПРИСНИВШЕМСЯ ГОРОДЕ	115
НАСУЩНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА	154
САНДРА. НАЧАЛО ПУТИ	160
ВЕРА, НИКА	196
САНДРА С ИВАНОМ ИВАНОВИЧЕМ	213
КЛИМ И ЖАБА	247
САНДРА СТАНОВИТСЯ ТИГРИЦЕЙ	260
ПРИХОДИЛА К МУХЕ БАБУШКА-ПЧЕЛА	321
САНДРА ПОДНИМАЕТСЯ ПО СТУПЕНЬКАМ	330
 ОСЕНЬЮ	337
СТАС БЕРЗИН	339
ALEXANDRINE. КОНЕЦ ЖИЗНИ	355
А ЛАРЧИК ПРОСТО ОТКРЫВАЛСЯ?	370
ALEXANDRINE. НАЧАЛО ЖИЗНИ	387

ЗИМОЙ	395
ВСЁ ПО КАЙФУ	397
УХОЖУ	405
ТОТ, КТО ВСЁ ПРИДУМАЛ	433
ЗАГЛЯНУТЬ В БЕЗДНУ	438
ВЕРА ВСТРЕЧАЕТСЯ С БЭТМЕНОМ	450
НА СЧАСТЛИВЫЙ КОРАБЛЬ	474



ОТЧЕТНО

СТАТ. ВВЕД.

ДИКТОРА

Литературно-художественное издание

Анна Борисова

VREMENA GODA

Роман

Зав. редакцией *М.С. Сергеева*
Ответственный редактор *М.Г. Мельникова*
Технический редактор *Т.П. Тимошина*
Корректор *И.Н. Мокина*
Компьютерная верстка *Е.М. Илюшиной*

ООО «Издательство АСТ»
141100, РФ, Московская обл.,
г. Щелково, ул. Заречная, д. 96

ООО «Издательство Астрель»
129085, г. Москва, проезд Олимпийского, д. 3а

Наши электронные адреса:
www.ast.ru
E-mailastpub@aha.ru

По вопросам оптовой покупки книг
Издательской группы «АСТ»
обращаться по адресу:
г. Москва, Звездный бульвар, 21 (7-й этаж)
Тел.: 615-01-01, 232-17-16

Издано при участии ООО «Харвест». ЛИ № 02330/0494377 от 16.03.2009.
Ул. Кульман, д. 1, корп. 3, эт. 4, к. 42, 220013, г. Минск, Республика Беларусь.
E-mail редакции: harvest@anitex.by

Республиканское унитарное предприятие
«Издательство «Белорусский Дом печати».
ЛП № 02330/0494179 от 03.04.2009.
Пр. Независимости, 79, 220013, г. Минск, Республика Беларусь.

**Издательская группа АСТ
представляет**

АННА БОРИСОВА



Первый роман Анны Борисовой «Там...» —
это литературная экскурсия на тот свет; художественное,
но вместе с тем энциклопедически точное описание
всех основных гипотез, верований и фантазий на тему
«жизнь после жизни».





VVA/EXMOBR
030108



Борис Акунин: ПРОЕКТ «АВТОРЫ»

Проект «АВТОРЫ» — новые маски БОРИСА АКУНИНА.

Борис Акунин придумал двух новых авторов, пишущих по-разному и о разном. У них даже пол разный.

АНАТОЛИЙ БРУСНИКИН —

сочинитель исторических романов, похожих на фандоринские и все же сущностно от них отличающихся. Первые две книги — «Девятный Спас» и «Герой иного времени» — стали бестселлерами. Третий роман называется «Беллона». Экранизационные права на него были приобретены еще на стадии рукописи.



АННА БОРИСОВА

Пишет психологическую прозу, имеющую мало общего с обычным акунинским стилем. Под этим псевдонимом выпущены два маленьких романа («Там...», «Креативщик») и один большой — «Vremena Goda».

«VREMENA GODA» — это история необыкновенной женщины, которая прожила на свете больше ста лет и получила все, о чем мечтала.

www.ast.ru
www.elkniga.ru

ISBN 978-5-271-40984-4



9 785271 409844